



ЮРИЙ
ДИНАБУРГ

НОРМА

Санкт-Петербург
2012

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Д44

Юрий Динабург. Сборник / сост.: Л.В. Бондаревский, Р.Р. Пименов, О.В. Старовойтова. – СПб.: Норма, 2012. – 432 с., илл.: 9 с.

ISBN 978-5-87857-206-4

В сборник вошли мемуары и стихи Юрия Семеновича Динабурга, а также воспоминания его друзей о нем.

Редакторы: Е.Д. Динабург, М.Б. Елисеева.

Корректоры: М.Б. Елисеева, В.Н. Уляшев.

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Д44

© Ю.С. Динабург, Е.Д. Динабург, 2012.

© Авторы, 2012.

От составителей

Эту книгу подготовили к изданию друзья Юрия Семеновича Динабурга (05.01.1928 – 19.04.2011). После его смерти мы считаем долгом познакомить читателей с его текстами и рассказать о светлом философе, нашем удивительном друге, щедро делившемся мудростью и знаниями.

Книга состоит из трех частей: мемуары Ю.С. Динабурга, его стихи и воспоминания друзей.

Мемуары Юрия Семеновича необычны. Он немного говорит о своей биографии, напоминающей то трагический, то приключенческий роман: расстрел отца, арест за антисталинскую деятельность, лагерные университеты, учеба и работа редактором и преподавателем вуза на Урале, многолетняя полубездомная жизнь в Ленинграде, работа экскурсоводом в Петропавловской крепости... События собственной жизни для Ю.С. Динабурга – это повод высказать наблюдения о времени, людях, культуре и истории России, философии. И он высказывается глубоко и страстно, неожиданно и зорко. Не последовательность событий, но логика сердца ведет его повествование. И мы уверены, что мысли Юрия Семеновича актуальны в сегодняшней России, будут востребованы и важны для тех, кто станет размышлять о стране, ее культуре и истории.

В Челябинске, Перми, Москве и Ленинграде он впечатлял всех, с кем общался. Для некоторых он стал наставником. В этой книге о нем вспоминают люди разных профессий: инженер-электрик и искусствовед, хирург-онколог и архитектор, доктор физико-математических наук и бизнесмен, стенографистка и литературный критик, лингвист и геометр...

Юрий Семенович Динабург оставил огромный, около 10 000 страниц, архив культурологических и философских трудов, более тридцати лет составлявшийся им и сохраненный его вдовой, Еленой Динабург. Он постоянно много писал и много диктовал. Об архиве рассказывается в статье Р. Пименова. В статье И. Кузьмина отмечены основные вехи его биографии. Е. Динабург рассказывает о том, как писал ее муж. Другие авторы вспоминают о личности Юрия Динабурга и впечатлениях от общения с ним. Воспоминания М. Елисейевой заканчиваются последними письмами Юрия Семеновича.

Мемуары Юрия Динабурга только отчасти отражают хронологию его жизни. Писал или диктовал их Юрий Семенович в разные годы. Иногда они могут выглядеть почти мозаичными. Вот как сам он в одном из текстов объясняет это:

«...пусть это лирическое отступление будет принято читателями за мое извинение перед ними в том, что я не всегда вразумительно рассказываю о целых десятилетиях, не сохраняя топологическое единство рассказа о самом себе, то есть единство повествования без разрывов и склеиваний. Жизнь моя в этом рассказе будет выглядеть лоскутно и будет представляться неким коллажем мотивов...»

Труды Ю.С. Динабурга ждут своих издателей и исследователей, которые смогут понять их значение в контексте философской мысли XX-го века.

Материалы этой книги впервые появились на сайте Льва Бондаревского: <http://le-bo.narod.ru/indexdinaburg2.html>.

Средства на издание собрали друзья Юрия Семеновича. Мы благодарим всех, кто поддержал это издание. Особая благодарность правозащитной благотворительной историко-просветительской общественной организации «Мемориал» и Владлену Борисовичу Павловскому. Мы предполагаем в дальнейшем издавать материалы из архива Ю.С. Динабурга и приглашаем к сотрудничеству.

Юрий Динабург

М е м у а р ы

ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.*

Б. Пастернак

* * *

Автор мемуаров – заведомый антигерой
(а что такое, кстати, этот короб лучевой? – мы в этом разберемся
много позже).

Антигерой по законам жанра, как говорится.

Я не хотел бы вовсе снова быть каким-то новым анти-...

Довольно было мне ходить в антисоветчиках.

Уйти бы мне тогда совсем в Античность.

*В ту неизвестную страну, откуда ни один к нам путешественник
еще не возвращался.*

«Гамлет»

В Античности все было анти-наше

И анти-современно, анти-мирно.

Разгуливали там повсюду Антиной,

Что в трезвом виде смолоду гуляли нагишом,

А до преклонных лет не доживали в большинстве.

А ежели дожить случилось до семидесяти лет,

То, пить зарекшись окончательно, садились сочинять

Кто диалоги, как Платон философ,

А кто трактаты вроде Ксенофонта...

* * *

Детская память специфична и удерживает часто события во всей их комической конкретности. Этим часто пользуются писатели-юмористы и сочинители анекдотов. В юности я вспомнил ранние случаи пробуждения во мне вольнодумства. Мое детство, вероятно, было необычайно счастливым хотя бы тем, что я вырос в семье очень дружной, несмотря на явное разномыслие взрослых. Заметно было только, что мама все еще стыдится своего непролетарского происхождения и преследует собственную мать упреками за ее религиозность. А за бабушку, упорствовавшую в своем лютеранском исповедании, вступался только зять-еврей. Разговоры их впечатляли меня иронией отца, произносившего сплошь непонятные слова: «Пусть я агностик и обыватель, но, если ты, дорогая, будешь травить своим комсомольским фанатизмом, я двумя-тремя словами о твоей «церкви» и ее делах доведу тебя до слез ярости. Это ты знаешь (по опыту), лучше меня не провоцируй!» Эти разговоры повторялись и очень запомнились.

Моя любимая няня Александра Ивановна однажды отнесла меня в церковь на крещение, и в доме опять был скандал. Отец сначала хохотал, а потом впервые повысил голос и пригрозил, что сам найдет время пройти обряд крещения, хотя ему очень некогда, но раз уж это так важно... и т.д. Мы жили тогда напротив костела, который в 1932-ом попробовали взорвать, к моей великой радости: в мальчишках сидит необычайная воинственность. Бабушка в ужасе оттащила меня от окна, за которым грохотало.

Я с родителями первые 12 лет ежегодно проезжал из Ленинграда в Челябинск и обратно. Ленинград, рассказывал я на Урале, самый гористый город (улицы я считал ущельями), а живут люди там в горах. Дома – это то, что я видел в Челябинске... А Москва вся составлена из гибридов домишек и гор; у кого-то я перехватил всю эту риторику?

Бабушка после ареста отца до смерти молилась за него, а я говорил, что его убили. Половина моих одноклассников были из домов «городка» НКВД, и я хорошо знал, как мы говорили между собой

о необходимости истребить всех врагов народа. Это все школьные ребята, ходившие к нам играть: дворик-садик при нашем домике был уютнее их асфальтированных дворов. Я все это вспоминаю с присказкой из анекдота об Елисееве, посетившем бывший свой магазин на правах туриста: «Как много у меня здесь было всего... и кому это все помешало? Куда-то убрали...»

Было намерение у отца и бабушки обучать меня английскому и немецкому, но и это помешало моей бедной маме. Она протестовала: «Советская школа даст необходимое, без всяких буржуазных излишеств». Отец хохотал и возражал в духе короля Лира: нет тебе никакой необходимости носить красивые платья. Вот в моем королевстве даже последний нищий имеет что-нибудь лишнее – кроме необходимого. Я вспомнил этот аргумент, найдя его потом у Шекспира.

Вражду мамы к чужим языкам я истолковал как игру в пролетарку. Разговоры о бедных и богатых где-то там мое восприятие прояснили: бедная мама, она красивая, но почти все она считает лишним, потому что она бедная. Тут еще прозвучали слова о нищих духом, и я спросил: «Мама, это про тебя? Нищий – это кто ни с чем, ни с Богом, ни с чужими языками?» Тут бедная мама дала мне уникальную пощечину (вторую я получил много позже, когда она вообразила, что я в насмешку, по ехидству, спросил о смысле какого-то матерного слова). У меня зазвенело в ушах; мама, бедная, опять заплакала. Мы помирились, но я тут же спросил: а в школе меня тоже будут учить-воспитывать, отучать от английского? По-немецки она сама очень непоследовательно поговаривала со мной, пока фашисты не напали. Вот тогда она сама потеряла права и амбиции, бедная мама. До 1949-го из города выезжать не смела.

А про школу я понял, что там будет скучно, потому что слово «советская» говорилось всегда про какую-нибудь ерунду. Это я понял еще до 1937 года. Разумеется, в голове у меня все путалось. Я спрашивал: а почему не все страны «советские»? (лучше бы вращались, что все!). В ответ говорилось что-то нудное вроде того, что мы

одни такие умные, а за границей в основном дураки. А все эти инорсовцы (иностранные рабочие и служащие) – разве они глупы?

Потом была «Коричневая книга» про фашизм в Германии, разговоры о войне и о том, как бы мне скорей туда попасть («Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать»). Это уже в школе: я туда ходил в шапке-испанке, и в нашей приходской при НКВД школе им. Энгельса мы приветствовали друг друга словами «Rot Front!».

Свободомыслие возникает в критические эпохи гораздо раньше право- и дееспособности, которая наступает доисторически с появлением современных образцов автоматического оружия и компьютерной (хакерской) техники. Я помню, как мы пятиклассниками цедили сквозь зубы о жизни взрослых: «Троекуровская псарня» (где псам, а не людям живется хорошо). Мысль и живая речь – оружие (хотя и не смертоубийственное), на тысячи лет опередившее автоматы Калашникова и даже бумеранги. Оно подобно средствам перехвата, возвращающего зло на головы тех, кто его сеет и мечет вдаль. Но не всем понятно до сих пор, что дети – не дикари; в них просто меньше варварства, чем в их терроризированных или завистливых отцах.

Мы замечали ожесточенность атеистических внушений старших. Все особенно далекое было особенно ненавидимо: Бог, поп, буржуй – где они? Не то очень далеко, не то их давно нет. Моя мама с особенным злорадством цитировала строчки:

*Карла Маркса поп читал –
Ничего не понимал...*

Где поп, где К. Маркс? Вблизи был академик И.П. Павлов с опытами на собаках. Он вызывал во мне неприязнь: я очень любил и жалел собак (а они это чувствовали). Но однажды в полупустынном парке (мы были на лыжах) по радио что-то говорили, отец снял шапку. – Что случилось? – Умер Павлов. – Какой? – Великий ученый.

Как видно, отец не был бдителен и не политиканствовал. Он был беспартийный спец, обывательствующий интеллигент, ему

математика и Шекспир были значительней, чем все «ближайшие» с точки зрения «моей топологии». И.П. Павлов своей рефлексологией на собаках подбрасывал простодушно идеи преобразователям природы человека, которые знали: «мы не можем ждать милостей от природы, – взять их у нее – вот наша задача». Создать нового человека, доступного непрерывной реанимации. Кстати, хотел ли бы Ленин, чтобы его воскрешали с абсолютной точностью? Именно Ленина – а не клонировали в качестве кого-то нового? Создать нового человека любыми средствами, ни перед чем не останавливаясь, – вот в чем виделась самая заманчивая, самая сверхисторическая задача. Для тех, кто способен ни перед чем не останавливаться в презрении к природе старого человека («ветхозаветного Адама»), – для тех эта задача осталась на все времена самой заманчивой.

Презрение к природе человека не могло не сложиться у людей, в массе миллионной выброшенных из своего быта в безотцовщину. Пока они составляли узкий маргинальный слой, у них не возникало исторических, революционных амбиций: они составляли всего лишь романтический персоналитет романистов типа Эжена Сю, Диккенса, Гюго, Конан Дойля. Но война, которую назвали Мировой не зря, а за ней Гражданская война, создали мощную социальную прослойку сиротства, выжившего в условиях беспризорничества. Консервативная ее часть пошла за Остапом Бендером, уважающим уголовный кодекс. Другая пошла за Дзержинским, наследники которого из этой среды черпали свои лучшие кадры для великой работы, начатой с дела промпартии. Менее пластичные массы образовали у нас великую армию блатного уголовного мира воров в законе, тоже трансмутирующего по-своему из десятилетия в десятилетие.

* * *

Челябинск моего детства был пейзажем погод: морозного зимовья (все в снегу, а поверх – луна или солнце в радужных кольцах и черная тишина ночи) – либо жаркое лето и пушистая (легкая, как тополиный пух) пыль на дорогах. Эти две погоды разделены

были веснами и осенью нашей жизни в сáкклистом Ленинграде, в гористых городах, как я объяснял в Челябинске, имея в виду – в теснинах высоких зданий. В Москве, впрочем, я видел не столько застройку, сколько механизмической, транспортный парк. В архитектуре мне виделось не царство человеческих жилищ, а скопище загонов для железного скота (метро представлялось его основой и нутром с лифтом), – для всего того разномастного и разнопородного транспорта, который людям приходилось всячески объезжать и манежить. Трамваи и автобусы (не говоря уж о такси) казались мне, дошкольнику, металлическим скотом, который выкачивали откуда-то из недр строений для общемосковской игры в дрессировку транспорта. Весь смысл московской жизни мне виделся в этой игре. В Челябинске жизнь скучновато сводилась летом к созерцанию – как растет трава, плывут облака (или нагромождаются подружками друг на друге – в виде подушек) или как гримасничает в небе луна, такая претенциозная в своих ужимках и самоизлученьях. Разумеется, мне было бы легче описать тогдашнюю домашнюю интерьерную жизнь: в Москве она была пестра и беспорядочна, – здесь мы были не у себя дома, здесь мы были гостями – с нами играли, мы играли не в себя, а в кого-то, мне не знакомого.

В Челябинске все было у себя: и огонь в печи, и филигранный лед на оконных стеклах (а он причудливей всех орнаментов на обложках книг, пейзажей внутри их и декора посуды), и гости с немосковской медлительной речью, со спокойными жестами.

А в Москве жизнь была как в старом (довоенном) кино, где все состязались в суетливости с Чарли Чаплином или с Игорем Ильинским и вообще с «Веселыми ребятами» (успешно скрывавшими свое родство с миром Ильфа и Петрова) и с «Детьми капитана Гранта».

Но совсем другой была жизнь в Ленинграде, хотя только через несколько десятков лет я понял, что отличие это было не в жизни обитателей (бывших обитателей), а в жизни как таковой, совершавшейся над нашим человеческим, простолюдинским уровнем, кото-

рый был когда-то и при старом режиме общим уровнем мещанства, и дворянства, и прислуги мещанско-дворянской – жизни, в которой главными событиями были календарные праздники с наводнениями, упреждаемыми пушечными выстрелами, и сенсациями, ничем не упрежденными. «Царя убили» – свидетельницей этой сенсации была моя бабушка. Ей было 12 лет, и она была метрах в 20-30-ти от события, а потом всю жизнь описывала его по-своему.

В Петербурге-Ленинграде до сих пор можно видеть жизнь как таковую, идущую поверх обывательского присутствия при Ней, при Жизни, в своих обывательских образах старения, лечений, скучания, да исполнения естественных нужд, да ожидания сенсации. За недостатком сенсаций (хотя бы дней свадеб, торжеств, похорон) можно было бы ходить в театр или в Lustgarten (Увеселительный сад).

А над этим и поверх всего-всего шла Сама Жизнь, которой внизу совершалось убогое подражание в жанрах художественной самодеятельности и народной самонадеянности. Жизнь, которую осязаемой, зримой делала пейзажная (ансамблевая) застройка Петербурга как бы кладбищем императоров, – всеми их дворцами, храмами и казармами. И оказывалось, что жизнь в высоком смысле идет именно на этом кладбище, на этом ипподроме петровских и николаевских коней, на этом манеже реформ и театре идей и вкусов, на этом ристалище и полигоне исторических воль и фантазий.

* * *

Ранние воспоминания едва ли возможны у человека, прожившего детство в единообразной среде. Для ранних воспоминаний необходим опыт преображенья пространства, субъективно переживаемый, например, когда засыпаешь в тесном вагоне, продолжающем обстановку перрона, вокзала, Невского или Гончарной. Или Пушкинской. И вдруг просыпаешься утром, – а за окном крутящееся пространство среднерусской полосы. Может быть, не между Питером и Москвой, а дальше на пути к Самаре встречаются весьма открытые пространства, как бы сплошные поля или степи, какими

их может мыслить русский мальчик понаслышке, если живет он в больших городах и не поймал еще Золотую Рыбку, чтобы она была у него на посылках. И не взлетел к Золотому Петушку на тонкий шпиль Петропавловского собора. Кто-то сказал мальчику, что петушок этот не Ангел на соборе, а что Петушок у нас в России был двуглавый и рядился под Орла. Требовал по крайней мере, чтоб Орлом его считали и называли все вокруг.

Так начинались гамлетические различия между быть и казаться:

*Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно... –*

и любит она цитировать малоуважаемого ею поэта:

*Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий*

У моего героя не нашего времени (иных времен – смертного времени) была настоящая мамка, отдельно она от матери была, и любима больше самой мамы: справедливость так жестока в этом мире (и она диалектична?) – вот в чем «собака зарыта», – только о справедливости и думали в шиллеровские времена, подарившие нам эту диалектику. Даже в доказательствах теорем чаще всего слово «справедливо» (будут утверждать) замещало священное слово «истина». Вот и провалились мы в сплошную диалектику.

Эта мамка однажды, никого не предупреждая, отнесла меня крестить в Божий храм, что по всем народным представлениям наложило на мою жизнь глубочайшую печать, хотя сам я об этом состоянии не помнил уже несколько дней спустя и услышал о нем только от родной мамы, Ирмы Фридриховны Динабург, урожденной Бальтазар. Очень она была возмущена самоуправством мамки моей Александры Ивановны, обошедшейся со мной, как с барçonком какая-нибудь крепостная раба. Не знаю, тогда ли или чуть позже сфотографировалась она еще со мной, и так сохранилась у меня последняя памятка о моей крестной. Но это все семейные преданья до сих пор, все остальное я свидетельствую под личную ответ-

ственность очевидца. («Автор» слишком высоко уважает то, что называют Благодатью, чтобы думать, что она, Благодать, могла добываться как-то исподволь или посредством символических действий. Там, откуда Она исходит, наши человеческие заботы могут скорее мешать, чем помогать. Конечно, я не сам себя изобрел и сконструировал, но желание пожилой женщины (няни) сделать для меня что-нибудь важное мне на всю жизнь меня умиляет в течение всей этой жизни. Это желание женщины, которая была уже сама близка к смерти. Озабоченность кем-то, например хотя бы ребенком, которого она воспитует, на фоне современной всеобщей незаинтересованности друг в друге и беззаботности во всем, кроме себя самого, определяет, так сказать, моральную дистанцию этих разных времен гораздо отчетливей, чем любые измерения в единицах вращений в космосе и тому подобное).

* * *

Не только у нашего соседа инженера Брандта была коллекция русских идиом (пословиц, поговорок) – почти каждый человек тех поколений был у нас еще носителем такой веселой языковой компетенции, построенной по принципу *Sapienti sat*, делавшей аутсайдеров комическими персонажами русского общества. Говорили: «Так вот в чем собака зарыта», и дети начинали ломать головы над вопросом: какая собака? Та, что у попа была любима и убита и забыта; а те, кому следует, понимали, что собака здесь – *heart of the matter* – она сама может зарыться живьем в сюрреалистических кучах. Собаку зарывают, а кошек выбрасывают куда попало, в помойки, мусорные кучи, хотя дохлая кошка имеет гораздо большую силу, чем даже дохлый пес, – читайте об этом у Марка Твена в связи со способами искать клады или выводить бородавки...

Я столкнулся с дохлыми кошками на той самой полянке, на которой проходило раннее мое речетворчество – в устном его, фольклорном периоде – как позднее мое текстослагательство приходит теперь тоже в движение – на разных видах общественного транспорта, в метро по крайней мере.

* * *

(Я – Ирме Федоровне)

Похвалы нагоняли на меня тоску и даже улыбки смущения, вроде тех, которые внушали мне чувство неловкости, которые, к недоумению старух, вызывали у меня их хоровые причитания по поводу безрукости бабушки: где бы мы ни появлялись – на нас смотрели во все глаза и причитали с искренней преувеличенной аффектацией, – ибо я видел, как быстро переключали внимание. В этом сочувственном страхе по поводу чужого несчастья столько очевидной радости за себя, что со мной этого не будет, это очень маловероятно, чтоб это случилось со мной! – и есть же, слава Богу, люди несчастнее меня, и т.п.

От скуки с бабушкой Омой (*Амалией Адольфовной*) я был спасен первым большим чтением – Жюль Верном, «*Великими мореплавателями XVIII столетия*», – богато иллюстрированным, где в основном я видел дикарей, разнообразней и понятней Гайаваты, – голых рядом с изящно одетыми мореплавателями и столь же изящными кораблями. Везде я видел людей, соизмеряющих друг друга по множеству параметров – и всякое подобие равенства выступало как условность. Перекрыло это наблюдение потом только чтение «*Моцарта и Сальери*».

Я ведь был очень сангвинистичен и жизнерадостен – жить одним высокомерием мне было ужасно тягостно, а как папы с нами не стало, до 10-го класса, лет семь, ни один собеседник не бывал мне интересен дальше одного разговора. Я чувствовал себя Гулливером. С тобой у меня все определилось твоей одной фразой: «Советская школа научит всему, что нужно», – сказала ты Оме, когда она вздумала учить меня еще и французскому. До чего это тень бросило на слово «советская». Я не подумал, что так ответила ты не из доверия к школе, а из отсутствия интереса ко мне, – из нежелания заниматься мной – чему-то там учить. Я понял только, что все советское – это казарменная замена всему семейному и вообще основанному на личностных отношениях. Какая-то советская школа, где решает не один, а сразу несколько людей, там,

кажется, и есть совет, а вместе люди всегда многословно-глупее по сравнению с теми же людьми, наблюдаемыми порознь.

* * *

(Я – Ирме Федоровне)

Главное действие школы для меня было в скуке: никогда больше в жизни я не скучал – как только с нашими домработницами и школьными учителями и товарищами. Школьная учеба была связана воедино тягостным наблюдением своего умственного превосходства. Мои товарищи превосходили меня во множестве других отношений, однако здоровые и сильные то и дело болели, или были биты, или трусили в драках. Но ничего столь постоянного я не наблюдал, как свою способность быстрее всех сориентироваться в любой новой теме (ситуации и т.п.). И не выдумывай, что это сделало меня высокомерным: я более всего жалел бы всех остальных, если бы не приходилось скучать. Если бы не ежедневные прямые наблюдения, я бы никогда и не вообразил, до чего средние люди слабы (по масштабам того, что я находил в себе) – зрелище деморализующее, ибо я видел много среди них мальчишек, которые ощущали примерно то же в обратной перспективе зависти, почему в средних классах я так не любил ходить в школу. Я стал учиться подчеркнуто небрежно, я научил маскировать всякое проявление самооценки и даже скуки в общей куче людей, почти лишенных интереса ко всему на свете. Желание отделаться от осточертевшей среды толкнуло меня сдавать за 8-й класс экстерном, – но ведь я к этой среде еще не относился враждебно.

* * *

Решено было, что я вырабатываю злонравие и скептицизм именно за отсутствием детского общества, – решено было взять домработницу с дочкой. В то время институт найма еще только вырабатывал свои возможности превратиться в систему угнетения обеих сторон, и упомянутое решение мыслилось как жест благородства и тонкого практицизма. Мне и в голову не пришло – как

это мгновенно совершилось порабощение: почти никогда более я ни на кого не имел такого влияния, – и для меня в моей власти была ужасная отравка. Игру в жениха и невесту, странную, на мой взгляд, мы сменили игрой в капитана Кука и Островитянку по схеме книги, которую я продолжал читать, – медленно, но страстно, – по «Мореплавателям XVIII столетия»... Кук? У некоторых из них еще были еще более смешные имена – например, Лаперуз! А Островитянки же были на прекрасных иллюстрациях этого ин-фолио – и всё в набедренных повязках, так что я прекрасный костюм нашел для моей партнерши, не заставляя раздеваться ее в Еву.

Для полноты счастья наш высокий забор отлично ограждал идиллические джунгли сада, где я уже наигрался с братом в Маугли; тогда он был зверем, которого я преследовал, и наоборот. А джунгли тянулись до пустыря, и если прежде в них что-то насаждали, то потом, наскучив Уралом, забросили и клумбы, и гряды овощей. Джунгли я осваивал один, а взрослые не ходили на их опушку – в шиповник и малинник – тоже колючий. Далее шли дикие кусты вперемешку с крапивой и мусорной гнилью, а за ними – солнечная полянка, на которой прежде я изощрялся в фантастических сочинительствах и риторике перед единственным тогда достойным слушателем – самим собой.

Никогда бы я не шокировал слишком – самым добросовестным рассказом о наших играх. Я был – как это называется? – целомудренен, – вот-вот! как Дафнис из романа Лонга – и даже еще целомудренней, разрази меня гром! Моя дама, старше и другой среды, по-женски превосходила меня (была осведомленней), – но и она жила под гипнозом. Прежде чем этот роман приблизил ее к роли Хлои, он разыгрался ближе к сюжетам фильма «Синьор Робинзон». В своем простодушии я испытал восхитительное изумление от ее наготы, – с острым чувством совершенно непонятных тогда ожиданий. Я не знал, не скушать ли ее, – и мне уже никогда не будет скучно! Я не знал, что сделаю вдруг, сейчас: ее хоть есть, хоть пить, хоть просто растерзать – такое чудо! Вокруг тела в округлых грузных формах и пестрых или темных тряпках, – а это не то что белело...

«Свеча горела на столе, / Свеча горела». Читали книги при свечах – такое дело. Читали на самом деле и при дымных коптилках. На коммунальной кухне во время войны. Рядом стирали или пекли. Или еще в очередях. Так, читая Л. Бриттена, «Голод и любовь», я мог сравнивать себя с мальчиком-разносчиком из книжного магазина.

Так возникала мета-метафора об Анне (*Карениной*), у которой погасла свеча, при которой читала она свой роман, становившийся для нее несносным.

* * *

Роман А. Битова «Пушкинский дом» так хорош, что хочется все мемуары начинать в его манере. Например, 1 марта 1881 года моя бабушка Амалия Адольфовна Вайнерт шла к вечеру (в ... часу) вдоль Екатерининского канала к Невскому домой. Вдруг за спиной прогремел пушечный (как ей показалось) выстрел. Мне так легко установить здесь двусторонность отношений между автором и повествователем, которую Битов выстраивает по примеру Пушкина. Ибо повествуется вышеупомянутый случай примерно 52 года спустя, и бабушке уже не 12 лет, и мне всего-то 5 лет. Так что царя Александра мне все еще не жаль: столько разных историй успел я узнать, услышать – и про Серую Шейку, и про Слона: «Старый-старый / Слон-слон, / Видел страшный сон-сон, / Что мышонок у реки / Разорвал его в клочки». Мне уже читали о том, что слоны боятся мышей, кусающих в нежные ткани между пальцев... И про смерть Минигаги из «Гайаваты».

А о грохоте взрыва я составил представление годом ранее – когда здание через улицу затягивалось дымом: пытались взорвать костел, когда-то добротнo отстроенный поляками на заветном их пути в Сибирь. Глупое бесхарактерное царское правительство не умело этих поляков прижать научно. Не верило оно в единственно научный метод, марксизм. В «производство кирпича по методу Ильича», – сказал тогда мой отец – и только почти через 6 лет ушел из дому. Но сразу и навсегда.

Никогда я не упустил из виду, что насилие всегда и везде значило в истории очень много. И все же не одно насилие двигало историю, – даже если сам Гегель пытается доказать, что вся история совершается насильем категорий над чувствами и мыслями индивидов. Даже у нас насилие везде переплетается с попытками внушить к нему симпатии. Везде очевидны какие-то другие мотивации поведения, кроме страха перед насильем, кричащим: «Будь готов!» – и отвечающим: «Всегда готов!» Есть же какие-то устойчивые градации и сознание различия между осмысленным насильем и бессмысленным, чисто деструктивным.

Мать совершенно напрасно всполошилась по поводу моего увлечения «Гамлетом»: опознание своей ситуации в нем не сводилось для меня к моральной оценке окружающего; важнее был мотив бдительности по отношению к собственным видениям, к теням, которые выходят из-под стен своего Эльсинора, – к мотивам мщения и долгов по отношению к погибшим. Этот мотив неподчинения справедливым эмоциям (в духе катоновской верности делу побежденных вопреки даже воле богов) распространен у Шекспира – и в «Юлии Цезаре», и в «Лире» (это – после рассказа об одном уроке в темном классе в начале войны).

* * *

Это было в годы диалектического Культа кулака, одновременно символизировавшего и солидарность сил Добра и даже уже традиционный в России образ злобного врага. «Партия – рука миллионнопалая, / Сжатая в один громящий кулак!» – восклицал Маяковский.

А еще больше кулаками называли миллионы врагов, которых сжиwali со света, презрительно экономя даже патроны. Ничего страшнее не было, как попасть в кулаки. При встрече свои на Западе подымали над лбом и макушкой кулак, крича «Rot Front!» и что-нибудь вроде на других языках. Фашисты не работали голыми кулаками и руки подымали плоской ладонью вперед. А у нас кулак с ума не шел: его именно голым старались загнать в тайгу и на

льды. Мы его все раздевали и колупали, а он вымирал, не доживая до состояния полной раздетости.

Все разуватели и колупатели приучались к паразитизму: реквизированного долго еще хватит, до войны. Ведь придет черед колупать и друг друга. Этот термин узаконил еще Щедрин, а универсальным методом он развернулся к 18-ому году.

Это было во времена, воистину составившие эпоху, когда газеты были озабочены преимущественно произрастанием злаков и их уборкой, доением коров, выволакиванием богатств на дневную поверхность земли. Общество очевидно так же озабочено в целом всем этим, как в отдельности каждый был озабочен всеми остальными своими физиологическими отправлениями, как то аппетита и пищеварения, дефекаций и мочеиспускания, сексуальными поддвигами. Культуры материалистические по преимуществу различаются как раз приоритетами озабоченностей – гастрономической, гигиенической, сексуальной озабоченностью – вот чем различаются культуры, не отдающие приоритета более сложным функциям и отправлениям – таким, как ориентация в пространстве (а не в среде) и во времени...

В 1938-ом я оказался в положении того подростка из Достоевского, у которого не было надежды дождаться своего отца. Но была единственная возможность установить с ним трансцендентальные контакты – контакты через любимые книги, через воспоминания, свои и чужие, о поступках и вкусах отца; через активные конфликты с тем миром, в конфликтах с которым отец погиб. Это открыло мне гамлетианский подтекст «Подростка» Достоевского. Это пребывание в ситуации, которая не сосредоточила врага в конкретном короле Клавдии. В мировой культуре, где оба царственных брата как бы растворены в концептуальных тенденциях. Это ситуация, в которой Гамлет сам вызывает дух Отца, старается не раздражаться по пустякам, не развлекается с Розенкранцем и достойнейшим Гильденстерном.

* * *

Если бы в тот же день людей на улице стали хватать, рвать на части и пожирать в сыром виде, я бы уже не очень удивился. Прятаться от всех подобных возможностей было негде. Обсуждать происходящее все явно избегали. Некоторые взрослые (родственники и знакомые) старались что-то описывать и объяснять друг другу: но разговоры велись в таком телеграфном стиле, с купюрами и недомолвками, намеками и обвиняками, что все это было страшнее их голосов, спадавших до шепота, страшнее ужаса на их лицах. А ведь эти люди еще вчера ничего не боялись, могли резко возражать и не уступать друг другу... Надеяться не на что и доверять некому. Мне говорили, что папа скоро вернется, но и это было такой же фальшью, как и все остальное, продиктованное страхом.

Единственное, что зависело от меня, – не выказывать страха и не искать ни в ком сочувствия.

Незадолго до того как мне исполнилось 10 лет, я оказался на сцене театра, достойного Эсхила или Софокла. Чему бы я ни подвергался впоследствии, все не было столь глубоко и непреложно по смыслу... Под предлогом самообвинений двух десятков проходимцев миллионы обречены были исчезнуть бесследно.

* * *

Все детство я жил в женском окружении, как Ахиллес, а затем юность – в чисто мужских казармах сов. концлагерей.

* * *

Для моего поколения существовала такая теоретико-познавательная, даже философская, если даже не метафизическая игра – декалькомания – переводные картинки: один и тот же образ выступал в ней тремя последовательными фазами, даже четырьмя фазами яркости красок.

* * *

(Лето 1944 г.)

Записная книжка, подаренная бабушкой, сафьян...

Для новых войн характерна коалиционность и многочисленность театров действия. Усугубилась военная организация тыла. Невозможно разработать план, учитывающий все будущие операции, свои – и особенно вражеские. Для завоевания победы рано или поздно станет необходимым наступление. Жомини: «Стратегия подводит армии к важнейшим пунктам операционной зоны и обуславливает результаты столкновений в этих пунктах» («Жомини да Жомини, / А об водке ни полслова!», Д. Давыдов). Цели, средства и использование их на войне реализуют свое единство.

Всякий стратегический маневр связан с действием на коммуникации противника или с защитой своих. Тыл – это то, что следует у противника считать самым уязвимым его местом. Виды маневров – обходы, марши в кильватер, параллельные, наперерез, по вписанной замкнутой фигуре.

* * *

Маленькая Офелия ходила на очень высоких каблуках, и топот ее разносился по коридорам, а у Гамлета недавно умер отец.

Бал-маскарад в публичном доме в благотворительных целях. Хозяйки играют уральских баб, как там зимним вечером в моем детстве играли девочки, угощая друг друга снежными пирогами и ведя взрослые разговоры. Искринки раннего лунного света играли на снежинках этих бриллиантовых тортов, вырезанных лопаточками из сибирских снегов. А мы сидели на корточках вокруг.

* * *

Листки желатина у моей бабушки напоминали поверхность озера в штиль, усеянную юными и свежими утопленницами. Нет, утопленницы распухают? Это была поверхность вся в самых благо-

родных овальных выпуклостях, но свой восторг я понял позже, а тогда он был для меня математической проблематикой непрерывных топологических преобразований.

* * *

Со мной в первом классе была четырехпалая девочка Галя Смородинская (не знаю, как потеряла один) – а я до сих пор помню глубокий отклик чувственной, судорожной сострадательности при взгляде на эту ручку.

* * *

Задолго до знакомства с утопической литературой или даже с «Швамбранией» Л. Кассиля, – в глубоком пренебрежении к авантюрной и детективной литературе, в которой действовали микросоциологические референтные группы романтического героя, – я вовлек свое мальчишеское окружение в игру на карте Европы, как на шахматной доске.

* * *

Поколение, которое я наблюдаю перед смертью, корчится в сенсорной и сензитивной депривации. Их величайший, но еще почти неизвестный поэт ВК (Кривулин) писал было: «Вечерних сумерек струя, скудея, гаснет / Нам электрокамин сухого треска дров / Не может заменить».

Вся телевизионная система страны не может заменить простой печки-голландки (буржуйки даже), вносящей элемент человечности в жизнь начала нашего века – с ее играми света и цвета, с живой образностью пламени, с живописностью его и балетом. С его антитезой: статикой в пластике законного ледового орнамента в окнах.

*Ребенком будучи, когда высокая
Метель глумилась над судьбою нашей,
Я занимался играми с огнем...*

*Не в образе огней пылающей Москвы,
Как это после Герцену случилось представлять себе.
Я помню темную прихожую, – отсюда
Топили в нашем доме печь, обогревая
Еще по крайней мере пару комнат
Здесь гости часто оставляли трости –
Не только шубы. Рукоятки этих палок
Частенько оформлялись в виде злых
Голов звериных и змеиных...*

* * *

Я помню единственный в жизни случай испуга перед смертью в раннем детстве – мрачных мыслей, удерживавшихся несколько месяцев. Это был испуг от представления о том, как мир поблекнет, лишившись моего внимания, его упорядочивающего и подсвечивающего. Л. Толстой подобным образом относился к Канту в отрочестве: мир поблекнет, лишившись моего видения. Возможно, в этом было много ребяческого эгоцентризма в упрощенном представлении о том, как мир переживается другими.

Я начинал с «Гайаваты» и Стивенсона, а потом с огромной (по моему тогда росту) книги Жюль Верна «Завоевание Земли». Я на этой книге учился читать. Но главное мое впечатление, наиболее стойкое, было от иллюстраций, выявивших три средоточия моей впечатлительности: географические карты, парусные океанские корабли и островитянки. Там было еще множество замечательных пейзажей от айсбергов до джунглей и причудливых жанровых сцен встреч европейцев с аборигенами. Но самые дремучие инстинкты в мужчине – охотничьи. Не помню женского портрета, который не вызывал бы во мне досады своей абстрактностью. Было в детстве любимым занятием – черчение карт, с преобразованием масштабов и координатных систем. У меня особенная любовь к узлу ассоциаций «Европа» – она была прежде всего силуэтом головы в курчавом парике, высоко взбитом в Пиренейском полуострове и Англии. Этот полуостров потом обрисовался вроде контура портрета Лейбница, изборожденного гримасой горных кряжей и морщинами

речных долин. Но почему же она не представлялась мне головой взлохмаченной Пиковой Дамы – на пышном торсе Евразии с широким подолом фижм, расцвеченных в Китае и Индии, в ветхой мантилье Сибири со шлейфом Курил и Камчатки, кружевом Зондского архипелага – сквозящим бельцом прошлых веков, в башмачке Австралии с пышным бантом?

* * *

Мемуары начать, может быть, следовало с главы «Луна и резиновый мячик» о том, как в нашем саду я нашел трупик воробья и мне объяснили, что все мы смертны и всех нас примерно в таком виде закапывают. Несколько дней меня преследовало представление о том, как постепенно земля превращается в могилу всего живого и подобие огромного пирога, начиненного трупами. Наверно, так я мог бы углубиться в умонастроения Николая Федорова и проникнуться пафосом убеждений, что для человека нет дел более достойных, чем работы по подготовке всеобщего воскрешения подобных бранных останков. Но Бог миловал меня в тот раз, уберег меня от напрасного труда повторения уже испытанных философических исканий. Он не помиловал в другом случае – с Кантом, на что я, впрочем, не ропщу, – это была все же очень полезная интеллектуальная гимнастика, полезная для понимания истории в другой раз.

«Русский глазам не верит, ему надо пощупать», – часто говорили мои няни 55 лет тому назад, – не замечая, что это более мужской юмор и что воспитанный мужчина не станет щупать что попало.

Для меня в этом задоре звучал только пафос *omnia dubitandum*, девиз Декарта – «во всем сомневайся», ибо сексуальных побуждений щупать нянь у меня не возникало (няня-няня, что это у нас?) – я в свои 6 лет был по своим интересам ближе к Декарту, чем к старшим товарищам или нянькиным ухажерам. Сейчас я понимаю, что в поговорке о русской любознательности (вкусе к тактильным впечатлениям) вовсе не пафос скептицизма звучит, а констатация округленности мира, признаваемого реальным, – мира в радиусе

достижимости ладонью? Что сверх того – то от лукавого, а не то чтобы нереально: чисто визуальный образ мира, предмет лицемерия и игры.

Возможно, мое сострадание к трупно окостенелым телам живого преодолели тогда же воспоминания о кошачьих трупах, на них я наткнулся на соседнем пустыре. И убежал тогда от любопытства взрослых, сострадательно относившихся к моей склонности часами рассказывать себе вслух истории, насыщенные экзотическими оборотами, отлавливаемыми мной из разговоров взрослых. Особенно внушительно звучали тогда слова «политика» и термины политического лексикона – они звучали как-то особенно зловеще. Подобнодохлым кошкам, которые в трупных своих состояниях казались агрессивней и живее всех живых, словно в них какая-то сила и оружие. Это был единственный зверь, перед которым я испытывал омерзение, граничившее со страхом.

Итак, Бог миловал меня от трудов по бесконечному повторению истории мировой и русской мысли. Я довольно быстро излечился от жажды индивидуального бессмертия, которой бывают одержимы величайшие классики, не замечавшие часто, сколько пошлости даже в их классическом и поэтическом экзистировании. У Сартра способность человека к суперинтроспекции, к рассмотрению себя в электронные и тому подобные микроскопы и зеркала, составила главный смысл человеческого существования. Не эту ли рефлексию едва ли не напрасно вычитал у Канта А. Блок: «Сижус за ширмой: у меня / Такие маленькие ручки». А Б. Пастернак со всей окружающей природой и погодой укрылся за ширмой от социального политического вздора, – сын великого пейзажиста и ученика Толстого. Он с каждым метеорологическим событием заодно, как бы ни страдало при том его маленькое, как и у Канта, тельце. В большинстве все они знали, что в непосредственном дорефлексивном когито (*cogito*) наши переживания пошлы, как это видно по планам Пушкина и его случайным запискам. Хотя самовыражения этого человека настолько сильны, насколько далеки от пошлости непосредственной спонтанности.

* * *

Тень Великого сэра Исаака Ньютона вотще витала над моей колыбелью. Мои родители-студенты познакомились по случаю 200-летия его смерти, в 1927 году. Отец тогда получил приз на конкурсе работ, посвященных этому юбилею. Ему довелось читать популярные лекции, в которых механика Ньютона сравнивалась с теориями Эйнштейна к вящей славе обоих. Любопытство к загадочным теориям привело 19-летнюю Ирму Фридриховну Бальтазар к знакомству, получившему стремительное развитие в браке и моем рождении 5 января 1928 года.

Собственные мои воспоминания начинаются с событий, происходивших три года спустя, когда семья наша начала метаться между Ленинградом и очень непохожим на него Челябинском, останавливаясь попутно еще и в Москве то и дело. Отец разрывался между своими научными интересами и заботами о семье, между делами, которые приносили по тем временам невероятный комфорт, и мыслями о чем-то очень необычном. Обычное же воспринималось им как безотраднейший гротеск.

* * *

Бабушкина программа была унаследована. От обучения грамоте и немецкому она спешила к занятиям французским – но мама проигнорировала мой восторг (не знаю, откуда он взялся тогда): «Советская школа научит всему, что нужно!» – с негодованием опротестовала она. И я, молодцом, сразу сделал множество выводов: что советская школа, подобно маме, без меня знает, что мне нужно. Что сверх нужного мне ничего не нужно. Критику этого рационализма я нашел потом у Шекспира в «Короле Лире», – и понял, за что в Шекспире у нас уважаемо только имя. «Сведи к необходимому всю жизнь – и человек становится скотиной».

Второй вывод: эта самая школа заменит мне нянюшек как заменителей папы с мамой, а эти самые домработницы давно уже сводили меня с ума скукой, сколько ни менялись. Что терял я со вниманием матери, я помнил (впечатляло, видимо), – а с афоризма о всеблагод-

ти нашей школы стал ее слушать чрезвычайно критически. Что-то очень фальшивое, твердая решимость застраховаться запомнилась.

Например, маме некогда: у нее много каких-то интересов, а еще – заботы о болезненном младшем брате. Ее внимания всегда хватает только на самое нужное. С ней заодно, видимо, и эта будущая советская школа. Но за бабушкой и французским стоял мир с интересами, напоминавшими праздники (праздничными, игровыми) и потом пафос в произнесении отдельных слов – именно он смешил отца и подсказывал ему реплики, доведившие мать неожиданно до слез обиды, – ее, такую выдержанную, холодноватую. А ведь я гордился страшно, что моя мама такая красивая, – все прочие женщины такие толстые, да и папа – высший авторитет! – к ней одной был так внимателен.

* * *

Гедонизм бабушки А.А. (Амалии Адольфовны) выше моего разума: каково-то было видеть все перемены в жизни, – все эти тошноты и пошлоты. Оценить ее тогда я не был способен, лишь благодарен за рассказы о радостях «петербуржуазной» жизни, про балы и романсы, и любовь к Моцарту и Лермонтову, про обыски и постояльцев в Петергофе. Среди них был родич Калинина, встреченный мной потом на Потье.

У меня было две таких любимых бабушки – А.А. (Амалия Адольфовна) и О.Г. (Ольга Григорьевна). И такие дружбы со старухами, как с «Матреной» Варварой Георгиевной, с Марьей Григорьевной Шаминой и с Ниной Николаевной Сорокиной.

После гибели отца я был на самовоспитании, потому что школу ненавидел сильнее тюрьмы, как оказалось впоследствии: ни гордости цепями, ни смеха над царями там не было. «К чему мудрецам погремушек потеха?» – ну, стариком я более всего был в интервале 11–17 лет. Я отбыл свою старость заранее.

Мои воспитательницы сохраняли еще железную закваску германнизма. Бабушка и раньше была со мной в контактах, – рассказами о

взрывах 1 марта 1881 г., вблизи которых она оказалась. Интересней рассказывала о развлечениях молодежи, о балах – тогда это было все ей еще свежо – тому 40 лет было. А маме, Ирме Федоровне, было все это ненавистно. Она еще не была красной, но уже левой экстремисткой. Сакко и Ванцетти были ее герои, и она хотела было назвать первенца как-нибудь вроде знаменитой спичечной фабрики – Сакко. Я бы себя тогда показал в отместку как-нибудь так: «Дон-Гуан и Ортега-и-Гассет, Лойола-да-Франко Торквемада». Средоточием внимания в те годы была уже Испания.

Наслушавшись объяснений, почему бабушка зовет меня Вольфгангом (в честь Моцарта и Гете), я заверил их, что теперь, сквозь годы мчась, у меня других желаний нету – чтобы только не назвали бы подчас меня «Товарищ Нетте». Маяковский в моем воспитании шел почти непосредственно за Лонгфелло. Мама плакала на улице, услышав о гибели Маяковского.

Но первые мои воспоминания – не лицо матери, а огромная черная с серебряным тиснением «Песнь о Гайавате». И первые мои восторги вызвали маргиналии (рисунки на полях) этого крупноформатного издания. Она и накликала самую большую беду на меня. Поход Гайаваты за Минегагой, «светом лунным, блеском звездным, огоньком в твоём вигваме». А потом... «Лед все толще, толще, толще становился на озерах...» Голод, смерть... Игры в полярников, в капитана Скотта. А тут еще брата называли – в честь же! – Амундсена Роальдом. Ведь тогда кто-то написал еще бодрую поэму о Роальде Амундсене: «Шесть саней снаряжены, серебром сверкают пряжки».

«Чуть построжки не порвав / К югу полетели...» В основном моя мать заслоняла лицо «Гайаватой», – и рос я, вероятно, аномально не подверженным фрейдистским комплексам, застрахованный литературой и радио. Возле приемника отец занятно комментировал англо-франко-немецкую разноголосицу-чересполосицу. Он завораживал меня рисунками кораблей и карт, рассказами об автомобилях с реактивными двигателями. У них на месте багажников виделось что-то вроде вскрытых пачек папирос. И читал мне лекции

по геометрии и по истории (почему-то начиная со средневековой Европы).

Он несколькими словами доводил мать до слез, сохраняя мягкую улыбку. Юмор его был убийствен. Когда его не стало, я уже не видел мать плачущей, потрясение лишило ее всякой сентиментальности. А бабушка А.А. заступалась за него и за его память. Во все последующие времена мир виделся мне населенным преимущественно тещами, совсем другими.

Царь, царевич? Король, королевич?

Сапожник, портной? – скажи, кто ты такой?

Дождик-дождик, перестань, я поеду в Арстань.

Царь-сирота, открывай ворота

Ключиком-замочком, шелковым платочком.

Нет, это не монархизм, а поэтическое умонастроение. «При царе», – говаривали люди – и многозначительно умолкали, сурово поглядывая. Нет, не в лучшее прошлое, но куда-то поверх темы лучшего будущего.

От нянюшек – живое знание фольклора и народной речи, какой иначе бы нигде не слышал, разве что в «монастыре-казарме – Академии Сумасшедших Наук» (Дубравлаге).

* * *

Няни, которые могли своими молитвами снискать мне особую благодать от царства Божия (в те времена, когда отцы иных громили местные церкви и готовили коллективизацию) – у нас в доме побывало множество этих женщин – из молодых беженских контингентов вчерашней деревни. Кроме прочего они учили меня никогда не хватать, и я не стану более распространяться на эту тему, – что там было у нас хорошего, хотя сменялись они очень часто – по разным конкретным причинам, из которых две очевидны: у них были где-то семьи родительские...

* * *

В десять лет от роду, среди сплошной идиллии, я вдруг вынужден был понять, что ни на чье мнение не могу полагаться, хотя и окружен любящими и благонамеренными людьми. Не умея решать для себя наскоро, я лет 40 накапливал себе проблемы в очень нечетких формулировках, от случая к случаю их уточняя. Я привык активно с вопросами обращаться только к авторам книг, которые давали те или иные поводы к тому. Но их ответы зависели от моей вопрошательской активности. Это длится почти с тех пор, как я вернулся на свет внешний. Общение с людьми приходилось быстро подводить под категорию игр, не имеющих непосредственными целями добывание истин.

Такие игры привели к пониманию того, что зовется эпистемической логикой. Используя полиокулярность их зрения (иногда фасеточность у плюралистов), я обнаружил, что довольно густо населен (и не только кантами и платонами), ношу в себе свой социум, развитый внутри в силу радикальной индукции и формализации внешних отношений, опосредованных вещами, обменом. Внутренне же наше, душевное население и есть образец всякой коммуны. Сидят во мне всяческие заточники с горящими глазами и высвечивают друг друга. А есть ли что реальнее их? Можно ведь принять за критерий существования разложимость системы на матрешки, на ее же гомеоморфные (изоморфные) подсистемы. Как воспринимают друг друга и всякие участники общения (по Достоевскому).

* * *

До 10 лет включительно в человеческом мире я видел только одну проблему: почему миллиарды угнетенных не переселяются к нам. Одна Сибирь могла бы их вместить по нашим методам решения демографических проблем.

* * *

Моя странность в самом раннем детстве мне самому уяснилась окончательно только полвека спустя, при чтении статьи, содер-

жавшей психологический портрет Дэвида Боуи (в виде отрывков из интервью с ним и т.п.). Одновременно я понял и все рок-н-рольное поколение. Моя привычка разговаривать вслух, приводившая в недоумение, часто демонстративное и порой злорадное сожаление случайных свидетелей – соседей, – необъяснима из аутизма детской речи, из ее эгоцентризма. Родители тогда увлекались книгой К. Чуковского «От двух до пяти» – о развитии детской речи.

* * *

... (Деметра) и в няньки попала, чтобы младенца закалять на рдеющих углях очага. Мамаша ночью подсмотрела и все испортила. Но моя слишком занята, да и я в руках Деметры-Истории, ожесточенной горем Ниобеи: маски нянь, в которых она выступала – моя бабушка Клио – Александра Ивановна, Тихоступочка; Ольга Ивановна с дочерью Машей. Закаляла меня Деметра, богиня земли родящей и матушка царицы Подземного мира.

* * *

– Отец, почему все сердятся на меня за то, что я будто бы все усложняю? – Это значит, Чока, что ты будешь настоящим мужчиной! – Это хорошо? Он смеется: – Вот опять они сказали бы, что ты все усложняешь. Для женщин это хорошо, а ты ими окружен... Понимаешь ли – они ничего не умеют усложнять. Кроме своей внешности, кроме одежды и тому подобного. – А почему женщин ругают бабами? – Не ругают, а уточняют: баба – это активная ненавистница сложностей. – А... NN говорит, что сама себе усложнила жизнь. – Скорее, усложнила – в смысле запутала: в путанице растет простота, а не сложность. «Простота хуже воровства». – Как? Что? – Штока ты, Чока. Это старая пословица. – Про меня, про Штоку? – Нет, о простоте. – Так хорошо или плохо быть мужчиной? – Кому как. Для баб плохо. Во всем главное – быть настоящим. – А разве в живописи и в скульптуре все настоящее? – Да, если форма по-настоящему сделана. – Но ведь там ненастоящие люди? – Нет, более настоящие, хоть и неживые. – Трупы? – Нет, типы или про-

тотипы, или... – Каменные? – Форменные. – Мама ругается «формализмом».

* * *

А не начать ли мне воспоминания с последствий обыска? Вот зрелище! На всю жизнь привили мне любовь к беспорядку, как иному человеку – к поджигательству. И поселилось во мне зло-радство: пусть приходят, ищут и попробуют понять тут хоть что-нибудь.

* * *

*Андрей Шенье взошел на эшафот,
А я живу – и это тяжкий грех.*

И «Что в имени тебе моем?» Хотите верьте, хотите нет, она звалась Арина Родионовна, и в нашей многоязычной семье говаривала с гордостью: «Русский глазам не верит».

* * *

Десяток лет тому назад начатые мемуары я назвал бы «Записками колобка», если бы довел до конца. Сперва их тон показался мне самому хвастливой бравадой: я от волка ушел и фашистов избег. Я в ГУЛАГе уцелел и от тещ не погиб...

Как если бы мне оставалось прихвастнуть: я полвека не болел. И от тебя, миледи Смерть, и подавно ускользну. Но это только как-то так само собой получалось, и я вынужден был ко всем абзацам приписать наивный рефрен: «Чур меня, чур!» Это не я, это по молитвам моей няни Александры Ивановны. Это не иначе еще по Божьей милости, мной ничем не заслуженной, со мной случилось так, по Его святому промыслу случилось так, – и мой долг нарастал с процентами к этим преклонным годам, когда я не вижу уже никакой другой возможности заявить свое понимание Мудрости Господней, как только рассказав не о себе, а о том, чему Господь меня свидетелем поставил.

И вот на старости я сызнова живу. Минувшее проходит предо мною. И я озабочен уже только тем, чтобы моя личная позиция (точка зрения) не определяла перспективу, в которой увидит мои свидетельства проницательный читатель.

Бог забросил меня с самого начала в самую разноплеменную среду, то есть в наиболее типичную для русского человека ситуацию. Потому что моноэтническая среда была у нас только у крепкого земле мужика средиземных губерний, – от Воронежа до Вологды, от Вязьмы до Костромы, да и то лишь в последние три века они вполне обрусели. А за пределами этой Крестовины, которая служила опорой Москве, как елке устойчивость придает подобный же плашмя положенный крест, прикрываемый ватным символическим снегом, – за пределами этого креста московская ель осыпала свои пахучие иглы на землю всякой чуди да мордвы, казачества, перенявших обычаи уже не древлян и полян, а зверян и степнян, горцев да южных приморцев. Мордвяный да башкирский и калмыцкий дух мыкался веками вокруг да около.

* * *

Обильный мат, которым это население выражало почти все свои чувства и мысли, иллюстрировал мой вечный вопрос к Декарту: да мыслим ли мы, когда делаем вид, что мыслим и даже в речи выражаем мысли? Постепенно я уже в юности начал замечать, что значимость (подлинность) мысли у нас маркируется матом, а высшие значимости еще отмечаются интонацией, которая становится особенно горячей не при выражении ненависти к буржуйам, капиталистам и фашистам, а при упоминании каких-то «педерастов». Однажды в 43-ем году, читая книгу Олдингтона в столовой рядом с мамой, я спросил ее о совсем непонятном слове «гомосексуалисты». Моя храбрая мама выронила ложку и обвела испуганным взглядом все соседние лица, прежде чем сухо попросить меня отложить эту тему. Разумеется, я обратился затем не к матери, а к энциклопедиям.

* * *

Что до моего отца, то, согласно преданию, войдя в камеру внутренней тюрьмы, он спросил, не знает ли кто, где бы повесить шубу, – спросил у людей, лежавших на полу. А почему бы и нет? Ведь стены же свободны, на них еще никто не лежал! Вдоль них так много свободного места. И еще часа не прошло, наверно, как на пороге, прощаясь, жена навязала ему эту медвежью шубу (я сам тому прямой свидетель), а он пытался намекнуть, что до его возвращения... ну, может понадобится продать что-нибудь. Ведь дети же (я и мой младший брат) – и вряд ли что в доме имеет у нас рыночную стоимость, сравнимую с этой шубой... Как выразительно, однако, в классике совмещение или переплетение высоких символов мистерии и чуждых всем риторикам житейских забот!

* * *

Мои письма могут казаться очень непоследовательными в изложении моих оценок и симпатий. Но ведь они адресованы друзьям, на понятливость которых я вроде бы вправе был рассчитывать, и потому я мог уклоняться от обсуждения толстовских и маяковских тем – что такое хорошо, а что такое плохо. Могу представить и образы логически упорядоченной прозы: в середине декабря 1937-го мать по случаю ареста отца отвезла меня с братом к дедушке-бабушке в Киев. Всеобщая официозная версия сводилась к тому, что переживать недоразумение – все равно, что пережить дурную погоду – надо молчаливо и стойко, стараясь не мучить близких попусту смакованием тяжелых своих настроений. Вероятно, к тому приучали меня с пеленок, и я позднее всегда испытывал высокомерные чувства ко всем, кто громко выражал свои горести и всё пронзительное в страданиях и состраданиях. Пронзительно, по моему, – это когда душа в пятки уходит или зуб ноет.

Вскоре приблизился мой день рождения 5 января 1938 г. Отца не было уже более месяца. Собралось множество родственников, мне незнакомых, все прилежно вели разговоры намеками, даже не касаясь несчастья. Я чувствовал какое-то непонятное мне отчуждение

от единственно важного. Какой для меня мог быть праздник? Меня просили читать стихи, я старался, чтоб им было хорошо, не так неловко. Под конец расплакался, и мой дед, обняв меня, увел ото всех и стал лепетать что-то о том, что прогресс, справедливость, гуманность и т.п. восторжествуют. Я был готов возненавидеть все эти прекрасные вещи, которые он мне пытался подsunуть вместо отца. Я видел, что его возвращение никто не смеет обещать. И что все сговорились погибать за прогресс и гуманность, а главное, отдать за эту чью-то гуманность то лучшее, что у них было, – даже не их собственные ветхие жизни, а жизни чужие, прекраснейшие в мире. А они и луну в небе согласны погасить ради чьей-то гуманности и какого-то прогресса. Нет, я не возненавидел все это, но научился с крайним скептицизмом относиться ко всем разговорам о прогрессе.

* * *

... Он происходил из очень консервативной петербургской семьи. Бабушка Амалия Адольфовна до самого конца презирала кино как плебейское развлечение, и мама ему, 12-летнему, пыталась это разъяснить не без понимания сути дела. Мама, 32-летняя, была настроена тогда особенно серьезно: уже 3 года она ждала возвращения отца, – первые 2 года она снимала комнатку напротив нашего прежнего жилища, – так, чтобы в окошко можно было увидеть, когда, допустим, в метельный вечер он добредет до места затянувшейся нашей разлуки. В ту зиму на 39-й год мы топили печку в домишке Марьи Григорьевны Шамовой книгами семейной библиотеки, и сын брал на себя смелость протестовать против суждения к этому аутодафе, скажем, тома Элизе Реклю «Земля и люди». Так все же несколько творений он от сожжения упас, себе на будущую гибель. Горбачевская перестройка была глубоко закодирована в генетических программах русской культурной революции, проходившей без таких эмоциональных эксцессов, как сожжение книг на кострах или расстрелы на исторических площадях (как в Ферраре фильма «Долгая ночь 43 года»): перед миром культуры было совестно следовать этим ра-

дениям в стиле Брокена и Сицилии. Книжки жгли избирательно, скромно, потихоньку, с большей пользой при нашем-то климате, как приходилось уже в 18 и 19 гг. жечь книги и мебель, – о, это была великая школа циничного выживания мещанства и его приживания ко всему, чему случиться приключилось.

Вера Инбер вспоминает, как перечитывала Диккенса и Франса в зиму всероссийского «вымораживания буржуа». Диккенсу ничего особенного не грозило, но об Анатоле Франсе разговор у нас будет пространный. Вероятно, вкус моего отца уберег меня от раннего знакомства с нудными томами этого веселого старикашки, – и я вышел напрямую к фривольно начатому «Восстанию ангелов» и патетической сонате «Боги жаждут», наделивших меня иммунитетом ко всем пошлостям якобы отечественного историзма. Но я позднее очень провинился перед Франсом – и об этом речь будет много позже, в главе о пребывании моем во внутренней тюрьме КГБ. Заранее предупрежу, что считаю своим долгом сказать здесь много о разладе с модой изображать КГБ во всей его глупости. В нашем обществе КГБ представляет отнюдь не злейшую его часть, как армия нигде не бывает в массе самой агрессивной силой. Я думаю, что, если бы мы создали бабские спецвойска, ничто не смогло бы удержать нас от перманентной войны, не то что от перманентной революции Парвуса-Ленина-Троцкого.

Но вернемся к порядку повествования. Домишко Марьи Григорьевны Шамовой стоял напротив нашего особняка на улице Лесной, вблизи угла Челябинки (на самом углу был еще один домишко – это напоминает о том, что «наш особняк» противостоял сразу трем участочкам).

Я уже проболтался, что вспоминаю о себе, а не измышляю ЕГО, условное третье лицо. Начать так прямо с местоимения первого лица мешал мой фамильный консерватизм – очень бестактно выпячивать свою особу. «Я б за героя не дал ничего», – говорит Пастернак, всем своим косноязычием удостоверяться.

* * *

Когда в уральские вечера мы имели в избытке снега для занятий ваянием, я диву давался, что девочки предпочитали вырезать («пластать») из снега пироги (торты имелись в виду) – и либо угощать ими, либо играть еще в продавцов, – чаще тогда играли в церемонии гошения-угошения друг друга и церемониальные же разговоры на банальные темы. Но когда мне удавалось привлечь своих сверстников к ваятельным или строительным работам со снегом, мне никогда не давали довести дело до завершения. Кажется, во времена Сурикова соотечественник еще не был так враждебен всякой мысли о свершении и совершенстве. А я видел всегда, что чуть дело приближается к завершению, как соиграющими моими овладевает буйное состояние, как бы бес вселяется – и они вдруг начинают разрушать сделанное, как будто мало зрелищ разрушения дарят наши метели и бураны. Вот таковы были первые мои детские обиды. У меня было счастливое детство, – никаких других обид – от взрослых – я не помню. Вероятно, потому, что другие обиды были как-то мне объяснены, хотя бы мной самим. Иногда в соседских семьях происходили скандалы с выносом на улицу – с публичной дракой – мне в этом всегда виделось то же проявление бесовского воодушевления – то есть вселение беса в ту плоть, где мало души, где она мелка. Было такое слово «малодушие», но его еще не велено пускать в оборот наряду с такими архаизмами хамскими, как «тунеядцы», «попечительство» и т.п. «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человеческими уязвлена стала» (Радищев). 200 лет этой весной исполняется «Путешествию». Как это автору взбрело в голову, что «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя» едино есть? Они, чудища сии едины суть от случая к случаю, случаясь во взаимном пожирании и совокупляясь в обычном смысле и нося различные, часто противоположные имена государства и народа, рабства и свободы. Кое-что подсматривают в том Гегели да Гоголи – и придают онтологический смысл обыкновенным соитиям чудищ, образующим ту сейчас часто обсуждаемую ситуацию, которую тогда простодушный детский поэт исчерпал в двух строчках: «Волки

от испуга / Скушали друг друга». И спророчествовал: «А слониха, вся дрожа, / Так и села на ежа» (К.Чуковский).

Соитие еды и едока – таинство не менее явное, чем все остальные, – удостоившиеся скрытой иронии Того Самого, Кто тогда не в последний раз иронизировал предельно кратко: «Ты сказал». В тот вечер Он все время иронизировал и хорошо запомнился.

*Тогда свобо-дно исчастлива
Смоли-твою
пойдем к винцу*

* * *

В пору моего детства чудес было больше – и вместо парадов невеличких перед телекамерами нас занимали народные песни из серых тарелок репродукторов:

*Я на горке была,
Я Егорке дала...
Не подумайте плохого –
Я махорки дала... –*

задорно-лукавым голосом, – но современный человек большую часть этих куплетов не понял бы. А еще был прорыв иностранщины – через кино «Дети капитана Гранта»:

*А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер...
Чтоб каждому хотелось
Догнать и перегнать отцов... –*

это не вязалось, впрочем, с культом третьего святого, Павлика Морозова. Сын за отца не отвечает – это было прямым призывом отречься от предков. Второй шлягер – это:

*Я на подвиг тебя провожала,
Над странною гремела гроза –*

из «Острова сокровищ». Остров сукровицы.

* * *

Главное внутреннее, поистине диалектическое (то есть марксистское) противоречие, конституировавшее мою личность, основано было на иллюзии, что женщины бесконечно разнообразны. Такую вот иллюзию заложило в меня детство: без конца сменялись няни. А потом – школы, классы: одноклассницы. Мальчики в обоих городах, между которыми металась наша семья, как в Ленинграде, так и в Челябинске, были скучны: у них была одна проблема: «приближающаяся потасовка и кому начинать первым» (не как приближающаяся катастрофа...). Катастрофа и потасовка мыслились как суть существования. Из бравурного марша конной армии, т.е. завета Гражданской войны – нам остался один-единственный принцип советского человека: «И вся-та наша жизнь есть борьба-а-а!»

Итак, мальчишеское (и мужское вообще) общество было безнадежно скучно: оба встречных смотрели друг на друга с той бдительностью, какой учила партия:

*Уж ты зверь, ты зверина, ты скажи свое имя,
Ты не смерть ли моя – ты не съешь ли меня?*

Бдительная готовность подраться – вот все, что я умел различить в мужчинах всех возрастов до войны. Исключением был Отец. Но на то он и был Отец. В его присутствии даже мужчины менялись. Но наиболее разговорчивые изъяснялись на странных языках, из которых понимать я умел лишь по-немецки (и то не слишком). Даже русский отца и его гостей становился странным, полным экзотических имен, названий и вообще слов, незнакомых няням. Итак, в исподлобном мире мужском я мог только твердить себе: «Вся тварь разумная скучает...» – когда от страха не страдает.

Совсем иначе было в мире женщин – здесь трудно было найти основание принципам и обобщениям. И это меня обмануло, видимо, на всю жизнь. Женщины носят особые одежды, не такие, как мы, но, кроме этого, в них еще и множество загадок, даже в мимике. Таков смысл моих первых обобщений. Они больше заняты – много

больше, чем отец, хотя в искренности я вполне уверен только когда дело касается отца. Уверенность и знание в мире (моем, по крайней мере) – исходят от отца. Все остальное в высшей мере эфемерно. Разве что бабушка – один из полюсов мира женщин. На другом полюсе ее дочь. Моя мама.

* * *

Вот несколько притч к объяснению моей несносной, говорят, нетерпимости. О книжных кострах. Вы о них могли бы прочесть в журналах 30-х гг. Но я видел другие костры в 38-м году у себя дома – теперь даже нет той улицы – Боровой. В маленькой печке избы пылал книжный костер. В доме было холодно, но дело было не в дровах. За год до этого у нас бывали гости, от отца я впервые слышал имена Хэмингуэя, Олдингтона, Дос Пассоса, Андре Жида и Пруста, а в тридцать седьмом, когда погиб мой отец и нивесть сколько еще людей, тысячи других вдруг овдовевших женщин и мужчин научились жечь книги. Мне особенно жаль было богато иллюстрированную книгу Э. Реклю – в этой роскошной этнографической работе «Земля и люди» было столько ярчайших иллюстраций. И я очень просил за нее. «Нет, эта книга проникнута враждебной нам философией», – ответила мать. И началось мое философское образование – возник во мне интерес к философии. Я тогда узнал о философии чуть ли не больше, чем из всех лекций, какие мне приходилось потом выслушивать. Малокультурные люди не жгут книг – они их просто легко дают знакомым, теряют, посылают коллективно куда-нибудь на целину. Эволюция человека, начавшего жечь книги, – это эволюция к особой морали нового человека – морали убежденного убийцы, насильника, клеветника. С тех пор многие книги, талантливейшие и нужнейшие, стали редкостью, библиографической, как говорится.

* * *

О чем там было с отцом по поводу геометрии? О том, что безразмерно, но различается числом размерностей (геометрические фигуры отличаются от первообразных элементов пространства

тем, что относятся друг к другу как числа, находятся в числовых соотношениях, из которых некоторые также функциональны, то есть представимы только бесконечными числовыми последовательностями).

* * *

Впрочем, не следует слишком буквально принимать мои слова об изоляции от детей: кто-то постоянно играл со мной у нас во дворе, но об этом запомнились воспоминания не лиц, а песен-считалок и дразнилок, – от которых веет все той же свежестью, какая обдает внезапно из грозовой тучи, из-под ее почти сиреневого брюха:

*Дождик-дождик, перестань –
Я поеду в Арестань
Богу – молиться, царю – поклониться:
Царь-сирота, открывай ворота
Ключиком-замочком
С шелковым платочком! –*

при этих причитаниях мы чувствовали себя как бы озорующими на грани заигрывания с каким-то преступным царским прошлым вселенной:

*Барыня прислала сто рублей.
Что хотите, то купите, –*

а добрые бывали же барыни, наверно, – кто бы сочинил такое зря?

– Казаки-разбойники! – выкрикивала одна цепь. – А рискуй! – отвечала другая, превращая это в каламбур «арестуй!» – На кого? – На Юрку! – и бежишь прорывать цепь. «Катилась торба с великого горба... В этой маленькой корзинке есть помада и духи...»

– А на Машины именины / Испекли мы каравай! – Аты-баты, шли солдаты. – Сидит зайчик на пригорке, / Этот зайчик диверсант!

А на сверхбодрый марш авиаторов: «Все выше, и выше, и выше!» –
мы оралы каждому самолету в небе:

*Ироплан, ироплан,
Посади меня в карман.
А в кармане пусто –
Выросла капуста!*

Пока не сменилась эта тема новой частушкой:

*Если надо, Какинаки
Полетит на Нагасаки
И покажет он Араки,
Где и как зимуют раки.*

Не эта ли частушка, известная, вероятно, всем разведшколам мира, сориентировала в 1945-ом г. выбор Нагасаки вместо Киото? Кто бы еще Дрезден уберег: сколь зверóполей скорее заслуживали этой участи и не были бы восстановлены за никчемностью.

*Шумел камыш, деревья гнулись
И ночка темная была,
Из сада публичка пошла...*

--

*Где-то в городе на окраине
Я в рабочей семье родилась.
Лет семнадцати на кирпичики,
На кирпичный завод нанялась...*

--

*Когда б имел золотые горы
И реки, полные вина...*

--

*Отелло, мавр венецианский,
Любил с папашей сыр голландский
Российской водкой запивать...*

* * *

Полвека спустя я исходил вдоль и поперек и даже по диагонали то место, где бабушка присутствовала при убийстве Александра II, или, как теперь говорили, «место его казни» (за то, что он как-то не так да и не эдак освободил честной народ и всех этих Сонечек и Феничек Мармеладовых и Перовских, как-то не так и не эдак). «Живая власть для черни ненавистна, / Они любить умеют только мертвых», с тех пор везде здесь пахнет мертвечиной. Православный народ этим тешится, а боярыни его белолицые нам подносят на блюдах серебряных полотенца всякие, шелком шитые, угощают нас из века в век одним и тем же. Настоящею бедой в Московском царствии, где на всех неведомых дороженьках все следы ведут зверей невиданных, ступа с бабою-Ягой идет сама собой и стучит в себя, тычинку, пестиком, да избушка в ней без окон, без дверей. Как у Пушкина, начавшись людным сборищем, людным сборищем на поле Новодевичьем, так и кончится народным умолчанием.

Призадумалось народное безмолвие над очередным детоубийством по очередном народовольствии. Совсем как просил юродивый Николка: «Мальчишки Николку обидели – вели их зарезать. Вели их зарезать, как зарезал ты царевича». Что у Николки на уме?

Гей, ребята, пейте, дело разумеите. Гой, ребята, пойте, вольным матом кройте. Уж потешьте доброго боярина и народ его благоуверенный. Как гребется ему своими граблями, подметается метлой своей опричной. Лягушки квакали: «Царя!» Уже Крылов и Пушкин знали, чем это кончиться должно, и ясно видел Достоевский...

* * *

Всю жизнь, как жужжанье мух, сопровождают жалобы на умопрачительную сложность жизни. В детстве мы еще иронизировали по подсказке поэта:

*Я спросила – а как считается,
Что есть японицы... и есть кита-итцы?*

* * *

Беднее всего у меня музыкальное воспитание. Вероятно, Вагнер в наш век примитив, но опера мне интересней всего вагнеровская, и на ней сосредоточены мои музыкальные интересы. Вероятно, это определилось литературным моим и философским развитием, где-то в основах своих укорененных в древнегерманских представлениях о радости, о пафосе бытия. Эти представления в равной мере (в моих глазах) обосновывают и английскую поэзию, и скандинавскую. От Шекспира и Джона Донна до Лонгфелло и Эдгара По, до юмора Льюиса Кэрролла и далее до философического саркастического романа нашего века (Олдос Хаксли, Ивлин Во, Айрис Мердок), романа антиутопического пафоса и древнейшего вкуса к гротеску.

Забавно, причудливо осозналось это мне через Гайавату, который настойчиво ассоциируется у меня с вагнеровскими героями (вельзунгами – Зигмундом, Зигфридом), как Миннегага – со слабыми героинями раннего Вагнера. «Гайавата» была моей «колыбельной книгой». Вероятно, во всей английской словесности и бытовой традиции существовали в этом лиризме саксов (в их эпосе) побуждения именно так обработать индейские «stories» («Should you ask me, whence these stories»): «Если спросите – откуда / Эти сказки и легенды / ... Я скажу вам, я отвечу» (пер. И. Бунина), как потом никому более не приходилось в американской литературе. Впрочем, американские детские игры в индейцев вызваны теми ассоциациями, которые Энгельса побудили тоже переходить от германцев Тацита к индейцам Боаса.

* * *

К теме благодарности и благоговения: мать не жаловала еврейскую среду за неуважение к женщине: утренняя молитва – «Благодарю тебя, Боже, что ты не создал меня женщиной». Вероятно, так же

полагалось благодарить Бога за все, чем он не сделал данное лицо, т.е. за то, что сделал мужчиной, евреем и пр. Но это все только напоминания человеку о том, что он не создал себя сам, ибо только последовательный self-made-man (сам-себя-создавший, выражение Диккенса: самодельный человек) теряет всякую сострадаемость.

Зато на суждение о якобы накопительстве в еврейской среде (стяжательстве, богатстве) она поразительно хмыкнула: «Твой отец ходил в рваных тапках на лекции». Сама она была из обуржуазенной среды.

* * *

О себе – Чока. Так что я был слегка чокнутый (по уральскому произношению слова «что»).

* * *

Вспомню о судьбе Михеля Плисецкого, ближайшего друга моего отца, расстрелянного в том же году, что и отец. Его дочка, великая балерина Майя, в те годы играла со мной. И я сейчас еще помню, как она рассказывала мне о своем любимом романе «Овод» Войнич. Она на три года меня старше. Мама Майи Плисецкой ехала через Челябинск в Чимкент, в ссылку, и останавливалась в нашем доме на Чегресе. Так мы в последний раз виделись чуть не в начале войны.

Через год Ирма Федоровна, увидев меня с другой девочкой, погрозила мне пальцем и сказала: «Не забывай, что у тебя есть еще невеста длинноногая!» А я ответил: «Я у нее только Овод-повод».

* * *

А еще одну главку первой книги начать как бы эпиграфом: «Не лепо ли ны бяшетъ, братие, / Начати старыми словесы» («Слово о полку»).

* * *

Я женщину всегда любил. Когда война кончалась, а я был в 10 классе, мать рассказала мне в добрую минуту, как подруга развлекала ее в минуту жизни трудную рассказами о моих ухаживаниях за дочерью этой маминой подруги. Ничего интересного в том не было бы (нам было по 14 и 15 лет), если бы не мои стихи, которые я подкладывал девочке в тетрадки, решая за нее задачки.

Такие обтекаемые формы

Встречаются в природе очень редко, –

и рифма была еще на такое словосочетание – «радость-очерёдка».

Вероятно, у этой девочки формы были действительно обтекаемые (чтобы понять, надо учесть наш тогдашний острый интерес к авиации, кораблям и оружию, наш воинственный техно-эстетизм у мальчиков, – об этом у меня в другой главе). Вкус к обтекаемым формам возник существенно ранее –

И Демон видел... На мгновенье

Неизъяснимое волненье

В себе почувствовал он вдруг.

Именно неизъяснимое и совсем внезапное.

* * *

В юношеские годы я услышал в тюрьме всего два примечательных наставления: «Дави нежного гада» и «Женщина – декоративное животное». – Как? – прислушался я. – Ну, как есть декоративные растения... – Вероятно, Вы о женской психике только. Как рабская сила у нас в чести: на ней пахать умудрились.

Позднее я понял, что дама, женщина – это сложнейший результат цивилизации. Или культуры как условия конвергенции интересов женщины и мужчины. И потому она же – первый продукт распада культуры.

* * *

И если были темы, которые я обходил как не представляющие общего интереса, то о Сталине мы говорили мало, потому что любой ребенок может понимать, что за судьбы многих миллионов не могут быть ответственны немногие. Ответственность всегда на большинстве, как бы оно ни плутовало с самим собой, связывая себя по рукам и по ногам идейно или по политическим структурам. Слушая всякие декларации новых поколений, я все вспоминаю не раз слышанный в молодости вопль: «Так твою мать! Я сам сейчас еще не знаю, что сделаю!» – это не вопль растерянности, а очень хитрое предупреждение: «Держите меня, я сам не могу справиться с настроением этой минуты, хотя знаю, что надо бы их одолеть, настроения эти!» Бывало и со мной такое состояние, но не часто.

* * *

Тому, как подобный король Лир короллирует в моем воображении, всему этому еще коррелирует ситуация середины 30-х гг. XX века.

* * *

Образовенция наша изрядно попользовалась всем с 18-ого года: несколькими волнами террора, заменившими условия экономической конкуренции состязаниями в компрометации всех, кого удастся. Образовенция попользовалась и теперь посматривает по сторонам: как бы умыть руки.

Когда-то устами матери она мне говорила: тебя бы не было, если бы не это все... А устами родственников отца: подумай, кем бы ты был, если бы не эта власть. Ответ может быть диалектичным, если держаться сослагательного наклонения: был бы совсем другим. Или меня совсем бы не было: какой же это я, если совсем другой? И разве это было бы для меня таким несчастьем? Перестать быть – это несчастье, но не бывать совсем – это что-то другое (в чем и было отказано Гамлету, каким он у Шекспира). В извительном же наклонении: я во всяком случае таков (я-то), чего никак не могли бы избобрести ни родители, ни гос. власть, и потому могу судить о них

свысока. Я не санкционировал никого ни на какие преступления против морали, когда меня не было, и не берусь ретроспективно отменять мораль ради тех, кто не был подлинным моим Творцом. Эмпирически я более всего обязан импульсам, исходящим из мировой культуры: все-таки они свели моего отца с матерью, и они же определили все, что составило формирование моей личности. А уж никак не советская школа и другие советские власти. И если нужно объяснять согласованность воздействий, создавших меня (и мне подобных), то надо представить себе Бога, и легче всего Он представляется Христом. И то, что было направлено на попытки охамить мир и захамить его, – это преступление против меня и сил, меня создавших, чтобы мне не перепало от мародеров.

Мировые силы, которые создают исключительность во взаимном интересе мужчины и женщины, систематически ускользают от внимания средств наблюдения и уличения, свойственных романистам, историкам и мемуаристам. Эти силы ведут призрачное (в глазах эмпирика) существование именно потому, что действуют, как стенка к стенке, под прямыми углами.

Реальности, столь оригинально-ортогонально пересекающиеся в нашей среде, были особенно трансцендентны друг другу в России. Нужны были особенные обстоятельства начала 1927-го года, чтобы стала возможна семья моих родителей. Для матери достаточно в детстве прочитанных романов, довольно заслушано внушений от взрослых – этой инерции протеста хватило и на то, чтобы развить активный критицизм ко всяческим внушениям молодежной и богемной среды. И вдруг встреча с человеком, который оказывается оригинальней поэтов и великих комбинаторов: он читает лекции об Эйнштейне (на относительность которого ссылаются все демагоги) и о Ньюtone, юбилей которого наступал в 27-ом году. Не считая популярных лекций по истории науки, этот человек еще начитан в английской классике, начиная с Шекспира так, что в мои четыре года (или пять лет – не позднее) он как-то на всю жизнь привил мне любовь к «Королю Лиру»: риторический образ лиры у Пушкина ставил мой слух в недоумение по поводу шекспировского героя. Я воображал себе в Древней Англии королевство Лир, –

в котором принцесса-лира Корделия смелей других противостоит ярости старого отца, похожего на соседа нашего, явного, в свою очередь, колдуна.

Когда мать много лет спустя выслушала уже шутливый пересказ моей начальной этой рецепции трагедии, она развеселилась и прочла мне в контаминированных отрывках на память «Принцессу Грёзу» Ростана и вызвала слезы на глазах – очень умилившую в ней чтицу-декламаторшу. Но тут мне было уже лет 12, и это другая глава книги, в которой я постигал разнообразие интерпретаций и рецептов одних и тех же событий с оче-видцами (и со-читателями одних и тех же книг и газет).

* * *

Писавший свои записки из подполья (Достоевский) был самоотчужденным человеком рессантимента: во всем ему не гордость мешала, а мелочность – в обидчивости, даже в чуткости.

Но придет России черный год, когда 10-летний мальчик скажет: я, кажется, успешно обучаюсь социальному самоотчуждению в качестве потомка врагов народа.

* * *

Люди, вводившие Отца морозным декабрьским (уральским!) днем, знали, что делают нечто абсурдное – и могут поплатиться за это; но менее всего они могут полагаться на свою совесть, не говоря уж о разумении, – в этом они уверены лучше, чем в чем бы то ни было.

Никто ни разу не извинился после. Ни один чин от самых почтенных до вовсе бесчиновных. В глазах человека низов я видел только (бывало) зависть: так твой отец погиб, прожив хорошей жизнью? Мой никогда такой красивой не видал! Так ты еще обижен, что твой отец не был убит (пусть не до смерти) в драке? Не умирал годы в гниении отбитых почек или легких? Не издох алкоголиком, нажив к себе ненависть окружающих, – до самых близких? До твоей? Уж не козыряешь ли ты перед нами своим сиротством? Не гордишься

ли, что наша власть именно так выделила тебя? Я антитезу Гамлету такую вам покажу в такой прирожденной сироте, каким был не Лев Гумилев, а Боря Бугаев и предки его в литературе.

*А вы слышали песни соловьев в Соловках?
Ну-ка, выстройся, плесень, с кайлами в руках!
Ты, очкастый, чего не внимателен?
Исключаешься ты из рабочей семьи
И катись ты с земли к Божьей Матери...
Потому что история любит прыжки,
Потому что безумный плясун на канате
Ненавидит миров пресловутую связь.
– Датский принц, вашу шапку и шляпу – копайте,
Ибо Дания ваша без боя сдалась...
(Ю. Айхенвальд)*

* * *

«О Пушкинском годе 1937» и слушанье с отцом «Медного всадника» –

*...Иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей... и т.д.
(А. Пушкин) –*

и позднее сопоставление этих строк с юношескими советами –

*наслаждайтесь –
сей легкой жизнью, друзья!
Ее ничтожность разумею...*

* * *

До 13 лет я мнил себя будущим капитаном-океанологом, но постепенно уяснил себе, что труднейшим делом Колумба, Магеллана и других до Кука и прочих были не навигационные работы, а поддержание дисциплины в экипаже. Насколько легче космонавтам,

но... В 1941-ом мой друг Коля Знамцов на скучном уроке химии спросил меня, кем я буду... и после уточнений: «Ну, на кого бы ты хотел быть похожим?» Я огляделся и указал на портрет Пушкина, почему-то висевший в этом классе... Пришлось возобновить сочинение стихов, брошенное полжизни тому назад, когда мне было лет пять. Потому что сам Коля пустился в сочинительство, со мною состязаясь. Так я засел за систематическое чтение П, Л и Ж, а также двух Ш – Шекспира и Шиллера.

Подражать вполне удавалось только Жуковскому.

* * *

С момента, как за экраном густейшего малинника, одичавшего в плотнодощатом углу сада, передо мной внезапно обнажилась маленькая Маня (впрочем, была же она на пару лет старше меня); с той поры исчезла для меня иллюзия тождества человеческих природ как иллюзия условности всех различий, якобы одеждой и случаем создаваемых. Иллюзия, что все уникальности принадлежат только физиогномике, и ничему больше. Но пока я здесь не пытаюсь передать словами то ошеломительное переживание новизны и свежести, какое дает эффект превращения женской фигуры (девичьего телосложения) в некое обобщение лица, его единение с физиогномикой. Весь мой дальнейший опыт в отношении человека (человеческого самопознания) за десятки лет так и продолжал сводиться к преодолению иллюзии, будто все индивидуальное или уникальное как-то локализуемо где-то, где-либо, на какой-то поверхности (на лице).

Так для меня впервые реализовалась оппозиция текста и подтекста как оппозиция лица и торса.

* * *

Люд усталый, но упорный в своем хождении из дома в дом, заслуживает особого глубокого понимания, которое до меня доходило отрывочно в позднейшие времена, – и я свое понимание нашего простого и бедного люда еще буду высказывать по другим поводам

и мотивам. А сейчас хочу только засвидетельствовать, что бегло очерченная сцена обыска и ареста беспартийного интеллигента на 20-ом году советской власти уже не содержала в себе ничего особенно патетического и гротескного. Гротеск начала этой истории был в эмоциональности, с какой чекисты работали: в злорадстве, которое одушевляло их при сведении счетов со старым обществом, и страхе о том, как будут счета сводить с ними, может быть, уже завтра. Теперь, как у Дюма – «Двадцать лет спустя», так что поколения сместились, давно уже не было ни задора, ни злорадства, ни страха, была лишь постылая озабоченность тем, что этой грязной работы оказалось так много, – как великий поэт, низовой чекист был вправе думать: «Я, ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный». Это кто был уже повыше, т.е. сделал карьеру на том же поприще, мог думать и знать больше и жить не в столь страшных заботах. Он должен был подозревать, что, кроме официальных классовых врагов, у него еще очень много врагов личных и целаясь они точнее. Но об этом они, следователи и судьи, возможно, не успели написать даже в протоколах своих собственных показаний, – и как сказал тот же великий поэт: «Что говорить о лирических кастратах?!» С лирическими кастратами большевизма, как Геростратом Эфесским, надо поступить просто: сдать в архив театрологии и криминалистики и забыть. А низовых чекистов жаль, ибо не нашлось среди них ни мемуариста, вроде палача Самсона, ни юмориста с цинизмом Рабле или де Сада, и все они упомянуты в летописях с маленькой буквы – анонимно.

* * *

С самого раннего детства у меня возникло широкое обобщение, что в среднем люди подслеповаты, глуховаты и к тому же трусоваты, чем и компенсируют все дефициты. Непосредственно это было основано на отслеживании равнодушия всех почти к вещам, меня особенно волновавшим, например к лунному свету, пантомимам пламени в печи, разнообразию пейзажей в наледи на оконном стекле – она так резко контрастировала с придурковатой координатной вязью кружев и тюля занавесок на тех же окнах. Боже,

насколько изящней просто декартовы координаты любого чертежа или графика (диаграммы), не говоря уж об их осложнениях в картах различных проекций. Отец понимал мою любовь к луне и огню и прихотливости разграничений воды и суши на картах, витийству, т.е. витиеватости речных излучин на ней же, – это были единственные барочные и рококошные формы, которых мы не отвергали за их неизобразительность, немиметичность.

В отличие от Скупого Рыцаря, слагавшего монеты уже в седьмой сундук, моя няня в своем сундучке держала вещи, что были много проще бумажных фантиков с их яркой эмблематикой. Она была похожа на няню Герцена, моя Арина Родионовна, могла рассказать и как шумел-пылал пожар московский, и как государь всем государством наехал на таких, как я: «Шапки долой. Государи России всю жизнь воспитывали люд; и тот, что рубил людям бороды, не был так лют, как тот, который следил за достаточной прямизной ног, вскидываемых на марше, – как потом будут отсчитывать: – Левой! Левой! Левой!»

* * *

Моя няня 65 лет назад клеивала внутренность своего сундука конфетными обертками (фантиками), как современные русские мыслители (вроде Ямпольского и Линницкого) цитатами из Деррида и Делёза, а иногда и пересказами их герменевтем; но это делается без дальновидения той очевидности, что, пока эти красоты будут оценены читателем, – все заимствования интеллектуального *haute couture* обветшают и станут тряпьем (*chiffon*), старьем и т.п. Ибо современные производства могут предложить нам что угодно, только не долговечные материалы.

* * *

Люди, вошедшие в наш дом одним морозным ранним утром начала декабря 1937 года, не были ни злы, ни страшны, ни даже озабочены, – не были.

Они были явно очень утомлены и печальны, как давно не выпи-

вавшие могильщики, – это тем отчетливей, что это были самые профессиональные могильщики, пожалуй, не одной буржуазии, а всему на свете. Это были «пролетарии всех стран, объединенные в щит и меч» своей партии. Кажется, здесь в то утро их было трое, да с ними был еще старик Седых, действительно седой сосед, хозяин соседнего дома в качестве понятого. Время превентивных погребений и светских мысленных (негласных) отходных было нелегким для наших ранних гостей. Уж очень много было работы, и совсем страшно было думать, когда, на какой стадии, Процесс достигнет насыщения. Работа у них была самой важной в тот год, и очень ответственной. Не то что у пучкистов-фашистов, весело обновлявших Италию при другой сценографии и режиссуре.

Время было вот-вот к моему выходу с отцом – ему на работу, мне в школу, узкой тропой между сугробов и через речку Челябинку с улицы Боровой мимо городка НКВД к Алому Полю и моей Первой Образцовой им. Энгельса. Дома было теперь очень уютно, и мы, увы, промедлили. Передо мной яйцо всмятку и мой игрушечный пистолет. Звонок в дверь, и вошли, как я назвал их себе, милиционеры. Смысл звонка в такую рань первым понял, наверно, отец. Мама еще оборонялась глупыми вопросами об ордере прокурора, затем ушла за домовой книгой и паспортами, а отец уже играл моим пистолетиком, подбрасывая его и ловя над столом, пока не раздалось нервное восклицание: «Бросьте игрушку!»

Мне никогда не дано было забыть эту драму на двух языках – пантомиму, обмен выразительными взглядами и одну-единственную реплику. Отец слыл человеком аполитичным. Никто не мог его представить себе в какой-либо партии. Жена передо мной, сыном, уличала отца в склонности высмеивать все, даже «Производство кирпича по методу Ильича», – воскликнул, мол, Симон Менделевич Динабург, проезжая в машине на субботник. Это он увидел, как ломами и кирками ломали стены церкви. Наверно, нужно было ее «остатки» погрузить в новую застройку. Но я никогда не видел, чтоб он оставлял без защиты свою собственную тещу-лютеранку, когда на ее святое позволяла себе наскоки собственная дочь, то есть моя мама. Я ничего не понимал по сути тогда в этих мировоз-

зренческих спорах, но видел, что одной-двумя фразами отец вводил «комсомолку» жену в слезы, которые мне всегда казались выражением бессильной злобы.

После одного восклицания «бросьте игрушку» разговоров не было на протяжении всего дня, посвященного перетряхиванию книг и хождению по двору и саду с попытками раскопок в сугробах. (Других вещей в доме было мало, да и работа физически тяжела). Кроме оружия, искать было нечего, – литература на четырех языках, – вывезти ее было почти невозможно, и она вся уцелела мне на счастье всей жизни. Отец, окруженный зоной надзора, весь день просидел посреди столовой. Молчаливая тема «все происходящее – нелепость» (а по маме – недоразумение, которое вот-вот разрешится разумно) обязывало и меня держаться «невозмутимо». Не отец ли сам внушал, что слезы – позор, ибо выдают неспособность контролировать чувства, подменяющие собой эффективные действия. По неспособности придумать эффективные действия я убежал все же плакать на кухню в угол за огромной (мне казалось) русской печью. Авось там никто не увидит, что я не верю в недоразумение, т.е. в его устранимость чьим-то разумием; т.е. что я просто впервые в жизни испугался за отца – испугался людей, а не людоедов.

Года за четыре до того отец, вернувшись из командировки в Ленинград, о чем-то рассказывал матери так, что я понял (притаившись между мебели) только фразу «А на Украине дело дошло до людоедства». Поскольку недавно я узнал о людоедстве из прочитанного мне кем-то Робинзона, я выскочил из своей засады с восторгом: «Ура, на нас людоеды идут!» – и отец с отвращением одернул меня без разбирательства: «А ты что, взбесился?» Может быть, дело не в книге Дефо, – мало ли что мне читали тогда.

Посидел отец так день на стуле до наступления темноты, и стали гости торопиться с отходом с ним к оврагу Челябинки, за которым застряла их машина. Я все помню очень хорошо. Через месяц мне исполнилось 10 лет, – после чего я стал строже сортировать впечатления на достойные запоминания и всякие остальные.

Как младший брат был блокирован, я уже не заметил, и как мне не дали проститься с отцом, я тоже не понял. Вероятно, меня постиг тот ступор, который я несколько раз наблюдал уже вполне сознательно в моменты общения с этими людьми, желавшими меня потом вызвать на эмоциональные реакции. Но в дальнейшем я и подавно отличал их от собственно людей; точнее, я не мог избавиться от впечатления, что имею дело со зловредными вещами, с которыми возможны любые действия, кроме аргументаций. Доказать что-либо существенное коммунисту нельзя: он диалектик и убеждает его только боль, а все остальное он имеет в виду лишь временно. То есть боль его не убеждает; он ее просто боится беспамятно. В остальном его память управляема. Отец ушел, покорившись настоянию жены надеть медвежью шубу. «Я могу задержаться, тебе с детьми потребуются деньги, надо будет продать!..» «Не смей так! Задержаться?» – прокричала она, и он пожал плечами: так вот чем думала она себя успокоить? Что ж, надолго ли хватит денег с шубы.

Единственный рассказ о дальнейших его шагах дошел до нас от соседа по камере внутренней тюрьмы; там пол был покрыт телами и отец растерялся на пороге: «Скажите, пожалуйста, где здесь повесить шубу?»

Эпиграф: «Бери, барин, шубу, / Да не было б шуму».

* * *

Все тот же страх повседневной бессмыслицы борьбы за выживание перешел у меня в гипнофобию, пронизывавшую всю дальнейшую жизнь. С 13 лет, убежденный в том, что жить осталось совсем немного (еще 13 и т.п.), я жил в сплошных усилиях урвать лишний час у сна, в постоянном переживании гипнофобических эпизодов «Гамлета», «Макбета», «Ричарда II» и «Бури», в припоминании о капитуляции гетевского Эгмонта в монологе о сне («Сладостный сон, приходишь ты...»), прочитанном впервые в феврале 1946-го, когда внутренняя тюрьма управления МГБ приучила меня бороться за сон, искать в нем укрытия от тревожного ожидания новых методов давления, которые вот-вот применит ко мне следствие, чего я имел

основания ожидать, – и от тех общений с сокамерниками, которые навязывались самым естественным образом.

* * *

Юность – это возраст, в котором над страхом смерти преобладает страх бессмысленной жизни, т.е. страх прожить свои годы (или десятилетия) так, как это наблюдается в судьбах почти всех, кого случается наблюдать в своей повседневности, в своем непосредственном окружении. Именно этот ужас повседневности определял до сих пор все мое поведение и все мои отношения с окружающими. Все самые добрые и честные люди воспринимались мной как призраки, стремящиеся утащить меня в свой абсурдный ад борьбы за совершенно бесцельное и почти безрадостное выживание; в то существование, в которое настоятельно навязывают Гамлету его разнообразные доброжелатели в первых двух актах трагедии – пока он не приводит их в панику в акте III подстроеным им спектаклем и убийством Полония.

Главной (или Высшей) ценностью среди ресурсов, которые ограничены для личности, следует считать, вероятно, внимание: чем больше оно отвлекается на угрозы (опасности), тем беднее оказывается личная жизнь (хотя этот личный ущерб и осознается как жертва коллективным, соборным, тоталитарным интересам). И главная агрессия в отношении личности – это посягательство на свободу внимания (которую мы и подразумеваем, когда говорим о свободе личности).

* * *

Живет еще, и после меня будет еще жить старушка Люция Ж., – мать ее, наша учительница в четвертом классе, выказала дерзкую фантазию в имени дочки, которую мы любили всем классом. Мы, русские мальчики, любили ее совсем асексуальной любовью, т.е. если и возникали у нас позывы к оскорблению действием, то оно и сводилось к невинному дерганью девочки за волосы, за косы. Бегала Люция в короткой юбке, и, кажется, только я засматривался

на ейные ляжки, а прочие только дразнили. Она была бойкой девочкой, и за ней гонялись с криком «Люция! – Куцая», – и тотчас же поправлял кто-то: «Революция! Проституция! Конституция!» – продолжали мы «склонять» эту парадигму, – за два года перед этим озарила нас эта Сталинская Конституция, бухаринский подарочек вождю.

Ко всем порядкам, к обществу в широком смысле у нас отношения были как к этой конституции, рифмуемой с проституцией, но и не только с ней.

* * *

К 10 годам от роду я был уже четко обучен тому, что население страны (государство) делится антагонистично на народ и меньшинства, состоящие из врагов народа. А поскольку народ един (и тем непобедим), а враждебные ему меньшинства многообразны, то в сумме большинство населения принадлежит, пожалуй, не народу, а его врагам. Но врагов уничтожают по меньшей мере везде, где они не сдаются, а пожалуй, вся жизнь здесь – только замедленное их (врагов) истребление. И я с гордостью сознаю, что принял добровольно сторону врагов, не причисляя себя ни к каким меньшинствам в особенности, – под звучные реплики Николки-юродивого: «Нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит» (а хошь – вели резать мальчишек за краденую копейку, раз велел зарезать маленького царевича). А еще не менее звучно раздавалось со сцены лермонтовское:

*Я докажу, что в нашем поколенье
Есть хоть одна душа, в которой оскорбленье,
Запав, приносит плод...*

Все эти эмоциональные импульсы, точнее тензоры, закручивались о позицию Гамлета и резюмировались словами Вольтера: «Раздавите гадину!»

*Я давно уже по мертвым не плачу.
Я не знаю, кто живой, а кто мертвый...*
(А. Галич)

Кто это правит в Эльсиноре? Только якобы упоминаемому королю-отцу удается режиссировать, только его сыну Гамлету дано импровизировать, остальные манипулируют друг другом и не способны выстроить по-своему ни одной мизансцены.

* * *

Я помню себя еще с тех самых пор, когда не столько Индия, но невесть какой Ирак на карте был густо-зеленым в качестве части британской империи, а бледно-зелеными были только очень удаленные от них земли совершенно иной юрисдикции. А позднее вдруг появились карты, на которых бледно-коричневым цветом была обозначена часть более не упоминаемой Польши, переименованной в «Область государственных интересов Германии». Это у нас слово Польша оказалось в области нецензурных выражений матерных или бестактных. Говорят, все наши предки виновны в убийстве семьи Николая II, – хотя бы ответственные преступным бездействием? А больше во всем позднейшем они безвинны? Ни в чем другом не были соучастниками?

* * *

Тогда (в детстве) я, естественно, постоянно пытался, что называется, «поделиться» своими эстетическими переживаниями (по поводу экзистенциала свежести), то есть порывался обратить внимание на особенно волновавшие меня зрелища или музыкальные темы в звучащих, звучных событиях жизни. Но, кажется, только у отца или бабушки и, наверно, няни Александры Ивановны я находил внимательные отклики на свои восторги и их экзальтированные проявления. Остальные взрослые скорее одергивали меня с укорам по поводу моей болтливости.

Тогда я уже научился стыдиться всякой экзальтации, не только своей, но и чужой. Способом преодоления конфликтов между эстети-

ческой восторженностью и самокритичной стыдливостью стала для меня пугавшая моих близких манера разговаривать вслух с самим собой наедине. Тогда же, получив от взрослых разъяснения насчет смерти, ее неизбежности для каждого, тогда же я стал переживать тревогу не за себя, а за весь мир, этот прекрасный мир, в котором больше всего меня восхищали снег и зимняя луна с холоднорадужными кольцами вокруг нее. Я отчаянно жалел их за то, что после моей смерти (как мне казалось) совсем некому будет радоваться им, потому что вокруг никто кроме меня (как виделось это мне) не переживает моих праздничных чувств от яркого заката или таинственного выражения лунного диска, от его переменчивости, от веселого и часто озорного поведения снега.

Только через литературу я начал постепенно уяснять себе, что мой эстетизм – совсем не такое уж уникальное мое свойство, хотя, похоже, оно у меня и какое-то особенное.

Сначала мне это познание дала огромная книга Жюль Верна – «Завоевание Земли» – так, кажется, она называлась в дореволюционном еще переводе, – история географических открытий, богато иллюстрированная мне на радость. А затем это познание было намного углублено поэтами, особенно чтением Пушкина, Шекспира и Блока. На позднее еще открытого Пастернака я смотрел уже в свою очередь свысока, как на поэта сугубой ребячливости, видящего тот же мир на мой лад, но, подобно мне неспособного это виденье представить достаточно полно и подробно, как и у меня, у него высказывались всего лишь яркие, не главные детали – о том,

*...кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку
Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста... и т.д.*

Из чувства благодарности к Тому, кто совершенно чужд унынию Экклезиаста, – именно из этой благодарности во мне возникли первые мои религиозные чувства, в частности мое особое предпо-

чтение к книге Иова (если говорить о Ветхом завете)... А что до Пастернака, то очень долго мне думалось, что просто «...ронять слова, / Как сад – янтарь и cedру, / Рассеянно и щедро» – это еще не само чудо, а даже и не достойно сравнения с чудесами в зрительном поле поэта, а если и соотносимо, то с чудесами языка и его соответствий, до которых Пастернак касался небрежно, – а ведь и замечал же он «перегородок тонкоробость и занимательность того, как образ входит в образ и как предмет сечет предмет».

Постепенно приручать к Пастернаку меня стал А.И. Калабухов, но об этом после, в главе третьей. Прямой антитезой был случай открытия Мандельштама, сразу принятый мной так, что даже Блок стал казаться поверхностным, а порой и пошловатым поэтом-музыкантом.

По моему убеждению, религиозное чувство глубоко, только когда начинается с чувства благодарности за красоту Мира Божьего, – с чувства софийного по Иисусу Сирину («Но все в себя вмещает человек, / Который любит мир и верит в Бога», Н.С. Гумилев) – только тогда эта религиозность христианская, а не проникнутая паникой, боязнью перед всеми высшими или сверхчеловеческими и низшими силами.

Но от поэтической теодицеи и расхождения моего с Иваном Карамазовым в принятии не только Бога, но и Мира Божия, предстоит здесь перейти к моему существованию в качестве «книжного мальчика», как говорили обо мне тогда в моем «Отрочестве».

* * *

Раз в густых зарослях малины я устроился дочитывать «Маугли» в отлично иллюстрированном широкоформатном издании, а моя спутница увековечила в памяти моей этот день самой яркой выходкой. Заметив внимание к рисункам голого Маугли, она вдруг спросила: «Хочешь покажу?» – и в ответ на мой вопросительный взгляд («кого-что?») начала свой стриптиз, как теперь это называется. Когда она дошла до предела в самообнажении, так что осталось только менять позы, – я испытал ошеломление беспри-

мерное: девочек в такой последней правде откровенности и вообразить себе не мог. Все впечатления Эрмитажа и балета я интерпретировал как эффекты телесного цвета трико. И никакие даже позднейшие впечатления секса не были для меня свежее в смысле фольклорного двустушия – хокку:

*Шел я лесом-камышом,
Видел девок нагишом.*

Все мы в детстве живем в камышовых лесах среди неказисто гористой мебелировки жизни, которой нас, как боги, ведут наши Взрослые (родители, тети-бабуси и няни).

Состоявшееся так внезапно наше перенесение в статус Дафниса и Хлои, разумеется, получило пошлое развитие с вмешательством Взрослых. И я оказался счастливей прустовского Марселя, всю жизнь сгоравшего ревнивым любопытством к лесбийским нежностям и ласкам, память о которых лишь отчасти затерта лощеными телами ее наследниц, хлоистых и хвоистых моих подруг, упругих-супругих подруг, которым, кажется, всего было достаточно для счастья, кроме, вроде бы, одного – способности довольствоваться защемлением в себе одной-единственной добычи – верности принципу «с милым рай в шалаше».

* * *

На старости я сызнава живу, и прошлое делается вдруг понятней и свежее. Простонародная среда уральских няnek в Ленинграде моими родичами воспринималась несколько высокомерно, т.е. без должного юмора, – и я с детства приучался в Питере стыдиться своих уральских впечатлений. Из года в год я приучался в Ленинграде помалкивать о «снежной и звездной» либо пыльной глубинке (передразнивая меня, в Москве и Ленинграде приучали помнить эту риторику первых лет моей жизни). Зато в Челябине няни, и дети, и гости родителей слушали разинув рты – мои рассказы о городе гористом-саклистом Ленинграде, и о том, что в Москве ничего хорошего, кроме метро, построенного почему-то под землей «музея изумлений», выводящих из ума. – Как? – спрашивали гости,

ухмыляясь. – Вот так, – отвечал я, извлекая книгу «Подземелья Ватикана» (роман А. Жида), – подземелья Ватикана начинаются в Москве под Кремлем. – А что такое Кремль? – А это Ватикан у нас в России... – А Ватикан – что это? – переспрашивали, хихикая. – А это Кремль, в котором на другом конце метро засели Папы Римские с фашистами. – А твой папа? – Мой – только мой, не римский, не московский, даже не в Ленинграде. – А с кем же он засел? – А с коммунистами. – А сам он не коммунист? – Не-е-ет, с коммунистами мама: она с ним до слез спорит, но переубедить не получается. У него все какие-то шутки: – «Съезд ударников, – говорит он, – как съехался, так и разъехался: не солоно хлебавши». А зачем – солоно, когда надо просто вкусно? Я и сладкого не люблю...

Мне эти мои интервью для взрослых часто потом припоминала бабушка, а я, согласно позднему опыту, корчился внутренне от догадки, не использованы ли были мои откровения для уличения отца в вольнодумстве? И не думал ли отец в последние 20 дней своей жизни именно об этом, – потому что, как выяснилось, расстреляли его ровно через 20 дней после ареста, – вот как быстро могла работать наша красноповая юстиция середины века. Эпитет для нее я нашел у Киплинга: поглядев на юстицию эту справедливую, я вспомнил, как Маугли резал красных собак без разбора. А юстиция имеет у нас отношение к справедливости, потому что через 19 лет отца реабилитировали, как меня – через 17: ретардации или гистерезисы в большевистских мозгах таковы: шаг вперед очень быстро, два шага назад очень медленно, как учил гад Ильич, еще не ставший у нас государственной эмблемой – труп-атрибутом. Много припоминали «Россию во мгле» Г. Уэллса, – совсем забыв его «Когда спящий проснется» на ту же тему!

Несчастье господ-товарищей было сначала не в глупости, а в невоспитанности, т.е., в частности, в беззастенчивости-бесцеремонности, т.е. как бы в необмытости после родов.

И все же 70 и 60 лет тому назад образ страны еще не был так страшен себе самому – ибо вырождение не достигло еще такой мас-

совости и стабильности в процессах регрессивного (редуктивно-революционного) отбора. Редуктивная селекция еще не предвещала выразительности нашей всенародно-бранной демонологии с ее inferнальной экспрессией физических лиц без признаков следов какой-нибудь психики. Тогда, 70 лет назад, внутри страны уже крушили воспитание, т.е. культуру, поэты стрелялись и расстреливались-вешались и тешились переводами с чужих (красивых тоже) языков, а у нас могли еще издавать даже эмигранта Бунина, автора «Окаянных дней». Я с двух лет от роду приобщался к эмиграции через бунинский перевод «Гайаваты». Над колыбелью – «Гайавату», а потом и Робинзона: меня начитывали до чертиков. Образ Пятницы, которого вот-вот будут коптить на костре для съедения (как бы колбаской), а не в умозрительных целях, как Жанну д'Арк или Бруно, – этот образ тогда витал над моим самомнением героя-спасителя Маугли-Кука-Гайаваты-Робинзона и т.д. «Ура, людоеды!» Отец впервые не улыбнулся, а отчеканил: «Вот еще и Чока – идиот (Чоккой он подтрунивал над тем, что я прихватывал тогда чисто заволжское «чо» вместо «што»)».

Года через четыре образ Пятницы-Параскевы (впрочем, Маши) явился в нашем доме в виде дочки одной из нянь. Я всячески опекал эту девочку, на мой взгляд обижаемую уже тем, что ее мать вызывала ее криком «Манька!» Здесь начало истории моих «Пятниц», о которых мама острела: «У тебя семь Пятниц на неделе. И с чего ты взял, что вокруг каннибалы, которые только и знают, что девочек едят?»

* * *

Отец: «Говоря о женщинах, мой семилетний сын превращается в маленького Мефистофеля. Но это только они сами виноваты, «Фауста» он еще не слышал».

* * *

Конечно, жизнью я был приглашаем на роль не Гамлета, а Тили

Уленшпигеля, но, к сожалению, мы разминулись, я впал в шекспиризм гораздо раньше, чем смог познакомиться с Ш. де Костером.

* * *

(Я – В. Павловскому)

Дорогой Владик, после вчерашнего дождя у меня опять простуда и возможность написать Вам впрок сразу несколько писем. Я уж не сержусь на то, что Вы отвечаете редко: лучше Вы сердитесь на себя. Если Вы время свое используете лучше, чем мы, писемописатели, то все в порядке. Я говорю о том, что можно знать, о том, как ценишь свое время в среднем, оценивая себя самого среднестатистически. Об отдельных минутах и даже часах нельзя никогда почти сказать точно, правильно ли их провел. Иногда пустейший разговор или мельчайшее наблюдение приводит к очень важным результатам. А в других случаях стоишь перед чем-то прославленным и не испытываешь никакого восторга.

Хотел писать не о Пушкине и Москве, а о замечательном начале Вашего письма про Мезень. Казалось бы, ничего особенного, но оно вызвало у меня воспоминание очень живое о моем детстве. Более 50 лет тому назад и не на краю света, а просто по всем глубинкам России жили-были такие города, и я босиком бегал по проезжим частям улиц, где пыль лежала пушистыми браздами, много пушистее, чем снег в стихах Пушкина. Очень она была приятна пяткам, а еще мальчиком нравилось думать-пылить этим мягчайшим дорожным покрытием, почти не знавшим автомобилей.

Я был сам точь-в-точь как тот дворовый мальчик, который «в сазки жучку посадив, / Себя в коня преобразив...» Но если не в жучку и в коня, то все же в полярников (еще до челюскинцев и т.п.) мы преображались, не говоря уж о колумбах и пиратах, об индейцах и рыцарях. Вскоре появились два советских фильма – о парусниках скорее, чем о людях. Люди там мелькали, малопонятно переодеваясь, и то и дело стреляли очень дымным порохом, от клубов дыма чуть не лопались вспученные паруса. «Дети капитана Гранта» и «Остров сокровищ». И вслед за ними «Петр

Первый» – тоже с клубами дыма к небесам, подобно белым парусам. Только лет через 15, в 1956, мне представился такой же, как сейчас (еще через 35 лет) случай вспомнить эти идиллические времена: тогда появилась песня геологов, рождался жанр бардов – со словами:

*А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы.*

Эти скрипучие мостовые я еще помнил, и в них вспоминалось лучшее, что тогда встречалось в стариках. Старики были еще благообразны, очень часто красивы, чего сейчас почти не встретишь. Я, кажется, знал автора этой песни, она музыкально интересней была, чем текст. Но городов таких не было больше на моих дорогах. Такие маленькие, как Мезень, мне редко встречались вообще. Мезень – типичный тупик, за которым и русский человек соглашался жить только ради нужд науки.

* * *

Пушкин должен быть в каждом из нас – свой, личный, как это хорошо продемонстрировала Марина Ивановна Цветаева, как по своему воспринимаю я Пушкина с самого своего детства, с выслушивания с колыбели «Руслана и Людмилы». И в 37 году переживание пушкинского юбилея, когда по радио в чьем-то чтении до меня донеслись строки, меня, 9-летнего, потрясшие:

*...иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?*

У меня на глазах, видимо, выступили слезы. А сидевший рядом отец наклонился к моему лицу и сказал: «Кажется, пора заняться не только геометрией, но и философией». В таком контексте в мою жизнь вошли слова «Пушкин» и «философия».

В конце того же года, в декабре, в начале декабря, когда к нам вошли, как я подумал, милиционеры – угрюмые усталые дяди, чтобы

увести к вечеру из дому отца навсегда, в мою жизнь врезались слова стихотворения «Анчар» в их сугубо переносном значении:

*В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар...*

Вокруг стоял декабрь, глубокие снега лежали за окнами вокруг, и никаких, казалось бы, не должно было быть ассоциаций с пустыней, где растет анчар как грозный часовой, – один во всей вселенной и –

*Природа жаждущих степеней
Его в день гнева породила... –*

и так далее. И вот теперь я позже понял глубокую симметрию условий в пустыне жаркой и скупой и пустыне обжигающего мороза и того же нестерпимого мира, мира нестерпимых для жизни условий. Условий, где жизнь может быть по-настоящему только у человека, но

*...к нему и птица не летит,
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набежит...*

И вот таким «вихрем черным» для меня обрисовалась история XX века. На всю мою жизнь, разумеется. «Черный вихрь», летящий к древу смерти и дальше летящий уже тлетворным. Я, униженный своим детским бессилием в канун своего десятого дня рождения, внутренне как бы клялся, что «ужо! я с ними разделаюсь, посчитаюсь, когда подрасту» – осталось еще немного, оставалось еще около восьми лет.

«Огненным грибом» называли полвека тому назад первые силуэты атомного взрыва. Я бы представил его себе скорее чем-то вроде силуэта баобаба в саванне, в нашей снежной саванне. И никаких монументальных гигантских растений – у нас растут огненные – или, вернее, морозные, обжигающие силуэты подобных социальных

взрывов, взрывов психологических потрясений, безумий – и анчаром для меня представилась на всю жизнь идеологизированная психопатия нацизма – вообще всякого социализма. Социализма, перерастающего в нацизм или в коммунизм: какая, в конце концов, разница? Подобным же образом сейчас как го- и барельеф, горельеф и барельеф соответствуют симметрично друг другу. Исламское безумие пустынь жарких и скупых, зноем раскаленных, и пустынь нашего российского неистовства, переходящего из алых цветов в темно-коричневые.

* * *

Главное издевательство мной, видимо, было усмотрено в том, что поверх всего было написано: «Сын за отца не отвечает». Я принял на себя ответственность как майорат; это-то главное наследие, от которого не захотел отступить в безотцовщину – на соблазн безответственности.

* * *

Детство – это неизбежная идиллия. Потому что для ребенка равно волнующими оказываются впечатления смены погоды и лакомства, и элементарно житейские перемены, как переезды из дома в дом; от прогулок по лесам и паркам детство остается идиллией, какими бы драмами ни надламывалась эта идиллическая пора. Пусть это мое отступление к перечню тем, представляемых или игнорируемых вопреки моим сентиментальным связям, игнорируемым здесь за простым их перечислением, пусть это лирическое отступление будет принято читателями за мое извинение перед ними в том, что я не всегда вразумительно рассказываю о целых десятилетиях, не сохраняя топологическое единство рассказа о самом себе, то есть единство повествования без разрывов и склеиваний. Жизнь моя в этом рассказе будет выглядеть лоскутно и будет представляться неким коллажем мотивов: глубоко личных, научных, и среди моих научных интересов, разумеется, не поэзия своего времени была в фокусе, меня прежде всего всегда занимала зависимость человеческой жизни, человеческого поведения и мотивации этого

поведения, их зависимость от власти языка и понимание этой зависимости, особенно у нас в России – это мне, по крайней мере, доступнее раскрывает и узы истории; власть того суда, который история вершит не над отдельными людьми, а над человеческими массами, над народами, сословиями и классами.

* * *

С милостивого дозволения читателя я хочу напомнить о тех далеких временах, когда любой школьник мог заметить из своих учебников, что мы – одна из самых обширных стран мира и уж потому наша страна – одна из самых защищенных от внешней агрессии, одна из самых богатых и мощных. Хотя бы потому, что территория страны – это масштаб ее ресурсов, ее богатств. Молниеносный разгром Франции в мае 1940 г. нам, школьникам, был вполне понятен: Франция плохо готовилась к войне, в отличие от нашего государства. Что она, наша великая держава, всеми силами готовилась к этой очевидной неизбежной войне, об этом мы знали не только из разговоров, но даже из песен, звучавших каждый день вокруг, к военному столкновению со всем капиталистическим окружением. Ее об этой перспективе настоятельно предупреждал ленинизм (не только сам Ленин, но и вся партия). Представьте же, какое недоумение вызвала в нас, школьниках, быстрота движения нашей армии к Москве и Дону в лето и осень 1941 г. Все тогда было для нас не только горем, но и захватывающей загадкой, которую никто не смел обсуждать вслух, хотя без решения этой загадки не на что было надеяться. Будущее становилось не менее загадочным: куда еще сумеют прорваться фашисты? Мы, школьники 1941 года, уже много знали о делах фашистов в их собственной Германии. Но, в отличие от читанных нами книг, газеты в 1940 г. не без злорадства описывали поражения противников Гитлера. Нам, школьникам, не требовалось фактов фашистских злодеяний на русской земле. Мы достаточно знали, что они натворили у себя «дома». Ход военных событий не становился понятней, хотя и радовал нас затем в 1943 г., когда мне было 15 лет: осталось загадочным, почему наша армия не смогла решить свои главные задачи сразу, до того как понесла

такие страшные потери. На ошибках учатся? Да, и это может понять любой школьник. Но что это за методика: учиться только у врага, а не своим собственным умом? Игнорировать эти странности можно было бы только, потеряв всякое уважение к себе, признав превосходство врага во всем. К такому «смирению» мы никак не были подготовлены. Объяснение унижительному для нас ходу войны в 1941 и 1942 гг. мы могли искать только в обстоятельствах предвоенных. Тут первой очевидностью была скандальность аннексий, которые прошли у нас в 1939–1940 гг. по всем западным границам при явном попустительстве гитлеровского правительства – на всем протяжении от моря до моря, от Мурманска и до Дуная. Огромные территории правительство принимало в подарок от Гитлера за счет Польши, Румынии, Финляндии. В 1941 году эти территории были потеряны в считанные дни. Но гораздо понятнее были морально психологические последствия «чистки» страны, кульминировавшей в 1937 г., характер которой так наивно пытался представить недавно Никита Михалков в своем фильме «Утомленные солнцем» (мы жили под «солнцем сталинской конституции» – так говорили тогда всюду у нас). Состояние человека, идущего по волнистому льду, поскользываясь на каждом шагу, натываясь на совершенно невразумительные препятствия, переживалось тогда каждым человеком, не лишенным чувства ответственности и равновесия. Вот та обстановка заколдованного пространства, та обстановка, утвердившаяся для всей страны. Даже Остап Бендер, чьи поклонники и последователи унаследовали все в последние годы, даже сам Остап Бендер растерялся, если бы его произвели тогда в генералы на место только что расстрелянных знаменитых маршалов, назначили его, в шутку заявлявшего: «Самозванцев нам не надо, командовать парадом буду я!»

С этой растерянностью новые герои нашего времени обречены были в 1941 г. брать на себя всю ответственность за солдат и за целые армии, принимая решения в течение нескольких дней или даже часов в темпоритамах, которых не знали никакие войны, даже во Франции, которая в 1792–1794 гг. столь же бойко разделялась со своими генералами и врагами народа вообще. Клеймо «врага

народа» грозило тогда всем. Не было никому иммунитета от этой чумы-проказы, – разве что вора́м-рецидивистам.

* * *

С любезного разрешения публики вам наденут красный цилиндр.
(В. Набоков, «Приглашение на казнь»)

В марте 1945 г. в 10 классе 1-ой школы им. Энгельса в г. Челябинске из трех друзей составилась дискуссионный кружок, который еще через полгода дорос до малосенького дискуссионного клуба, вследствие вовлечения в него двух девушек. Некоторые общие наблюдения наши и простейшие выводы из этих наблюдений представились нам чрезвычайно важными в своей очевидности. Жить с открывшимися нашему вниманию проблемами в полной изоляции, не обращая ничьего внимания к очевидным опасностям для всей страны – такая перспектива представлялась нам не то что нечестной, но и подлой. Чем бы ни грозило нам выражение нашего образа мыслей, мы считали нашим долгом выразить этот образ мыслей как можно яснее к сведению всех серьезных людей (по тогдашней стилистике – идейных, еще точнее – коммунистически идейных). Читая тогда книги по истории философии, я связал наш личный долг (высказаться) с идеей кантовского категорического императива. Позднее я упомяну человека, который, кажется, нас вполне понял.

Дело, по нашему общему мнению, состояло в том, что, раз во время страшной войны нам дали возможность получить уже среднее образование, мы должны отблагодарить наше общество достаточно мужественным действием, даже если при этом рискуем быть несправедливо понятыми и о нас подумают, что мы – наглые честолюбцы (самозванцы) и просто добиваемся к себе внимания.

Раз мы не успели родиться вовремя и попасть на фронт, мы должны на пользу обществу привлечь внимание к тому, что очевидно даже школьникам, но от чего внимание людей постарше было, по видимому, отвлечено насущными заботами последних лет – подго-

товкой к войне, а затем и ведением войны в условиях, оказавшихся более тяжелыми, чем можно было вообразить.

Первая из очевидностей, которую мы хотели поставить в центр внимания людей, стоявших у власти, была даже не в том, что условия жизни в стране для большинства населения становились убийственны. Нет, мы знали, что очень многие у нас люди жизнью своих не щадят совершенно сознательно; следовало задуматься над тем. Как долго могут выдерживать голодания и привычные уже страхи не тысячи героев, а почти все, то есть миллионы средних людей? Требовать героической жизни от миллионов в течение многих лет – это безумие, чтобы не сказать – преступление. Для масс слишком длительное перенапряжение разрушительно для психики. Дальнейшее перенапряжение общественной воли приведет к массовому сумасшествию, или, как теперь бы сказали, к криминализации. Тогда у меня в ходу в этом смысле было слово «коррупция», – оно жило давно в русском языке в более широком смысле, чем в современной практике думской адвокатуры современной (идейной по своему) уголовщины.

* * *

Я четко запомнил два эпизода, переключивших мое детское внимание с математики и географии на философию. Слушая со мной радиочтение «Медного Всадника» (шел пушкинский юбилей), отец заметил слезы на моих глазах в ответ на строки:

...иль вся наша

И жизнь ничто, как сон пустой,

Насмешка неба над землей.

Отец, кажется, умилился и пробормотал: «Ну, Чока, кажется, нам от геометрии пора перейти к философии». Я, в свою очередь, расстроган был уважением отца к моим чувствам. Чоккой он называл меня в насмешку над моей восприимчивостью к народной речи. «Чо» вместо «что» в Ленинграде не говорили.

Второй раз о философии со мной заговорила мать: она жгла в печи

книги, а я протестовал. Смысл дела был двойствен: (1) нуждались в топливе, (2) «Эти книги полны той самой философией, которая погубила твоего папку». Я помню даже, что защищать я пытался ярко иллюстрированный том Э. Реклю «Земля и люди». Это только фашисты жгут книги, – и получил разъяснение: что нельзя фашистам, то можно нам. Впрочем, к тому времени отношения с фашистской Германией были отрегулированы (к зиме 1940 года).

С позволения читателя, я буду продолжать переходить в своих признаниях от единичного к общему (и обратно), не признавая мало важным ничего из того, что не забывается уже 60 лет. Только у коммунистов хилая и короткая память. Мне нужно быть откровенным, чтобы никого не удивлять. В частности, советскому человеку трудно поверить, что дети могут думать о чем-то, кроме забав и лакомств. Хотя досоветские дети могли находить больше радости в исполнении долга и сознавали, кому и в чем они задолжали. Даже Л.Н. Толстой, недолюбливая умников, своего Илюшу Иртеньева изобразил философствующим мальчиком.

Сейчас я на 60 лет старше, то есть рассказываю не о себе, а как бы о своем предке. Я только наследник того, что могу передать перед смертью читателю. Мелко и случайно то, что происходит у нас сейчас, потому что серьезную опасность «Мы» представляем только себе самим: мир вырос, а «Мы» измельчали в своих несчастьях.

* * *

– Так зачем или за что с нами так жестоко расправилось государство?
– За невоздержанность чувства юмора в твоём отце.

Вот пример: едем на субботник – с нами множество его сотрудников. И вдруг видим – ломают стены церквушки, долбят ломиками, – и твой отец громко отчеканивает: «Производство кирпича по методу Ильича».

Его юмором всюду восхищались, а он потерял чувство меры... как раз к 37 годам от роду? А раньше его могли терпеть? И терпели... А что случилось в последние годы, что власть стала опять так сер-

дита? Обострение классовой борьбы? Лет через 15 после победы в Гражданской войне... Так чем же так опасен был юмор отца, всегда такой добрый и снисходительный?

* * *

Процедуры арестов оказались очень разнообразными. Начало моей политической драмы выглядело очень буднично, хотя и безобразно. Уже несколько месяцев взрослые вполголоса говорили что-то об арестах: такого-то из знакомых «взяли».

Темным декабрьским утром в наш дом вошли угрюмые «милиционеры» – и все вокруг замерло. Мы сидели за завтраком. Стол зачем-то от отца отодвинули, и в течение всего дня отец, такой всеми любимый, авторитетный и всегда веселый, просидел весь день молча в полной изоляции. Никто к нему не решался подходить. И между собой никто не переговаривался. «Милиционеры» тоже. Они выглядели людьми очень усталыми и скучающими. Было очевидно, что они заняты исподволь делом, им совершенно неинтересным и давно надоевшим. Они заняты работой проклятой: они перебирали вещи, попадавшие им на глаза, и в основном перебирали книги, ничего не читая, а только перетряхивая, как бы в надежде, что из книг выпадет что-то более значительное, чем книжные странички. Это был обыск. Разумеется, простукивали стены и вообще все поверхности (пол, потолок, мебель). Искали предполагаемые тайники, даже перекапывая снег в садике, примыкавшем к дому. Все это явно вслепую и без малейшего стремления обидеть или испугать. По их представлениям в доме они производили нечто совсем нормальное, обыденное, хотя и неприглядное для обитателей, как, может быть, капитальный ремонт, тоже причиняющий неудобства всем жильцам. Они, работники органов, сами ни в чем не виноваты, делая свое дело. Они переворачивают людям всю жизнь, они ее выворачивают наизнанку; но не они придумали, что «так надо», и не они выбрали, с кем именно надо проделать эту процедуру, хирургическую операцию с летальным исходом для многих. Этот исход смертелен хотя бы потому, что во мне, например, произошло в тот день полное перерождение. От прошлого осталась только па-

мять, необычайно обострившая внимание ко всему, что дальше будет происходить, и к тому, о чем я слышал в последние пару лет случайно и незаинтересованно (до этого дня). Не то чтобы кончилось детство – свежесть и наивность не утратились, как при взрослении, но доверчивость к близким исчезла.

То, что близкие не попытались защитить отца, столь уважаемого всеми; то, что усилия матери как-то за него заступиться, хлопотать где-то в прокуратуре были тщетны и т.п.; то, что взрослые трусили и боялись разговаривать на такие темы, чтобы не расстраивать себя понапрасну, уничтожило во мне мое уважение к моим близким, а тем более – уничтожило уважение к власти. Остерегаться ее внимания чрезвычайно важно, но уважать ее невозможно, даже если она и делает что-то полезное, по ее собственному разумению.

Возможно, она мучит и тех, кто этого заслуживает. Может быть, отец Павлика Морозова был плохой человек. Наверно, и семья у него была плохая, раз родной сын его осудил в чем-то и предал. Но что думать о нашем обществе в целом, если оно так волнует себя такой семейной драмой, как если бы предательства стали нормами жизни. Отец-Морозов предает интересы государства, а его сын Павлик предает отца, – потому что в семье все друг друга судят и приговаривают. И общество приговаривает: «так и надо», это и есть наша жизнь. Предательства высших руководителей по отношению друг к другу, предательство сына к отцу.

Я не был судьей своим родным: они рядовые граждане, беспартийные; и если они трусят, то значит, они лучше меня знают, с чем имеют дело, и берегут себя ради чего-то, допустим ради своих детей.

Но если при этом даже братья отца помнят о нем не хотят (а ведь мертвых вспоминают? Значит, с отцом случилось что-то страшнее смерти?), – если так, то поступлю по-своему. И нет для мужчины ничего важнее, чем преодоление власти страха, царящего в его окружении. Преодоление власти террора, хотя бы он при-

нимал латентные формы, стало самой устойчивой идеей в моей жизни.

Едва ли не поэтому мой собственный арест прошел по совсем другому сценарию. Я был очень беззаботен и доволен собой, дописав свой проект «Манифеста». Я никак не ожидал, что так быстро и кратко и ясно мне удастся изложить столько сложных мыслей, — и, хорошо выспавшись, в самом бодром настроении вышел на улицу, где кто-то неожиданно окликнул меня. Я оглянулся и увидел у обочины странноватую машину с приоткрытой дверцей. «Садитесь, мы Вас подвезем». Я не смог узнать этого доброго человека, а потому, чтобы не обидеть, поступил как ни в чем не бывало: сел и сказал спасибо. Мы ехали молча, и я вглядывался в лица, а они — в мое лицо. Возле института я сказал: «Спасибо, мне как раз сюда». — «Нет, в управление КГБ» (кажется, так?). — «Не может быть». — «А за кого Вы нас принимаете?» — «За шутников. Или вы похитители? Но ведь они только в Америке? И кому какая польза — похищать меня? На какой выкуп можно рассчитывать в этом kidnaping'е?»

* * *

По просьбе моего школьного друга Юры Ченчика к 1 декабря 1945 г. я направил ему проект «Манифеста» — документа, написанного мной наскоро (за полтора дня) от лица молодежи, пережившей войну и фактически непричастной к тому, как строилось государство и как это государство было управляемо. Молодежь рассматривалась как та часть общества, которая не ответственна за ошибки старших поколений, — для нас очевидные по меньшей мере в свете тех несчастий и жертв, которые принесло стране ведение войны в условиях, сложившихся за 20 лет по окончании Гражданской войны (то есть с 1921 года). Предполагалось неперспективным ожидать, что ответственные за собственные неудачи и просчеты старшие поколения и сами власти смогут отнестись достаточно самокритично к своему историческому творчеству. Казалось даже бесчеловечным требовать такой массовой самокритичности, ибо у каждого поколения неизбежны свои ошибки. Но кто-то должен

срочно взяться за исправление несовершенств нашей общественной жизни, а достаточно самостоятельно и взыскательно на то способна только ни в чем не повинная молодежь. Таков был наш социальный анализ возможного будущего. Теперь для нас актуальна не классовая борьба, а конфликты поколений, неустранимые во всей истории. И потому, сознавая свою слабую осведомленность обо всех конкретных обстоятельствах момента, мы только из чувства долга инициаторов (не более) все-таки начинаем свое дело с дискуссии, для которой формулируем актуальные еще вопросы:

- 1) Что происходило во время репрессий 30-ых гг.?
- 2) Чем объясняется, что, несмотря на 20 лет подготовки к войне, мы только после двух лет (сплошных поражений) смогли изменить ход войны, хотя обладали бóльшими ресурсами (вопреки расистскому самомнению врага, обосновавшему его расчеты). Именно наша страна была богаче людскими и материальными ресурсами, что и подтвердилось в итоге.
- 3) Что может быть сделано с учетом реальных ресурсов для укрепления нашего общества, очевидно расслабленного к 1941 г. и находящегося и после своей победы в крайнем истощении от голода, по-видимому, из-за не вполне эффективного планирования экономики?
- 4) Как общественный организм может быть перестроен для того, чтобы регулирование экономики приблизилось к автоматизму, а человеческие отношения стали гуманнее?

Тетрадь «Манифеста» я исписал очень торопливо. Вероятно, я устранил бы из ее текста многословие и заполнил бы пробелы и аргументации, но для доставки тетради по адресу с оказией надо было спешить.

Сразу же вслед за отправкой тетради я был арестован, что избавило меня от всяких колебаний: стало ясно, что рукопись перехвачена, и комментировать ее теперь целесообразней, чем тратить время на «игру в прятки». О себе я говорил с такой откровенностью, что

следователям не на что было на нас раздражаться. За нами следили давно (не по моей оплошности), и моих друзей свезли в мое местопребывание, чтобы сделать именно меня главным фигурантом по нашему делу, на что я пошел весьма охотно по принципу «семь бед – один ответ».

* * *

Мне не только стыдно было бы приписывать ядовитость своим слезам, мне скучно было бы жаловаться на судьбу или власти. Я всю жизнь был в милости у чего-то высшего, что давало мне силы выжить и обогатиться пониманием при прохождении самых трудных для меня обстоятельств. Кто это высшее? Было бы хвастовством сослаться на Бога, по-моему, это бесстыдное хвастовство – что у Него в особой милости. Я знаю, что во многом выиграл в своей безответной любви к литературе и к народным песням. От Шекспира до

*Уж ты сад, ты мой сад,
Что так рано цветешь-осыпаешься...,*

до более того веселого:

*Травушка-муравушка...
Видно, мне по улице не хаживати,
Травушку-муравушку не таптывати, –*

это вдруг послышалось у меня где-то внутри, и я очень удивился, – меня везли в «Большой дом». Нашел время, дурак, острить про себя, оборвалось. «Ну, что так побледнели?.. Да, молодой человек, белого света Вам больше не видеть», – раздалось надо мной голосом капитана С. «Опять фольклорный белый свет», – удивился я (все мы во власти языка с его кокетствами). Я с трудом выдавил из себя: «Белый свет давно забыт. Кругом красный свет». Как это я так привык огрызаться? Мама приучила.

Народ, прощавший бесчеловечность таким правителям, как Иван Грозный, и учинивший расправу над его наследником Годуновым

(расправу по подозрению в убийстве одного ребенка), навлек на себя приговор истории – многолетнее состояние смуты в начале. Таков, по-видимому, подтекст пушкинской трагедии, которая развернулась бы в трилогию, вероятно, если бы у нас цензура не заменяла бы театр. Цензура ставила тогда свои драмы на домашней сцене литературы. Пушкинской трагедии не понял даже Достоевский, обративший народную историческую трагедию в тематическую мелодраму о единой детской слезинке. Слезинка – это зло, страдание, но не масштаб для кровавых событий. В частности и для случившегося со мной: детские слезы – это феномен физиологии, как и голодание детей – физиологическая драма. Впрочем, Достоевский неправильно понят: о слезинке разглагольствует не автор, а Митя Карамазов, демагог, склонный к риторике преувеличений, типичных для мелодрамы.

Мы совершенно извратили старевшего и сентиментального папашу Достоевского. Нельзя исходить из того, что он из детских слез делал и впрямь сокровища для всего человечества. Это он домысливает словоблудие экзальтированного недоучки Мити Карамазова, шиллеровского фаната – к нам в объятья миллионы!

Попробуй представить это событие – будет пострашней Ходынки и сталинских похорон.

* * *

(Ирма Федоровна – Лене, 9 февр. 1979 г.)

О Юриных предках. Адольф Вейнерт приехал из Германии, по образованию архитектор, обосновался в Петербурге, сначала пользовался большим успехом, был нарасхват. Жили они широко, несмотря на большую семью. У него от первой жены было 10 детей, а от второй 6, всего 16. Моя мама была у него шестнадцатым ребенком, когда ему было 60 лет. Она еще помнила шикарную квартиру и собственный выезд. Но потом он спился, все пришлось продать. Бабушка моя зарабатывала своей ораве на хлеб беломешинкой, надомницей, но только на один хлеб, а на обед не хватало; а дед пил да бил бабушку и отбирал у нее последние деньги на пропой, малыши

часто оставались без хлеба. Тогда его старшие дочери, чуть моложе второй жены, устроились на работу гувернантками, сложились и сняли ему комнату с полным пансионом, взялись его содержать до гробовой доски с единственным условием, чтоб он не ходил к своей жене и детям и не отбирал у них последние крохи. Кормить – кормили, а на выпивку не давали; такого режима он долго не выдержал и вскоре умер. Моя мама мне показывала много больших домов в Ленинграде, выстроенных им, например на Исаакиевской площади – то здание, в котором теперь Гидрографический институт, а до революции – здание германского посольства.

Со стороны моего отца – целая династия садоводов. Нижний парк в Петергофе создавался их руками. Сначала из-за границы, т.е. из Германии, приехал мой прадед Вендельдорф. Его дочь Эмилия, моя вторая бабушка, родилась уже в Петергофе. К прадеду приехал помощник из Ганновера, Юстус Бальтазар, ему было 40 лет, двадцатилетнюю бабушку выдали за него замуж, а она любила другого, но отец ей не позволил выйти за этого, потому что он был художник, т.е. несолидная профессия, по мнению отца. Мой отец Федор Осипович Бальтазар (Фридрих Юстусович) – потомственный садовод. В Федора Осиповича его переделали садовые рабочие. Он ведь начал работать 14-летним подсобником, в тех же оранжереях Нижнего парка. Потом окончил школу садоводов, вернее, курсы при Ботаническом саду в Петербурге и стал стажироваться. Вернулся на работу в Петергоф. Когда произошла Октябрьская революция, рабочие всех петергофских оранжерей собрались на митинг и выставили вшаей других и объявили моего папу главным садоводом всех оранжерей от Ораниенбаума до Стрельны. Он же вырос и работал вместе с ними с 14 лет, был другом и товарищем. Он заболел и умер от туберкулеза. У них это семейная инфекция: его два брата тоже умерли от туберкулеза.

* * *

В старости ты в камере смертника с окном в далекое прошлое, с видом на все твои личные утраты, – воспоминания подгоняют в беспамятство. К реке Лете, как выражались великие греки, стро-

ители великого языка. Они способны были по догадкам построить себе образ лучшего мира, но не хотели другой жизни. Они верны были памяти о той стране, в которой прожили жизнь, верны были ее красоте, они из благодарности ей даже в мыслях не хотели расставаться с ней. Они не соглашались на предательство по отношению к уже состоявшейся жизни, они предпочитали небытие в полном самозабвении.

Все мы, смертные (в смысле перевода из античной литературы), под старость становимся смертниками (советская идиома: вы сами не встречали этого слова в досоветской литературе). При самом отчаянном риске храбрец не сомневался в том, что не он и не посылающие его на смерть, а только Бог решает, когда этому состояться. Вспомни:

*Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом:
И тот послушно в путь потек, –*

Или как в шуточной стилизации из персидской поэзии:

*Азраил, среди мечей,
Красоту твою заметит –
И пощада будет ей!*

Как поэт среди соприкосновений слов замечает высекаемые их контактами искры и искореняет из прозы соответствующие фразы.

Среди моих ранних стихов были строки об окне смертника: под окном трава, но в целом за окном прошлое, далекая его перспектива. Мой адвокат Ремез удивлялся этим стихам 16-летнего, говорил о них в драгоценные несколько минут перед судом и потом при новой встрече 9 лет спустя.

История непосредственно – ад. Но представления о ней так или иначе оказываются всего лишь абстракциями ада, театрализациями ада с безобразными «масками» чертей, хотя психологическое развитие этих существ – типично подростковое: злой от недоразвитости

юмор не уступает в них места состраданию; в бесах юмор жаден и мелочен. Но он еще очень ограничен, как отметил Р. Киплинг:

В аду малыши – совсем голыши...

Льют потоки слез, что их малый рост

Не дает грешить им всласть...

Бесы, ставшие живыми «винтиками» живучей машины Партии, – это нечто пострашнее всех чертей. Это уже гротеск не в трех измерениях, а в необозримости большого числа размерностей, в кажущейся парадоксальности, называемой диалектикой, то есть в непривычной для зрения (для заложенной в структуры мозга механики глазовождения) – для зрения непривычной и его невыполнимой ориентации в топологически более сложной реальности с феноменами неориентированных поверхностей (вроде бутылок Клейна и т.п.).

Людей рассудительных, не желающих на трагических ролях участвовать в играх истории... – не возражайте мне, а с Шекспиром поспорьте: это он четыреста лет назад понял, что в целом (т.е. глобально) Жизнь – это не Быт, а Театр. Муха, севшая на глобус, воображает себя на бесконечной плоскости: так она себя и чувствует. Но разум человеческий способен видеть себя издали на замкнутой поверхности человеческих отношений (замыкающей собой недра еще более сложного строения – недра экономических, скажем, отношений, парадоксальных до бесчеловечности, если под человечностью подразумевать структуру личных отношений, достаточно близоруких).

Даже госучреждения не могли точно подсчитать то количество мучеников, которые были в нашей стране одновременно мучителями для кого-то. И поэтому свидетельствовать надо было бы не о людях и их судьбах, а о поэзии русской жизни, которую мы утратили (а не потеряли, как выражается Говорухин, по своей собственной вине).

Это поэзия не только в красоте природы, которую мы изуродовали уже, но и в благородстве мотивов, которыми жили наши предки. От их мотиваций у нас остались только следы в литературе XIX

века. Уже пресловутый русский авангард начала нашего века – это, по совести говоря, картина «расстройства» общественного сознания, психического расстройства всего общества.

* * *

«Мама, роди меня обратно», – иронизирует русич, даждьбожий внук, попав в узилище, в одно точило с «детьми Родины», т.е. ворами, которые сложились в 20 гг. из беспризорников, мифологизировавших свое детство, давших в 30-е гг. цвет советской нации, воспитанников Дзержинского, Макаренко и двух св. Павлов советского мартиролога – П. Корчагина и П. Морозова. Безотцовщина 40-х гг. дала еще одно пополнение тюрьмам и разным речевым культурам.

Особый разряд задорных песен продолжали составлять пародии как транскрипции мещанской зауми (которую никак не умеют расслышать наши литературоведы за стихотворной продукцией футуризма, за всеми фонологическими вывертами Крученых и Хлебникова). Вместо разудалой и танцевальной зауми – из текстов ямщицких (вроде «Вдоль по Питерской») и цыганский городской романс дал заумь хорового застольного воя «Шумел камыш», или «Когда б имел золотые горы», или «По диким степям Забайкалья». И вот середина века дала иронический (пародирующий воровской, одесский в основном) романс на музыкальные темы: «У самовара» – «А что за шум в квартире Шнеерсона?» – далее «Жил-был на Подоле Гоп-со-Смыком, он славился...» Но лучшее в этой лирике дали дети: на мещанский вальс «Крутится-вертится шар голубой» мои сверстники ответили веселым: «Крутится-вертится дворник с метлой».

«Одна возлю-блянна-япара!»

«Лакеи носят вина, / А воры носят фрак!»

*«Кабы не было мне жалко лаптей –
Убежал бы от жены и от детей».*

В детстве я столь часто слышал слово «ширмачи», вероятно возникшее в конвергенции лексем «ширма» (из-за которой выскакивает актер-шарлатан, т.е. жулик-иллюзионист) и «шарм» – очарование (нечто специфическое для художественных и мистико-политических притязаний начала XX).

* * *

В школьные годы мое самообразование – в годы великой войны! – мои литературные симпатии и антипатии сконцентрировали мою неприязнь на И.И. Обломове: ни одного злодея или пошляка я не презирал так сильно, как этого монстра, – никого в мировой литературе. Многих подлецов я убил бы, чтобы только помешать им продолжать их дела самоутверждений, но только к И.И. Обломову я не испытывал никакого сострадания, одну досаду на то, что такие люди существуют во множестве и отнимают у нас время-внимание (столь драгоценное), переключают его на себя, – отнимают его у бесчисленных более значительных и достойных предметов. Ведь он, И.И. Обломов, начал свою историю под пером Фонвизина, когда Кутейкин продиктовал, а Митрофан написал о себе: «Аз есмь червь, а не человек, поношение человеков!» Настолько благородней монстр Франкенштайн, или Смердяков, или вожделеющий к своей дочери страшный колдун у Гоголя.

* * *

При всех моих усилиях вычитать что-либо интересное о Шекспире у англичан, я не нашел ничего, кроме вздоров, разъясняющих способность англичан в массе на целые поколения отвлекаться на что-нибудь вроде пуританской революции, столь антитеатральным театром (см. Скотта) или фрейдизмом, вменяющим Гамлету Эдипов комплекс.

А у меня все началось с того, что отца заживо похоронили в ГУЛАГе как в Чистилище под эспланадой Эльсинора, – а мне сказали: это тебя не касается, не волнуйся, у нас сын не отвечает за отца. И стали мне они так противны скукой, с какой все это про-

дельвалось, что мне захотелось во что бы то ни стало отвечать за отца, – не на том ли построена вся культура, по меньшей мере, вся европейская? Уж если Орфей спускается в Ад (а потом и Одиссей, и Эней), а Иисус, согласно притче о виноградарях (см. Евангелие от Луки), спускается с неба на землю по аналогичным мотивам. И может быть, многие вплоть до Данте не видят апокалиптической опасности в таких своевольствах – в контактах с потусторонним, – хотя ничего не рассказано далее о Лазаре... И все догадки осуждаются как гнозис и т.п. И по прошествии 17–18 лет вдруг объявляют, что не похоронили заживо, а расстреляли, но ах, по ошибке, и не его одного, а еще миллионы и более неповинных (но и об этом известили не лично меня, а только мать).

Тут для меня открывается шекспириана, совершенно невнятная тем англичанам, которые как-то представлены в академической науке.

* * *

У меня было не просто сказочное детство, у меня было воспитание под Пушкина с так сказать, многофигурной Ариной Родионовной (царское воспитание), каким оно виделось гвардии:

*Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном.
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал*
(А. Пушкин), –

вот из этих стихов у меня развился острый глаз на наши Ново-Аустерлицы («Наши деды – славные победы!»). Там, где мы не побеждали, у нас было нечто большее: парад мужества и покорности судьбе без понимания – что же такое, братцы, происходит. А зачем?

*Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает...*

Или вальс, наш реванш, – «На сопках Манчжурии». Я люблю на-

ших песельников за все, за простодушие, – они шила в мешок не прячут:

*Все пушки, пушки грохотали,
Трещал наш пулемет.
Поляки отступали,
А наши шли вперед, –*

и куда же... так и не прошли всю Польшу, а прямо в объятия Гитлера добежали до Бреста в 1939-ом. Даже Брестскую крепость Гитлер не успел взять, хотя это он оплатил в те дни и годы всю ситуацию. То, что Сталин не отдал эту крепость – ну хотя бы в знак дружелюбия и нежелания переть дальше, на Запад, – это то, что типично для идиотов: голову в песок, а ее противоположно – наружу. «Жадность фраера сгубила» – так говорят в нашем народном окружении. Фраер Гитлеру открыл свои аппетиты – а чего бы скупиться? Польша вдруг стала ничейной землей. А на ничейной полосе цветы необычайной красоты! Обидели юродивого, копеечку отняли... Вели их зарезать... (См. контекст у Пушкина в Комедии о настоящей беде).

*Поляки отступали,
А наши шли вперед.*

Дошел же тогда Есенин до признанья:

*За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ламанша.*

И двадцать лет спустя, студентами, уже мы пели все о том же подростковом задоре наших генералов:

*Шагом, братцы, шагом
По долинам, речкам и оврагам
Мы дойдем до города Чикаги
Через горы, речки и овраги...
Господа из этих самых штатов –*

Ах, не бойтесь наших автоматов.

Ну, тогда совсем другая песня:

Ракета транс-континентальная!

Лети в Америку, лети.

Многоступенчатая дальняя,

А мать... родная...

И как это они там, за Бугром, не понимают справедливости этих наших геополитических мечтаний?! Или не за это они нас не ценят, не уважают, не любят? Вот дураки, не боятся! Или боятся все? По тютчевской подсказке: «Умом Расею не понять»? Была Россия, а была Расея, пора бы это понимать. Одна тревожила простором: как этой громадой управлять как единым целым, как ее поднимать со всеми ее низинами так, чтобы она нигде не прогибалась да не потрескивалась на сгибах. Жириновскому, что ли, поручить? Или Зюганову?! Но это уже уклон из рослой России в Расею с ее геополитикой без знания географии в целом со всеми её подробностями. Сам наш родной язык смеется над подменой русского расейским. Язык наш – дело тонкое, не то что Восток. Все, что с Востока попало к нам, состояло из беженцев, вытесненных из азиатского центра войнами и кинематическими катастрофами, – возражал было я Гумилеву. Но Лев Николаевич никак не хотел соглашаться с моим сомнением в том, что ничего интересного нам они принести не могли. Какую такую Ясу? Это что, поэзия или философия? Философия нищеты до Прудона и Маркса? Даже Батый вынужден был искать у нас земли и воды, чтобы обустроиться подальше от собственных братьев и собратьев. А как-то нашим собственным людям терпеть соседство с ним, таким же милостивым, как и его собратья? Это нам теперь легко, мы же породнились за несколько веков через общих прапрабабушек, которых угоняли в Казань и все Поволжье, разве нет? И еще больше через все новшества русско-европейские, распространенные и по всему северу Евразии. Север есть Север, а Юг – это Юг, и с места они не сойдут даже в силу вращения Земли с запада на восток. Даже такая инерция может надвинуть запад на восток, а не наоборот, и тут ничего не поделает никаким мутантам-пассионариям, как бы

они ни напоминали собой скандалистку-коммунистку Долорес Ибаррури. Ну, Бог с ним, со Львом Николаевичем! – юмор его был очень односторонний, улыбался он только собственным насмешкам, европоненавистническим. Даже Пушкина не уважал, к долгим моим недоумениям. Под конец понял: Пушкин тоже не был геополитиком.

В моем детстве, привыкнув чернить портреты в учебниках, мы, школьники, советские женские лица украшали усами, а мужские – рогами; оставаясь так в пределах виртуального, т.е. не вторгаясь в абстракционизм нефигурный, ни в абсурдизм невозможненский с его метаморфозами наших близких в носорогов или бегемотов библейских.

Гимназист российский, последняя надежда Ф.М. Достоевского, переделает звездное небо (на карте) не во что иное, как в евразийский (то есть тюрко-фарсидский) ковер, который весь взывает к унынейшей геометрии ткачества и вязания – т.е. к антитезе геометрии Эллады, основанной на строительной культуре античных зодчих, знатоков законов приземных тяготений, знатоков аттракций, сопрягающих людей в любовные пары и в полисы, а камни – в стройные пейзажи – качалки, качели и вращаемые лабиринты. Шахерзада сделала несколько робких шагов за Евклидом.

Я пишу и пишу в жанре «БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Допросы и составление их протоколов велось не по моим, разумеется, анкетам или сценариям, поэтому в них не отразились глубоко продуманные и существенные для нас наши мотивы. В первый же день допросов капитан Черненко ответил на мои разъяснения этих мотивов: «Я думаю не о Вас, какой Вы тут хороший или плохой, но о своем сыне. Он учится в том же самом 10 классе, который Вы окончили полгода тому назад. И я не хочу, чтобы он попал под влияние людей, хоть как-то похожих на Вас». Меня еще больше удивила человеческая откровенность капитана Черненко. Эти человеческие проявления в сотрудниках жутких «органов» (не очень выставляющихся напоказ) более всего меня интересовали на допросах (по крайней мере я очень многое говорил о себе только для того, чтобы пронаблюдать реакцию). На себя же я смотрел как на живой труп. И спасло меня впоследствии только заботливое отношение людей, меня окружавших, презиравших опозоренное к тому времени слово «товарищи». Все перевернулось у нас: только гусь свинье теперь товарищ.

Если у меня как раз бывали мысли о смерти, то оба моих друга готовились к ней, только собираясь на фронт. И наши «замыслы» вызваны были одной заботой: на фронт мы не успели попасть, но ведь есть еще для страны задачи, смертельно опасные, за которые никто не возьмется лучше нас. Ибо мы-то еще не натерпелись страхов и не опутали себя никакими узами личной ответственности за близких.

Не прошло и полгода с наших арестов, как прошли аресты о нас наслышанных в том же Челябинске: восьмерых «издателей» журналов «Снежное вино» и «Барабанщик» и двух школьников седь-

мого класса, под 1 мая расклеивших листовки, много более «острые», чем наш «Манифест» – Полякова и Гершовича.

Едва ли нашелся бы юморист, который бы сумел найти что-либо общее (в социологическом или психологическом смысле) между нами и Милованом Джиласом, десяток лет спустя выступившим с аналогичным «анализом коммунистической системы» в книге «Новый класс». Масштабы катастроф 1941 и 1942 года от нас не заслоняли никакие традиционные вопросы «кто виноват – враг или мы?», и никто не спрашивал нас «что делать?», даже когда вопрос этот касался именно нас лично: «Что делать именно нам?»

* * *

Свидетельствовать я не привык. В роли обвиняемого я выступал, давая показания о себе самом. Я говорил тогда с такой откровенностью, что судьба моя обернулась самым неожиданным образом. Из всех моих друзей и приятелей по трем молодежным группам, проходившим судилище в июле 1946 г. я один попал в Особый Лагерь, Дубравлаг середины века, в котором не было почти ни одного простого советского человека. Это спасло мне не только жизнь, во всяком случае спасло и здоровье. Ибо только в таких местах заключения никто не воровал и не грабил и эки друг с другом не враждовали. Даже в начальстве лагерном мне встретился только один человек, захотевший мне отомстить за мою откровенную веселость, вызванную известием об аресте Л.П. Берия. Не я один веселился: по всему лагерю носились стишки Х.Г. Аджемяна:

*Наш товарищ Берия
Вышел из доверия!*

Если все же нужно свидетельствовать, то я должен теперь признаться: жестокость карательных органов СССР была ничтожна по сравнению со свирепостью миллионов простых советских людей, писавших доносы не только на кого подкажут, но и на самых близких им людей.

А сколько было у нас людей, эксплуатировавших неполноправие

бывших эков и шантажировавших нас своей готовностью снова и снова компрометировать и доносить.

*Будем мы Якова верного,
Холопа примерного,
Помнить до Судного Дня!*

И как еще о том же писал полузабытый пока великий поэт Некрасов:

*...а Иудин грех не прощается.
Ой, мужик! мужик! ты грешнее всех,
И за то тебе вечно маяться!*

И не забудется из книги Бруно Ясенского: «Не бойся врагов. И друзей не бойся: в худшем случае они предадут. Но бойся заговора равнодушных: это с их молчаливого согласия существуют жестокость и подлость».

* * *

Ну, конечно, я начитался, потому что старался разобраться, понять, что произошло и как произошло с отцом, – эта нелепость его ареста. Мне казалось, что моего отца все уважают и даже любят, что он хороший человек и я мог бы им гордиться, и вдруг с ним это случилось. Но были книги под рукой, некоторые я наведывался брать в библиотеке, я читал книги, как бы проливавшие свет на революцию, на политические события. Среди таких книг, скажем, были два романа Анатоля Франса: «Восстание ангелов» и «Боги жаждут». «Восстание ангелов» – это роман трагический, из истории французской революции, в котором по сути революция описана не так, как это обычно у нас в школе делают, а с подчеркиванием ее трагических и нелепых поворотов из истории Франции ... В этом ключе была написана и книга «Боги жаждут» – о том, что все происходит не так, как люди задумывают, а так, как будто боги на самом деле людям устраивают неожиданные повороты в истории, как бы режиссируют трагическим спектаклем. Потому что боги жаждут человеческих слез и страданий и крови – такие свирепые боги царят над Историей.

А другой, «Восстание ангелов», написан был в юмористическом ключе, там происходит заговор среди ангелов против Бога. Но все это явно памфлет по отношению к революции. Потому что Франция пережила революций больше, чем мы, у нее был очень богатый опыт: революция тысяча семьсот восемьдесят девятого года, потом тысяча восемьсот тридцатого, тысяча восемьсот сорок восьмого и Парижская Коммуна еще, вот и дальше была политическая борьба, которая для такого скептического и иронического наблюдателя тоже выглядела нелепо. Но об этом А. Франц еще написал книгу «Остров пингвинов».

Все это я прочел жадно и сделал из этого свои выводы. И описание Гражданской войны в книгах, скажем, Шолохова в «Тихом Доне» или в книге «Хождение по мукам» у Алексея Толстого, было тоже совсем не то, к какому мы привыкли в школе. Все это я и обнаружил и в своих разговорах на допросах. Так что бывали моменты, когда приходил начальник следственного отдела и говорил: вот, мне сейчас об этом расскажете подробно, какие впечатления на вас произвели такие-то книги, о которых вы упомянули, как вы их поняли, как вы их расцениваете, расскажите. Вот, мы вам дадим бумагу... А потом даже давали стенографистку, которая садилась, и я просто отвечал, чтобы не тратить время. Это все, по-видимому, сыграло тоже свою роль, поскольку прояснилось, что за нашей спиной не было никакого влияния взрослых, никакого врага, который нас настроил так; что все это происходило в каком-то смысле естественным образом.

Потом я попал в лагерь, и ко мне опять старики относились, ну, великодушно – скажем так. Иногда с тяжелой работой я не мог справиться, они говорили: ну, что, хлопчик, – говорили они, – цикавый хлопчик (там украинцев было много). Они совсем в нашей русской политике ни в чем не были заинтересованы. Они просто относились ко мне как к юноше, которому надо помочь, цикавому хлопчику.

* * *

Поистине важнейшая черта евразийского менталитета – страсть

наставлять кого-нибудь в истине, хотя бы и старших по возрасту, чину или общественному положению. Эта страсть не обошла и меня: в 17 лет я читал лекции («рефераты», как мы тогда говорили) – лекции по истории философии в кружке школьных друзей (и наших подруг, вскоре с нами вместе попавших под следствие). Вскоре – это через четыре месяца после того, как по предложению одного из этих друзей я написал проект «Манифеста», на первой странице которого провозглашались «теоретические задачи нашего (молодого) поколения»: дополнить марксизм в части его этико-эстетических представлений о мире и человеке; речь шла о задаче, за которую вскоре возьмется Сартр, умудренный феноменологией Гуссерля и Мерло-Понти.

Впрочем, не зная этих имен еще десяток лет, я упомянул на той же (первой) странице имена Ницше и Фрейда скорее как ориентиры для определения той «теоретической задачи», которую я предлагал иметь в виду мыслителям своего поколения. Я предлагал не перелагать на русский или советский лад, но только сопоставляя наших классиков с этими отверженцами, не забывать больше никогда, как много можно сказать о человеке (пример – как много в нем усмотрели Ницше и Фрейд) и как мало на те же темы успели высказать Маркс и Энгельс.

Боюсь, что читатель меня подозревает уже в том, что я рисуюсь перед ним, но пусть подумает он, читатель, как мало теперь, в 65 лет, я нуждаюсь в его симпатиях, без которых обходился почти полвека. Людей, которым хотелось бы помочь на эти дни, я не предвижу, а когда умру, наши отношения приобретут тот асимметричный характер, который исключит мелочные счеты Проницательного Читателя с Эгоцентричным Автором.

Автор, которому в себе любоваться нечем, за мемуары никогда не засядет. Разумеется, кто угодно может найти в себе повод для самообольщений. Была бы только в самом характере готовность к самообожанию (или самообоженью, как выражаются у нас иные). Но насколько легче любоваться собой по вальтер-скоттовски вообще как любому беллетристу, присвоив себе покрасивее

имя или даже пустив себя в виде множества двойников под множеством всяческих псевдонимов, эдаким невозмутимо-здоровым господином Голядкиным, поладив с двойниками и даже с носами, заключив со всеми ними джентльменскую конвенцию, природу которой разгласили Ильф и Петров в «Золотом теленке». «– Тише, тише, бесенята, – заворчал на них отец». Впрочем, разве кто-нибудь разобрался в сложных отношениях между Шекспиром и обоими (или тремя) его маврами, если учесть еще Калибана? В тех превращениях, которые связуют маркиза де Сада с Жюстиной и Жюльеттой? После всего, что высказано прессой в адрес нашего правительства, все мыслимые ночи Содомы и Гоморры по маркизу де Саду или по его американским эпигонам – выглядят чтивом для институтов благородных девиц.

Гораздо интереснее меня мои друзья: Юра Ченчик, захотевший попросту меня развлечь, отвлечь от черных мыслей – и потому предложивший мне письмом составить роковой для нас документ, который запустил в работу наше следственное дело в тогдашнем КГБ. Гений Бондарев, посмертно прославленный в газете «Комсомольская правда» (статья «Оптимисты у нас вымирают как мамонты») от 27 июня 1991 г.; две девочки: Бондарева и Гольвидис, весной 1946 г. все же «привлеченные» по нашему делу за решетку за свою привлекательность для нас, по сути, за какую-то проблематичную влекомость к нам самим, за увлекательность для них наших разговоров. Разумеется, гордая моя латышская красавица не захотела оценивать мои речи и дела по подсказке КГБ. В 1947 г. ей все же заменили условный срок на три года подлинного лагеря мира и социализма, навязавшегося исправительно-трудовой колонией ИТК №3 челябинского Управления МВД.

На этом маленьком островке ГУЛАГа мы с ней встретились в 1949-ом – но об этом теперь я четко помню только свое взвинченное состояние: на третьи сутки я заметил, что все еще не смыкаю глаз – и решил проверить, выдержу ли до конца все трое суток бессонницы. Но заметил я это только потому, что действительно захотел все-таки поспать спокойно. Выдержал и третьи сутки, но уже намеренно, с трудом.

* * *

Обычные для осужденных зэков Исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ и ИТК) я знавал (только в течение почти трех лет) как Чистилища, в которых человек «очищался» от всех этических навыков и норм и становился обычным уголовником, воспитанным в ненависти к труду как мере наказания. Вся жизнь зэка сводилась к самозащите против уродующей любую личность системы «исправительного» подневольным трудом унижения трудовым наказанием как пыткой.

К моему счастью, откровенность моих показаний на следствии выделила меня в категорию тех принципиальных врагов советизма, каким я себя не вполне сознавал до ареста. В результате уже в марте 1949 года я был выделен в состав тех тысяч и тысяч заключенных, которые отправлены были в Особые Лагеря, местонахождение которых было засекречено под индексами «почтовых ящиков». «Почтовыми ящиками» назывались и военные объекты, и секретные научные и проектные организации. Мне, однако, посчастливилось попасть в Дубравлаг (сколько я могу помнить п/я 385/18) в Мордовии, размещенный вдоль железнодорожной ветки, шедшей от станции Потьма, Московско-Рязанской железной дороги в сторону не то Муромских лесов (вспомните песню Высоцкого: «В заповедных и дремучих... / Всяка нечисть ходит тучей...») или в сторону Саровской обители св. Серафима и какого-то засекреченного института, работавшего на атомно-оружейные нужды, – этого мы не знали. Для нас наша ветка кончалась станцией Барашево, ЦЛД (Центральный лазарет Дубравлага) вблизи отделения №3, где содержались власовцы. Здесь-то я и нашел свой первый университет.

И мне приходилось работать в те годы – на ремонте рельсовых путей и на расчистке их от снега; кроме того, по соседству были участки лесоповала, мне работать доводилось лишь на сравнительно легкой вывозке уже поваленного леса. Пришлось освоить искусство запрягать лошадей и быков, чему меня обучали тоже молодые ребята – венгры, бывшие военнопленные. Это были основные

трудовые занятия. У меня еще оставались промежутки времени по вечерам, позволявшие мне наведываться к старикам, которых уже ни на какие работы не выводили. Смысла не было занимать ими внимание конвоиров. Их могли бы, наверное, запросто истребить: но был, видимо, какой-то расчет ими как-то еще воспользоваться; это были люди очень много знавшие и повидавшие. Тут был и престарелый полярный летчик Фарих, и просто крупные ученые – Дрезденский физик доктор Пюшман здесь читал мне лекции по дифференциальной геометрии и топологии, иллюстрируя свой немецкий чертежами на сугробах; москвич Диодор Дмитриевич Дебольский, за увлечения индийской философией большую часть жизни периодически отбывавший сроки в разных концах СССР, читал мне лекции по истории литературной жизни Москвы (в частности, о близком ему М. Булгакове) и вообще на разные темы истории литературы. Позднее этот курс был продолжен совсем иначе В.А. Гроссманом, в гимназии дружившим с Таировым, поучаствовавшим в революции 1905 г., лет семь жившим в эмиграции, позднее работавшим у Вахтангова, общавшимся с Немировичем-Данченко. Кроме пушкинианы, нашими темами были разные течения нашей театральной культуры. Фрагменты этого моего поведения привлекли и внимание владыки Мануила, в миру В.В. Лемешевского (тогда он еще не был митрополитом). На очень конкретные, хотя и робкие мои просьбы, чтобы и он просветил меня в вере, он ограничился шутивными разговорами о Н.С. Лескове и направил меня к другому профессору – евразийцу П.Н. Савицкому, которому меня рекомендовал так великодушно, что старый и больной Петр Николаевич сразу согласился заняться мной и несколько месяцев по вечерам рассказывал мне о христианизации России и о различных внутрицерковных проблемах, таких, как разногласия иосифлян и заволжских старцев и о Ниле Сорском, и о прп. Сергии и т.п. Но это было только началом его дела. Лет 7 или 9 спустя он рассказал обо мне, как своем студенте, Л.Н. Гумилеву, тогда еще довольно молодому. В свою очередь это было дополнено такой же рекомендацией профессора М.А. Гуковского. В результате с 1959 года у нас со Львом Николаевичем установились очень довери-

тельные отношения, ограниченные лишь возрастной разницей в 15 лет.

Еще больше мне надо бы рассказать о М.А. Гуковском, но, как и о других замечательных людях, я написал бы уже в другом, совершенно ином жанре (в более интимном и свободном стиле).

... Я бы не назвал эту драму трагедией: основная масса участников выглядит не очень благообразно или, скажем, неэстетично. Куда вы смотрели, господа-товарищи, когда все это начиналось? Куда и все? Ну, тогда и вините этих «всех», хотя, конечно, никогда не было такого, чтобы все смотрели в одну сторону.

Нужны факты? Без комментариев? Но что глупее фактов в наших документах? Понятие «факта» основано на недоверии к собственному разумению. На безразличии тех равнодушных, заговор которых и обеспечил все безобразие XX века, скрываемое за тем передним планом наших событий, на котором преобладают только чудеса техники, особенно технологии развлечений, выдаваемой за культуру авангарда и постмодернизма, то есть пост-арьергарда того же века. Век насмотрелся на все цвета побежалости: были красные – у нас, потом коричневые (сначала в Германии), потом просто грязные (например, во Франции, приюте Ленина и Хомени).

Перипетии моей дальнейшей биографии – после внезапного освобождения в июле 1954 г. – слишком сложны художественно, чтобы их свидетельствовать как на суде: «факты, и только факты!» Всю правду рассказать – не хватит времени даже у читателя, а часть правды, ограниченная отдельными днями или годами собственной жизни, – это уже художественная условность, а не правда в смысле «только правда фактов». Нам никто уже ничего не вернет. Мы могли бы прожить и менее интересную, менее яркую жизнь, если бы нас не касались никогда и пальцем никакие конвоиры. Но весь интерес нашей жизни не в том, что сделали с нами они (не конвоиры, а вся партия и ее избиратели), весь интерес нашей жизни – в том, что мы сделали сами вопреки им или даже благодаря их злобной тупости. Мы более или менее разобрались в их психологии, в частности,

в их тупых расчетах, что они могут избежать исторической ответственности. А нам уже не пришлось ни о чем жалеть, разве что о том, что столько у нас еще яда в электорате обнаружилось давеча: масса его оказалась близка к критической. Я видел на станции Барашево (упомянутой выше) только барак душевно больных, но, вернувшись на свободу, я ужаснулся их массовости.

Жизнь моя во все время войны прошла в таком голодании, что едва ли мне в заключении было где-либо хуже в течение последующих восьми лет; почти нигде не хуже. В первые три года было много людей интересных, а это я ценил всегда больше всего. Только интересного человека нельзя просто придумать: настоящие классики литературы придумывали не характеры, а только способы их изображения. Загадочных людей придумывали романтики, – но это очень неуклюжий способ сделать человека-выдумку интересным лицом (личностью).

Я только по недостатку самомнения не верю, что всё устраивалось свыше. За искренность и обстоятельность моих комментариев на следствии я получил срок в два раза больше, чем мои друзья – Г.И. Бондарев и Г.Ф. Ченчик, – 10 лет. Две девочки 18 лет получили свою «малость» за то, что слишком хорошо обо мне отзывались. Одна, переписавшая «Манифест», получила всего 3 года условно (В.И. Бондарева), а другая отбыла и 3 года настоящих (Р. Гольвидис).

Моя бесшабашность не пошла мне во вред: я последние 5 лет провел в наилучшем по тем временам человеческом окружении, в Дубравлаг. По производственным условиям он в то время мог сойти за курортный уголок ГУЛАГа.

Если верить семейному преданию, к этому какое-то участие приложил еще замечательный человек, некто Грингут, немец, после войны в Испании выбравшийся в СССР и не погибший у нас. Видимо, был очень полезен во время войны, а после нее попал даже в аппарат, – вероятно, не то Генеральной Прокуратуры, не то министерства юстиции. Не знаю, как он добрался до материалов не

только обо мне, но и об отце, проверил все, под каким-то предлогом пообщавшись с моей матерью. Тотчас после этого меня выхватили из общего лагеря и в отдельном вагоне повезли из Челябинска в Потьму. Его фамилия Грингут; уж теперь, 50 лет спустя, даже наши компетентнейшие органы ничего не причинят ему, поэтому я его называю (и перед Богом и перед людьми) с величайшей благодарностью, – с которой, впрочем, вспоминаю многих.

Мне трудно найти слова, достойные таких людей, за семьдесят лет я все не понимаю современных людей, ставших умственный труд называть «головной болью». У меня несколько дней бессонница и головная боль от концентрации внимания на этих темах. Сколько я помню, никогда русский человек умственный труд не путал с болью. Не хотел думать – не утруждал себя. Даже И.И. Обломов никогда не думал из-под палки. Разве что в раскаянье? Даже Раскольников...

...Капитан Черненко говорил вежливо: «Разве дело в Вас? У меня сын в том же классе, который Вы окончили. Могу ли я хотеть, чтобы ему повстречался человек такой, как Вы?». А зам генерального прокурора по спецделам Белкин (в мае или июне), в 1946 году прибывший по нашим делам из Москвы – такой красиво одетый и барственный – укорял меня: «Что вы все Маркса читали, а не «Детскую болезнь левизны»?» Я даже съехидничал: «Зрелое государство – и детская болезнь? Это темы разные!» Впрочем, в мелочи он не вдавался, и две ночи напролет мы наговаривали стенографистке только «теоретические темы»: что такое «теория икс-информации?» – я рассказывал эту теорию «монополий на информацию, которые норовят вытеснить монополии финансовые и уже играют их роль в нашем советском обществе». Как синоним я предлагал «монополии на знания», потому что стенографистка путалась в каламбурах «икс-информация»-информация. Утром приносили уже печатный текст, я вздыхал и подписывал – пусть быстрее эти тексты попадут в Москву; может быть, заинтересуются там и выше замгенпрокурора, – разве не этого именно мы хотели добиться: чтобы наверху задумались те и Тот, кому стыдно бы злиться на мальчишек. Мы-то знаем, что мы сопливые мальчиш-

ки (а ноги у меня в трофических язвах от голода). Я еще не знал, что в начале мая арестованы мальчики из 8 класса другой школы (А. Поляков и Гершович), отпечатавшие листовки на наши темы. И вот из Москвы прилетел высокий чиновник. С ним хоть разговаривать легче. Как, впрочем, с Генералом (произносилось с большой буквы), – но я-то помнил: генерал Смородинский – отец Гали, с которой я сидел за одной партой в 1-2 классе, потому что она мне нравилась, потому что вызывала жалость: пальчика не было у нее на одной ручке... как больно было, наверно, при операции.

* * *

Не видев замученных насмерть, я видел состояние тех немногих, кто выжил в годы войны, вернее, я видел, что с ними случилось. Это было убедительней и наглядней воспоминаний тех, ничего уже не боявшихся, которые рассказывали без опаски. Но я не стану пересказывать: нашему читателю все нипочем. Я думаю так о нем без обиды. Наши младшие современники – жертвы тех же насилий над человеческой природой – жертвы сенсорной депривации – прискорбного бесчувствия.

В 11-ом бараке на станции Барашево я часто навещал людей, лечившихся (может быть!) от психических расстройств сравнительно легких форм. Они не скандалили, не буйствовали. Многие мне были симпатичны, я их выслушивал, играл с ними в шахматы (по вечерам, после своей работы). Курировала их доктор Керменджоглу: говорили, бывший главный психиатр Одессы. Она с молчаливым одобрением наблюдала мои посещения, а я наблюдал ее пациентов.

В основном это были люди с крайне замедленными реакциями. Думаю, такие нарушения вызываются длительным запугиванием. В атмосфере страха, как в сенсорной депривации, человек теряет способность быстро переключать внимание и запаздывает в «работке (любой) информации». Не это ли было причиной слабости наших людей в лето и осень 1941 г.? И не вызвана ли была смена поведения к 1943 году тем, что массы осознали возможность активно сопротивляться насилию и не прятать свой гнев, свою не-

ненависть к врагу? Многие в предшествующие годы всех загоняли в состояние покорности любой власти и в боязнь обнаруживать (перед кем бы то ни было) гнев, протест и т.п. Самым сильным средством подчинения масс дисциплине оказалась склонность масс не к панике, а к самоорганизации своего страха. Инерция внимания в состоянии страха – это боязнь того, что окружающие заметят в тебе паникерство, панику в любой твоей активности – и затравят тебя не потому, что они смелее, а потому что боятся заразиться паникой, страхом. Паникера ненавидят больше, чем самого врага (тот еще далеко).

Гнев, который привычно было подавлять в себе из страха перед своими же близкими, протест, подавляемый годами в примитивных формах агрессии, в раздражительности по любому поводу, – этот гнев только в середине войны был социализирован, преодолел все страхи и стал коллективной ненавистью к «фрицам» (о фашистах говорили только в высоких жанрах речи).

* * *

Когда мы прибыли на мировой полюс заклопленности – на Челябинскую Пересылку, к нам вышел типичный юморист МВД и окликнул: «Прибыли, войско Хуйского!». И я с интересом развеселился: помнит Шуйского, Скопина-Шуйского! Чей-то исторический роман читал.

Потом при входе в камеру с верхних нар на нас спикировал блатной активист Жора Быдаев. Я заметил его с изумлением, потому что он тут же был сбит с полета своего моими однодельцами. И когда их через несколько дней увели на этап, я ждал, что Жора меня прикончит. Потому что Жора у нас на глазах ходил в сапогах по еще живым телам; и не протестовали уже ни тела, ни за них никто, даже мои ребята, Женя и Юра. Нас Жора теперь называл студентами. Когда мои обнимали меня, прощаясь (на восемь лет, так уж получилось), я думал: ну, сейчас он со мной рассчитается.

Нет тут-то было. Жора только предложил обменяться с ним меховыми шапками, благо на мне была отличная, которая пришла тоже по

обмену, с Бондарева. Потом ему захотелось представить себе меня своим секретарем – и он добыл карандаш и бумагу. «Ксива», – начал он диктовать. «Это что – имя Ксения? Ксюша?» «Ты пиши, студент, как я говорю – так и пиши. Написал «ксива»? Дальше: «Жмем шведов целиком и полностью». «Шведов? Неправильно: «Тесним мы шведов рать за ратью...» «Ты меня не сбивай! Почему лучше?» «Потому что это Пушкин раньше тебя...» «Ты забудь про все, что было раньше...»

Возгордась уважением эзков, я стал как молитву повторять стихи Тургенева, которым уже 120 лет, – о русском языке, который казался тогда свидетельством величия народа, которому он был дан. Но эту данность так и не сберегли ни наши почвенники фольклористы, ни бедные учительки.

* * *

Эпизод, который со мной разыгрался в 1948 году, когда я попал, можно сказать, под обстрел конвоя на кузнечно-прессовом заводе в г. Челябинске. Я доведен был обстановкой до такого отчаяния, что зашел в зону запретную, прострелянную, не то чтобы бессознательно, но и нельзя сказать, что сделал это со вполне ясной головой. В голове у меня стоял безумный шум работавших кругом кузнечных станков, ковавших детали для автозавода – КПЗис им. Сталина. Место, куда я был направлен в составе так называемой «малолетки». В лагере одним из первых ярких впечатлений для меня было зрелище огромной человеческой массы, врывающейся на территорию лагеря лавиной. С недоумением спросил я: «Что это?» И отвечено мне было: «Это идет «малолетка». Убирайся скорее с дороги, с пути». Они бежали как... не скажу как стадо обезьян у Маугли, не как стадо бандерлогов, а скорее как лавина красных волков, красных волчат, тех самых людей будущего, которых здесь воспитывали самым радикальным образом – коллективизмом, дальше которого трудно себе представить что-нибудь даже на Брокене и на Лысой Горе, к которым слетаются ведьмы и бесы по весенним первомайским ночам. Они бежали, затаптывая все на своем пути. Они сидели в своих бараках, боясь появляться где

бы то ни было поодиночке, ибо их в свою очередь все остальные эски боялись и ненавидели до предела, – они не были людьми, а они были зверенышами, собранными советской властью для травли «фашистов», как здесь нас называла администрация, неофициально, конечно: для травли «врагов народа», и между нами царила лютая вражда.

И когда не удалось меня завербовать в осведомители – внутрилагерные стукачи, меня решили покарать для перевоспитания и бросили в состав колонны, которую каждодневно водили на расстояние пары километров – из седьмого лагерного отделения челябинского КПЗис на работы. Работа не была особенно тяжела, хотя отвратительна из-за постоянного погружения в шум на весь день, в металлический грохот, мне уже знакомого в большей мере даже по жестяной мастерской, в которой я работал в первые месяцы после тюрьмы. Но путь на этот завод был хорош уже тем, что проходил по улице, полностью вытопанной смежной улице, по гололеду, каким его знает каждый россиянин – в деревянных колодках, то есть в обуви, подошва которой была из дерева, а верх из брезента. Эта колодка надевалась на ногу, забинтованную способом, тоже хорошо известным россиянам – портянки. Забинтованная нога, на нее надевалась данная колодка, то есть обувь с негнущейся подошвой, подметкой. И на этом пути, к моему счастью, конвой боялся моей готовности к побегу. Местный житель, знающий предположительно окрестности и имеющий десятилетний срок, я естественно попадал в хвост, в самый хвост колонны. Впереди меня бежала вся масса «малолетки», то есть эсков в возрасте от 14 лет и старше. А за спиной у меня был сам конвой, не сводивший с меня глаз, потому что «малолетки» все имели сроки до двух лет. А у меня было десять лет тюремных лагерных перспектив, вполне гарантированных; и именно мною конвой интересовался, и я ему успел намозолить глаза к тому дню, когда терпение мое, быстро иссякавшее, лопнуло. И я вдруг отошел от станка в обеденный перерыв, когда большая часть цеха затихала, и медленно, медленно побрел в запретную зону. Часть станков все же работала, и когда раздался выстрел, я

не отличил его, я увидел только, что ко мне сбегаются с разных сторон. И люди конвоя, и работающие: малолетки, еще какие-то, наверно, вольнонаемные из администрации цеха, привыкшие уже к зэкам. И спокойно остановился, не размахивая руками. Я понял, что жестами указывают мне путь назад из запретной зоны, в которую никто из них ступить не решался. Она была обозначена периметром расстановки станков. Я пошел назад, ко всему безразличный, и был встречен начальником конвоя, который, пистолетом размахивая, все примерялся разбить мне череп, но в последний момент передумывал и снова отводил руку наотмашь назад, как бы для более точного или более насыщенного инерцией удара. Потом он передумал; я расслышал, что он что-то кричал о «деревянном бушлате», то есть о гробе, и меня отвели к его, так сказать, кабинету – к кабинке из сварного котельного железа. Там я пробыл до конца дня, а на следующий день на этот маршрут меня уже не вывели. Так я породнился фамильно, я считаю, с Анатолием Стреляным, что работает сейчас на всю Россию, плохо слышащую его и плохо понимающую, – там, в Праге, в центре, где потом работало издательство, занимавшееся вопросами мира, социализма и чем-то еще таким... вроде социализма с человеческим лицом, а редактором был отец моей юной возлюбленной, как говорили в XIX веке, моей Марии. Это было уже в середине 70-х годов. Это легкий экскурс в сторону.

* * *

Нужно быть гением, чтобы рассказать занимательно, как мы изо дня в день голодали месяцами и годами (до наступления непредвиденных улучшений). Или как мерзли, или как задыхались в распаренных нашим дыханием бараках. Или как едешь в кузове грузовика в такой тесноте, что никак не переменишь позы, а сидеть приходится на отмерзающих ступнях, деревенеющих, – и это при том, что встряхивает и подбрасывает нас всех вместе наша дорога, беспощадная не то что к нам, но и к машине. Ни Солженицыну это не удалось, ни мне... Не стоит браться за будничные темы для гениев. Эта тема только для подъема престижа карательных орга-

нов: читайте и трепещите. Картины казни лучше удаются, но гениально путь на казнь описан только Ф.М. Достоевским. А современному читателю и Достоевский не по нраву у нас в России, да и на Западе теперь больше ценят «реальные комментарии» к массовым бедствиям. То есть не «психологические портреты» или образы из «потока сознания». Теперь впечатляются масштабностью захоронений и всякого остаточного инвентаря.

Мои знакомые, почти случайно (по молодости лет) избежавшие лагерей, при упоминании таких тем замуривались или придавали своим лицам гримасы обмороков. А ведь это были люди, в 14 писавшие листовки для гектографа. Двое из них, Поляков и Гершович, отсидели по три года и боялись темы этой гораздо меньше. Как и Р. Гольвидис, в которой я так любил ее заикания, спокойное лицо и светлые длинные волосы прибалтийки. Но уже никого не волнуют ни единичные судьбы, ни статистика миллионов. Вообще-то нас, равноправных, миллиарды. Многовато.

* * *

Однажды даже там мне случилось насытиться мясом, к тому же сырым. Я ведь был еще в бригаде грузчиков, так что довелось разгружать целый вагон мороженых туш, – телячьих, насколько я понимаю. И мы просто пальцами и ногтями отдирали кусочки (какие бывают надрублены) и прятали под одежду. Там это мясо отогревалось на груди, а придя в зону, я не стал раздумывать, где б вот так открыто сварить свою добычу, – ведь явно это мясо посчитают краденым. И я просто с удовольствием сжевал как есть и проглотил. В другом случае конвоир от скуки подстрелил пару ворон и отдал нам, а мы сварили с какой-то придорожной приправой. Была такая должность, институция в лагерях: хлеборезка. Туда брали самых крепких, сильных, – так узаконено было равномерное обложение всех остальных. И кто бы имел терпение оспаривать их поборы, будучи в вечном голоде.

* * *

Не забуду никогда и начальника конвоя, который приказал мне сесть с ним рядом, чтобы нам было удобно с ним обсуждать смысл жизни. Ты, дескать, небось, много учился и читал, что там в книгах пишут, в чем настоящий смысл жизни? Я целый концерт в стихах ему прочел (так он выразился), а потом я добавил: а пока смысл жизни – дожить до времени, когда корейской термоядерной войны не будет, – тогда мы поближе будем к смыслу жизни, а то нынешняя жизнь – одно сплошное затемнение из бессмыслиц, маскировка жизни. «Это понятно», – сказал он.

Подобные приключения провоцировал мой бригадир Валерий Валерьевич Копытин, – он любил о нас исторические анекдоты рассказывать даже начальникам конвоев. Поведет меня, бывало, и представит: «А вот глава челябинского правительства СССР». А конвоям было так скучно, что случались у них и самоубийства – это уже к нашему изумлению.

* * *

И когда мы выгрузились с конвоем, у пересылки появился кто-то рослый и офицерственным голосом скомандовал на приветствие: «А, прибыли, войско Хуйского!» – то есть он поделился с нами ве-селостью.

Было такое войско князя Скопина-Шуйского, было в знаменитое Смутное Время. Спасибо! Из города Скопина родом был один из нас. Но здесь было скопление не столько людей, сколько клопов. В камерах, уплотненных так, что негде пошевелиться, чтобы почестаться, я ожидал, что клопы растерзают меня, не дав мне самому поучаствовать в этом деле собственными ногтями.

По всей стране совершалось великое интернациональное кровосмешение народов; кровосмешение и свальный грех идеологий и психологий, подготовлявший современный безмарксовый ленинизм-большевизм.

Позднее, на всех просторах страны я так неизменно попадал в гнез-

довья клопов, что везде, стоило заснуть, виделась челябинская душегубка-пересылка, – продолжение классической советской казни клопами-кровниками, главной нашей скотиной, сбереженной народом даже во все годы массового забоя всякого поголовья. Дворян и священство почти все извели, а вот клопа не выдали большевикам:

*Не красна изба углами без икон,
Но зато красна клопами
Навроде звездочек с погон.*

Как ни тесно было в бараках пересылки, а и здесь шла борьба, но отнюдь не за выживание сильнейших, а только за подавление слабейших, т.е. не по Дарвину-Марксу. Полжизни я не мог свыкнуться с попранием детских предрассудков XIX – что «лежачего не бьют», а доносчику – первый кнут. Из лежачих, правда, мы в школе уже ненавидели одного-двух (Обломова и Головлева), но физически не били. Не принято было вообще наваливаться скопом на меньшинство, т.е. так по-большевистски перекрикивать и перетапывать как нардепы – Сахарова.

* * *

(Я – матери 22 апреля 1948 г.)

...но я в восторге от нововведения в школе логики и психологии с латинским еще языком... появились очень талантливые поэты – Вероника Тушнова, С. Гудзенко. Работаю целые дни под открытым небом, прихожу пронизанным ветром до мозга костей. Я радуюсь, что время проходит кое-как, но боюсь зимы. Верну тебе Мопассана и старые рваные полуботинки. Я комично пытался в них работать, в грязи. Нужны черные нитки с иглой и побольше шнурков и тесемок. А не можешь ли ты ночевать у тети Кати (подруга матери, Диомидова) поблизости, не идти такой усталой домой.

* * *

На станции Барашево (за Потьмой) в отделении для тяжелых психов однажды появилась женщина с исключительно зычным голосом. Когда на нее находило, она начинала кричать: «Прокурор,

блядь-блядь, ты мне всю игру изгадил! Прокурор, блядь-блядь, ты мне все карты спутал!»

И сейчас бабка ходит по асфальтированному двору, по гигантскому каменному мешку и кричит: « Степа-степа-степа!»

Каждый день зовет не то кота своего, не то еще какого-нибудь звериного внука – как в деревне созывала бы своих кур: «Ципа-ципа-ципа...»

Загнали народ в каменные мешки, что с него спрашивать? Он и кликушествует. А делать из него морального арбитра – это и есть дьяволиада; как Годунову у Николки просить: помолись за меня. Он тебя попросит: вели их резать – обидели бедного Николку.

* * *

(Я – матери, 1947г.?)

Но прежде всего я хочу напомнить свои просьбы: побольше газет, карандашей, книг, конвертов для писем, а главное – побольше писем от вас. Пирожки твои, мама, я ел с наслаждением, как всегда вспоминая то место из «Германии» Гейне, где он рассказывает, как приехал к матери и она его кормит гусем, апельсинами и еще чем-то, а притом трижды задает «вопросы о том, вопросы о сем, порою вопрос щекотливый». «Дитя мое, к какой стране ты чувствуешь предпочтенье – к французской или нашей?»...

* * *

(Я – матери 1946-49 гг.)

Твои рассуждения о стахановстве наивны. Подневольность труда и мое бесправие разве не исключают здесь всякий энтузиазм? И вечная угроза попасть еще на худшую работу – разве радость тому, что я еще не попал в худшее положение? Очень прошу на продуктовые передачи не тратиться, вместо хлеба купи себе и мне побольше тетрадей, раз и у тебя бумажный кризис. Жаль, что упорствуешь в нежелании передать мне Виндельбандта (с ним, возможно, были связаны споры с отцом, обиды на папу?). Зря, я ведь

всегда, в любой ошибке хотел быть лояльнейшим коммунистом. Виндельбандт никак не мог бы свести меня с пути истинного – в неокантианство я бы не попал. Года 3-4 назад я был настроен примерно кантиански – очень примитивно, но кантиански. Хотя еще не читал ни одной философской книжки и не знал научно-освоенной терминологии – мыслил больше образами, их наглядным движением (кинематикой). Я шел тогда от кантианства к солипсизму, к абсурду – и этот тип философии доморощенный, домашними средствами же преодолел.

... Опять слух об этапировании 58 ст. – ты видишь, как трудно теперь добиваться свидания? Прошу тебя не переоценивать пессимистических ноток письма. Благодарю за книги; Уэллс всегда внушал только отвращение, а Тынянова уже читал три года тому. Жаль, что не успел в «Интернациональной литературе» прочесть роман, кажется, «Норвежская весна»? – я оттуда по радио слышал отрывок. О'Генри, жаль, не успел дочитать: украли. Вокруг болеют, а я, сколько ни проделывал над собой экспериментов, от которых ты пришла бы в ужас, сколько бы ни пренебрегал осторожностью, – все равно здоров.

* * *

(Я – матери)

Эпоха наша глубоко трагична.

На крутизне неисходных дней

Обледенелый путь ведет все выше.

... Презираю себя за свой зверский аппетит, за пухлую анемичную физиономию. Чем больше ем, тем больше хочется: играет роль психологический голод, неуверенность в завтрашнем дне, будешь ли сыт завтра (мы уверены в обратном, что завтра будем голодны – и больше ни в чем).

* * *

(Я – сестре Норе, конец 1948 или начало 1949 г.)

Нам всем будет обидно и стыдно, если ты будешь учиться хуже нас. Ведь ты видишь уже, как хорошо уметь писать, хотя пишешь еще совсем безграмотно. А когда узнаешь еще больше, я смогу разговаривать с тобой как с совсем большой девочкой. Вот как только вернусь, проверю твои знания. Ты меня уже три года не видела, так что здесь я нарисовал тебе свой портрет. Вот такое у меня пятиугольное лицо (как гербовая звезда).

(Я – матери)

Прошу вас перед свиданием обдумывать, о чем будем говорить, чтобы не жалеть потом о плохо использованном времени.

* * *

Самое глубокое – впечатление проф. Гуковского от меня; в начале – мое сходство с Дм. Шостаковичем, которого он знал очень близко с 20-х гг. консерваторских. «Я рос. Меня, как Ганимеда», несли хотя и не орлы, но люди, склонные к полетам мысли. Или с волей Всевышнего дружные, как вдохновенный кудесник.

* * *

Марш по снежку на работку (знаете ли вы по-немецки?).

Зима, когда мне исполнилось 20, и т.д. Свежевыпавший снег скрежет под ногами, – у нас не так, как в теплых западных странах. Хотя бы даже ноги были обуты в деревянные «колодки» – негнущиеся, с полотняным верхом (на портянки). Кругом не гнутся, но гнусают. Как свежевыпавший снег: швы по швам, вши по швам. А что швами, с вами? вшами. Вы в тюрьме, в лагере? Вши ш вами, даже если вы на воле где-нибудь в глуши, всюду вши. Все шарят – вши по швам, большевики по карманам. Не все они были такие шмонатели. Но тех, кто брезговал моральной грязью, уже достреляли 10 лет назад. А с тех пор они будут помогать ото всех во вкусе Победоносикова: «Сделай мне красиво». Чтобы я мог

приучить сына говорить с гордостью «господа офицеры!» С тех пор как мы перестреляли офицере в 18-20 гг., 30 лет тому назад. Дело швах, было немецкое schwach – давно перешло в русский язык. Дело швах. Der Schnee ist schwach sie schreien. Sie wieder schwatzen: вши по швам. Solche Schweinerei!

* * *

(Я – Л. Бондаревскому)

Дорогой Лев! Однажды в студеную зимнюю пору 1952 года я из лесу ехал – был сильный мороз. И вдруг молодой начальник конвоя приказал мне сесть рядом с ним, – а на коленях у него лежал знаменитый автомат Калашникова – я, впрочем, до сих пор в этом не разбираюсь; я знал только, что и он грубо нарушает устав и порядки, и меня в это вовлекает.

Чего ради? – подумал я. Но он решительно прервал: – Вот ты, говорят, такой и такой (комплименты), – Скажи, ты знаешь, что такое жизнь? Весь разговор наш вряд ли можно воспринять в его симфонизме или, верней, полифонии – и я не буду все это рушить тебе на голову.

Мы оба могли иметь большие неприятности по его инициативе. И он, вероятно, давно жил в отчаянии. И это было мне не по нраву, ибо я привык уже, чтобы рискованные ситуации возникали по моей инициативе, никак не без нее, как на этот раз дело выглядело. Поэтому первыми стихами для ответа, пришедшими мне в голову, были четыре есенинские, то есть в те годы запретные строчки:

*Пожалуйста, голубчик, не лжись,
Пойми, мой друг, хоть самое простое,
Раз ты не знаешь, что такое жизнь,
Но знаешь ты, что жить на свете стоит!*

Последняя строчка перекидывает мост от Есенина к Бродскому, хотя они оба не будут горды от этой ассоциации. Итак, «пойми, мой друг, хоть самое простое...» Начнем с простого: о чьей жизни речь – о твоей или моей, вот – нашей?

И он ответил вдруг: – А разве не одно и то же? Не одна – жизнь – у тебя и у меня? Не сейчас и здесь... а как сказать, не знаю. Ну, жизнь, какой она была раньше и будет потом: разве такая она разная, как здесь сейчас?

Это я передаю приблизительно, но искажаю не по забывчивости, а потому что трудно передать этот разговор только словами. Тогда в речи играла вся ситуация – как в опере оркестр. Вокруг лес был прекрасен, как декорация, которую мог бы написать разве что Суриков.

По лесу извилистый санный путь (мы вывозили с лесоповала длинные стволы сосен), и сани всей бригады поочередно впереди появлялись в поле нашего зрения, и на этот раз я был настроен более суетно, чем этот неожиданный вопрошатель века сего.

Он продолжал разъяснять мне не то метафизический, не то экзистенциалистский (как можно было нам это определить позднее), не житейский характер вопросов своих, тогда как мои мысли все время прыгали по конкретным обстоятельствам: что делается вокруг? в моей бригаде, в остальном конвое, в лесу? Такая ясная погода к вечеру, и все как в стихах Эйхендорфа:

*Лес не дрогнет листом ни единым,
Деревья преданы сну.
И старец Бог идет по вершинам,
Озирая свою страну.*

Они мне запомнились как чудо из чтения за 10 лет до того. Потом этот разговор припоминался мне с ощущением, что некто свыше режиссирует в таких случаях.

Ничего особенного я, по моему мнению, не мог ему сказать, ничего мудрого на мой взгляд. Я говорил вслепую, не зная, как он меня понимает. В конце концов очень устал от роли пифии, и я прочел из «Маскарада» тираду (когда мой начальник настаивал: но ты же читал много – что же пишут о жизни умные люди?):

Что жизнь? Давно известная шарада

Для упражнения детей,

Где первое – рождение

... Где смерть – последнее,

А целое – обман!

Нехорошо я ему отвечал – это я чувствовал и тогда. Много потом бывало подобных разговоров, и был к ним я уже лучше подготовлен. Но тем глубже было мое разочарование теми разговорами, которыми встретили меня люди на свободе, с позволения сказать, на воле, как она у нас понималась.

То есть я-то и за заборами лагерей всегда считал, что снаружи живут рабы, а не среди нас. Но только в Челябине я понял все самодовольство этого холопства. Очевидно было, что здесь, за зоной, ничто важное и значительное не интересует никого. Здесь «наикраший птах е ковбаса», и не более того. А экзистенциальные или метафизические вопросы эти люди, в рабстве рожденные, не вычитают даже из книг. И хоть в этом они не виновны, но тем менее интересны. Да еще спрашивают при этом иногда: что ты подзреваешь под словами «смысл жизни?»

* * *

К тематике воспоминаний о середине века относятся еще мои поиски самых близких мне людей, разбросанных после освобождения из Потьмы (из Дубравлага) по родным местам; обнаружение в 1959 году Дебольского. Его (Диодора Дмитриевича) в Москве я нашел на Плющихе, в родном доме, – пробираясь через чрезвычайно пересеченную местность, за мостиком-мостком – за оврагом. Мы вспомнили наше знакомство, начавшееся в сентябре 1949 года, в бараке, где он получил место поблизости от меня. И когда я вошел в барак и приблизился к своему месту на нарах, я услышал сверху голос, вопрошавший: «Не знаете ли Вы, не скажете ли Вы – который сейчас час?» И я рассеянно ответил: «Полагаю, что около девяти...» Он вытащил пенсне, чтобы взглянуть в мое лицо. Я

удивил его ответом «я полагаю, что...», отвыкшего слышать нормальную литературную речь.

«... Полагаю», – сказал я и увидел, как наверху на нарах кто-то задвигался под одеялом, и этот кто-то с очень тонкими чертами типично интеллигентского лица, надевая пенсне, переспросил меня: «Как вы сказали? Полагаю?» Я ответил: «Ну, что ж тут такого – да, полагаю!» И он умиленно стал разглядывать меня, ведь кругом были люди, которые не прибегали к таким оборотам, все высказывали тоном глубокой уверенности в своих представлениях.

Он заговорил со мной о тысяче разных вещей, о книге, которую я получил от санврача, книге Шота Руставели в переводе Бальмонта в роскошном издании. Книгу эту дал мне странный доктор – санврач, все моргавший нервически с тех пор, как его чуть не расстреляли немцы над рвами Каменец-Подольской крепости, доктор Ровтенберг, наш счастливый обладатель единственной личной книжки, оставленной ему. Мы заговорили о Востоке, о восточной поэзии, Диодор Дмитриевич говорил о том, что это еще не самый глубокий и известный Восток – Средняя Азия. Он заговорил со мной сразу о глубоком и мудром Востоке, об Индии с ее брахманизмом, философией Упанишад, Веданты. И разговоры наши в конце концов перешли на мое будущее в качестве философа, о необходимости изучать немецкий язык хотя бы поглубже, хотя бы для получения доступа к Упанишадам и Веданте, в немецкой литературе представленным. И разговоры эти, петлявшие вокруг русской культуры начала века, захлестнули, задели внимание владыки Мануила – Виктора Викторовича Лемешевского, который позднее был соседом по нарам Диодору Дмитриевичу, навещаемому мной в соседней секции барака. Разговоры эти привели в конце концов к развитию иных моих знакомств, в частности знакомства с Петром Николаевичем Савицким, духовным наставником евразийцев того времени – с Гумилевым позднее и так далее...

Теперь на Плющихе Дебольский дал мне к ознакомлению книгу Шпенглера, о которой я давно был наслышан из цитат и ссылок на него, начиная для меня с хождения второго или третьего тома

«Хождения по мукам» А.Н. Толстого и далее через различные источники по истории литературы XX века. Я был привязан вниманием к Шпенглеру и, купив в то же зимнее посещение Москвы 59-го или 58-го года в комиссионке пишущую машинку, первую в моей жизни, овладевал техникой печатанья, одновременно конспектируя Шпенглера себе на будущее, на память. И каким бы наивным импрессионистом ни представлялся мне впоследствии Шпенглер, при перечитывании своих же собственных конспектов, я усваивал свое осторожное и критическое отношение к немецким импрессионистским традициям в культурологии, в истории культуры. На рубеже шестидесятых годов я преодолевал эту школу, потом читая Гердера и разных других авторов, вплоть до Тойнби XX века и Гумилева.

Я остался бесконечно благодарен Диодору Дмитриевичу Дебольскому и позднее через неделю найденному снова в Ленинграде Матвею Александровичу Гуковскому как первым своим учителям.

* * *

Начальство, обозвав меня «Всесветным Мозгокрутом», послало кататься с этапа на этап, почти по всем мужским лагпунктам, – и везде меня встречали как личность уже знаменитую.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

* * *

(из письма Л. Бондаревскому)

... Ты просил у меня анекдотов. Вот один, ключевой, вероятно рассказанный Гоголем. Он читал Пушкину что-то из своих повестей, привыкнув считать, что наборщики в типографии хохочут над его рукописями. Когда он дочитал, кажется, повесть о Федоре Шпоньке, он посмотрел на Пушкина, ожидая, когда же тот засмеется. А тот вместо этого вздохнул и сказал: «Боже, до чего печальна наша Россия!» Вот так же я вздыхаю над всеми воспоминаниями о Челябинске: «Боже, до чего уныло у нас в России!»

* * *

Освобождение принесло радость от простой возможности двигаться по городу, проходить большие расстояния среди совершенно чужих людей, не носящих на одежде личных номеров, принятых в Дубравлаге (мой № Ж-28); судя по этой нумерации, нас там было около 30 тысяч. У людей вокруг не было никаких «проблем», только мелкие заботы: где дают, как и где взять? Об остальном пусть начальство думает... или лошадь: у нее голова большая. Я чувствовал себя лошадью из «Четвертого путешествия Гулливера». Лошадью среди йеху. Внутренне я чувствовал себя свободней в Дубравлаге. Там очень мала свобода передвижения. И не было свободы в выборе работы. Но была малость времени для работы над собой: всегда можно было чему-нибудь и как-нибудь учиться. На воле учиться приходилось только самостоятельно. Правда, я стал студентом, то есть мое самообразование получило преподавательскую поддержку, да еще появилась возможность воспитывать

в себе понимание нового поколения, молодежи, для меня совершенно новой с ее песнями об электричестве:

Нам электричество любой заменит труд –

Не будет мам, не будет докторов.

Нажал на кнопку: чик-чирик –

И человек готов!

Сами мои однокурсники считали, что они – просто «нормальные», такие, какими люди были и будут всегда. Но это было вопиющей глупостью. За десяток лет подросло поколение удивительно рассеянное, изнеженное и апатичное. «Рассеянность» была в невнимании друг к другу. Дружба настоящая в новой моей среде наблюдалась крайне редко. Все непонятное вызывало отвращение: оно было не нашим – плохим. Это распространялось даже на знания, которыми нас питали-воспитывали как бы «с ложечки», мелкими дозами. На все неожиданное откликались злобно: «Не понимаю!»

Мои друзья, отбыв свои 5-летние сроки, попали на поселение в глушь Сибири и Казахстана, а настоящую «свободу» получили одновременно со мной, не досидевшим свои 10 лет по приговору. Верховный Суд РСФСР вдруг вспомнил, что за политические действия по малолетству мы вообще неподсудны. Таков был когда-то принятый и не отмененный, а просто забытый закон. Помнить – не обязанность, а только право нашей власти. Она вспоминает свободно – когда и что захочет. А помнить все зараз – это дело лошади: у нее голова большая, она может все. Такова свобода государства и народа, высмеянная и Марксом в «Критике Готской программы». А наша традиционная свобода – это произвол государства (или толпы) по отношению к личности, т.е. одиночке, тут тоже все переименовывалось.

Историки и вообще бюрократы умеют как-то мыслить без сослагательного наклонения, так что из этой безусловности и возникает вера в абсолютные истины как бы от Абсолютного Духа Гегеля и злоупотребления императивами – формами повелительного наклонения, категоричность безъюрного пафоса.

Я не историк и не бюрократ, поэтому меня занимает ситуация как раз гипотетическая: что если бы я пробыл в ГУЛАГе еще 40 лет, и вдруг:

*Я б вышел из таверны рано утром,
Над городом озлобленным и хитрым
Шли б только тучи, собранные ветром,
И загибались медленно в Ничто...
По улицам ходили б девы-девки,
Все одинаково полураздеты.
Ах, как мне было бы обидно,
Что столько лет я этого не видел
И не участвовал в обмене даже взглядом...
А чертенята спереди и сзади
Вели себя меж них как господа...
«Какие там девчонки, какие кабаки...
Лакеи носят вина, а воры носят фракки»*

* * *

Еще раньше моей реабилитации мама получила повестку: её извещали о реабилитации мужа 16 лет спустя после ареста – чуть ли не как у Дюма – «Двадцать лет спустя» – почти. Таково наше правосудие – беззастенчивое и расторопное. Суд скорый и справедливый остался далеким идеалом прошлых веков.

*Эх, товарищи коровы и быки,
До чего ж вас довели большевики, –*

писал полвека тому последний из сыновей Есенина Вольпин, в конце концов уехавший в Бостон. Во всяком случае, по части юмора отстали.

* * *

В разгар лета 1954 года, когда я понесся возвратно на восток, в Челябинск из Потьмы из Зубово-Полянского района, где милиция выдала мне новый паспорт, я видел за окнами поезда страну как

радостный сон, потому что за спиной я не чувствовал конвоя, хотя помнил о нем и постоянно оглядывался. Со мною в вагоне была девочка, одна из двух сестер, с которой я не мог расстаться, которую я не мог выпустить из рук как ошалелый. Было жарко, тесно и душно, и мы выскакивали при первой же возможности на площадку в тамбур. И так около двух суток, ибо это продолжалось и в Челябинске, где, побывав несколько часов в доме у матери, я снова сбежал к назначенному углу близ вокзала, где оставил обеих сестер. Ошалело начиналась жизнь на свободе, я испытывал свою способность ходить по городу, не натываясь на забор и колючую проволоку, хотя мне мерещилось, что в глубине улицы из марева возникнет колючая сетка и часовой – «вертухай». Ходил и оглядывался: где конвой? И снова искал взглядом впереди: не найду ли сослепу (я близорук) опять в запретную зону. Так я исходил километры, чтобы осязательно удостовериться в том, что свобода возможна и в советской стране, которой все кругом гордились и выглядели поэтому в моих глазах забавно. Может быть, они действительно свободны и мне надо быть деликатным по отношению к этим окружающим миллионам, не оскорбляя их попусту? Ведь они все-таки свершили немалое: они победили фашизм, сыграли, как могли, героические роли в этой победе, в значительной мере жертвенную роль, и вот их доставляли на бойню, и они шли с большой вероятностью погибнуть. И вот уцелевшая часть, непогибшая, теперь принимала и несла с собой трофеи победы, трофеи войны, которыми могла гордиться, но еще каким-то образом даже пыталась прокормиться и обустроиться на отвоеванных и защищенных территориях. Однако успели они попасть в тупик – приходилось обустроиваться в основном разработкой новых видов вооружений – ракетных и атомных, и уже в этом преуспели. Когда-то в своей организации из трех человек я промолчал по поводу необходимости развивать производство атомного оружия, про себя ужаснувшись тем, каких расходов потребует это производство и сама подготовка к нему (инфраструктура, как теперь говорят), то есть создание условий, в которых можно было бы начинать производство атомного, а потом и водородного оружия.

Могут спросить, как я мог оценивать масштабы той дороговизны, тех расходов, которые грозят стране? Да очень просто: достаточно было представить себе, насколько трудоемко было извлечение урана и прочих радиоактивных элементов из руд, их экстракция и концентрация. То, что было безумно дорого в лабораторных условиях, не могло быть в промышленных условиях существенно экономичней. Мы знали, что радий дороже платины, а золота – тем более. И об этом говорил когда-то Маяковский – гораздо раньше, чем можно было подумать всерьез о таком оружии, уже все мы слышали эти строки: «Поэзия – это добыча радия, грамм добычи – год труда», – это было на слуху каждого нашего школьника. А теперь радий не радий, а еще более дорогие элементы, более трудоемкие работы по добыче урана, тория и тому подобных материалов трансурановых требовались для нужд разрушения, ибо в то время ни о чем, кроме разрушения, нельзя было говорить в связи с целями этих производств: радиоактивных материалов.

В этих перспективах мы и встречали конец сорок пятого года в канун наших арестов.

Теперь на свободе, зная, что эта цель – создание термоядерной и атомной бомбы – достигнута вот этими несчастными полуголыми людьми, можно было испытывать перед ними на этой условной свободе лишь неловкое чувство умиления, растроганности, доходящей до легкой смешливости. Смешновато было смотреть, как гордые и убогие люди противопоставили себя остальному миру. Будучи лишь одной шестой частью его, поверхности Земли, принадлежащей этому государству, и лишь одной восемнадцатой или одной двадцатой частью человечества по численности наших душ. В том числе наших мертвых душ. Это было величественно и убого. И надо было на этой сцене, сцене, о которой говорят: «Родину не выбирают, народ не выбирают»; на этой сцене надо было вести себя хотя бы деликатно и не прикасаться к душевным ранам окружающих людей, всего населения. Не говорить, что мы окажемся наверняка неправы, если доведем свое противостояние до противостолкновения во всем мировом масштабе, в своих заста-

рельных и уже надоевших, на самом деле уже не упоминавшихся, расчетах на мировую революцию.

И вот теперь спутник, который сияет и прославляет мать его КПСС, и еще раньше в сложившейся песне на джазовые мотивы, на маршевые мотивы, известные тогда всем, проходившим военное учение в бывших учебных заведениях, на воинских сборах и военных играх, где вдруг прорывалась совершенно неожиданная, казалось бы, ирония по поводу наших геополитических видов. Геополитическая ирония, которой не знал даже Жириновский. Ирония добрежневской эпохи, ирония по отношению к Хрущеву и ко всей нашей всероссийской военщине. Да, пели маршевую песню:

*Шагом, братцы, шагом
По долинам, рощам и оврагам,
Мы дойдем до города Чикаги
Через реки, рощи и овраги.
Господа из этих самых Штатов
Пусть боятся наших автоматов.
Шагом, братцы, шагом
По долинам, рекам и оврагам.*

Или песня, в которой лирический герой оказывается даже шпионом в компании таких же, пересекавших Советскую границу:

*Мы идем дорогой очень узкой,
КГБ нас не поймать,
Хер Антоньо, как это по-русски?
Так твоя мать!*

Или что там еще было? А!

*Ракета трансконтинентальная
Лети в Америку, лети,
Многоступенчатая дальняя,
Ах, мать-ети!*

Мое погружение из окружения стариков, с которыми я наскоро,

торопливо и черство только что простился, выходя из лагеря, погружение в среду преимущественно девушек под сенью того состояния, которое приравнивало прелесть моих сокурсниц в институте к прелести прустовских героинь романа «Под сенью девушек в цвету». Примерно такие же, как Андре и Альбертина, были девочки, с которыми я как бы за парту снова сел, и несколько молодых людей, юношей, которые тоже почему-то выбрали малоперспективную профессию преподавателей русской литературы и русского языка и вообще филологию, науку неопределенную. Все они просто любили читать и сравнительно много читали; то есть мало увлекались спортом, как правило. И это определило их ориентацию. Не испытывали никакой тяги ни к медицине, ни к точным наукам: к химии или математике. На математическом факультете чуть ли не преобладали юноши, а здесь была чисто женская среда. И мои рассказы из прочитанного когда-то производили очень сильное впечатление на них; хотя бы потому, что мы прежде всего не учебные занятия начали, а полевые работы, совершая в каждую осень как бы диалектологическую экскурсию в глубины Челябинской области, на юг Урала, в зону, которая когда-то называлась землей войска казачьего – Уральского казачьего войска, на границы открывшихся год-два тому назад целинных земель, лежавших уже дальше на восток, в Казахстане.

И вот на станции Погудино, с которой утром нас повезли в деревню, мы заночевали без сна – мы просидели разговаривая. Деревня Погудино была населена, на первый взгляд, странным образом исключительно немцами, переведенными сюда во время войны из Поволжья. Немцами, среди которых не было взрослых мужчин, были только мальчики – и ни одного русского. Население этой деревеньки приводило своим нищенским видом в крайнее смущение девочек нашего курса (все русское население давно уже сбегало куда-то).

Я очень быстро превратился для сотни студентов в своего рода акына или рапсода. Я пересказывал сюжеты той классики, которой всем предстояло заниматься уже аналитически, а не читательски. Я рассказывал сюжеты, фабулы романов, трагедий, поэм, и меня

слушали с разинутыми ртами. Через сутки мне пришлось объясниться: когда я успел так много прочесть, как им казалось. Я мог бы уклониться от прямого объяснения, не сказать ничего о моем возрасте, я выглядел совсем юным. Но я признался, к смущению всех, что отбыл почти девять лет за колючей проволокой. Все что-то слышали о подобных людях, и тут я увидел еще через сутки раскол в своем девичьем окружении. Одна часть, примерно половина, решили просто не придавать никакого значения моему прошлому, а остальные стали постоянно проявлять бдительность, отчужденность, дистанцированность. Но они дистанцировались на многие месяцы, пока не привыкли, пока не размагнитилось их классовое чутье, воспитанное в среде привилегированной, советской, образованной, бюрократической.

Эта часть воспоминаний – лишь материал для того фона, на котором я должен рассказать, как протекала моя студенческая жизнь во второй половине пятидесятых годов, точнее, к тысяча девятьсот пятьдесят шестому году, когда произошло так много важных событий, прервавших мою обычную концентрированность на исторической грамматике, которую так занятно было изучать, на старославянском языке, диалектологии и английском языке, к которому я теперь перешел от немецкого, и прочему и прочему.

В один прекрасный вечер в Публичной библиотеке я зачитывался статьей Александра Блока о Катилине, когда в огромном зале вдруг прогремели особенно тяжелые, бесцеремонные шаги: с грохотом кто-то топал по залу, и у меня сразу возникло ощущение, что пришли за мной. Идут меня забирать на глазах у всего зала. Я не смел поднять лица, я продлевал секунды свободы, ожидая, что это те сапоги, о которых поет Окуджава: «Вы слышите, грохочут сапоги?» – вот так они и грохотали. И вдруг остановились у меня за спиной. Я считал секунды, стояло молчание. Окружающие старались не смотреть в сторону происходящего – это было принято по великой традиции в России. Никто не будет протестовать, никто даже не будет об этом рассказывать за пределами очень узкого семейного круга. А скорее всего и в семье никто не заикнется, не посмеет.

Но это был не арест. Это меня разыскивали только что прибывшие в город позже меня мои школьные друзья-однодельцы: Юра Ченчик и Женя Бондарев, Гений Бондарев, как его назвал отец. Они протопали, едва прибыв в город, в Публичную библиотеку и застали меня над Катилиной – над проблемой катилинизма и большевизма, совершенно четко проступавшей в рассуждениях Александра Блока.

Наконец они, кажется, решились тронуть меня за плечо, и я с гримасой такого заостренного презрительного упорства встал и обернулся к ним так, что они опешили. А потом мы обнялись. И пошли по городу в сторону того же городка НКВД; напротив простирался парк, который, наверно, и сейчас называется Алым Полем, где на одном углу была Первая образцовая школа им. Энгельса, наша школа. Я там учился во втором классе и потом десятый кончал. А в другом углу стояла знаменитая на Урале скульптура Орленок, пластическое представление песенного образа Гражданской войны: «Орленок, Орленок, взлети выше солнца...»

И вот мы снова вместе, и фактически организация наша тотчас же воссоздалась. Шли размышления, не столько друг с другом, сколько над книгами, глотаемыми в эти ближайшие два года – с 54-го по весну 56-го. Размышления о судьбах нашей культуры. Не о том, кто в политике был правее, левее, справедливее, симпатичнее – Бог с ними! И Бог им судья или дьявол – не до них в конце концов! Не до Ленина и Колчака, а вот каково-то нашей культуре? Каково-то в наших представлениях, в нашей памяти Пушкину или Петру Великому? И о поэтах, и об артистах начала XX века, судьбы которых вдруг резко переломились, как хворост о колено, – в 14-ом, 17-ом и 21-ом годах, когда народ впал в массовую одержимость и столько поэтов, например, погибло. А у кого из нас в юности не было самосознания поэта и переживания своей интимной близости к нашим поэтам, у кого в России? Во Франции, Германии, даже в Америке – это частное дело, бизнес среди слабых и явно неспособных делать миллионы денег. А в России – демоны, не черные демоны, не дьяволы, а светские, так сказать, духи, непричастные ни Богу, ни са-

тане, – демоны-поэты, общением с которыми живет наша русская молодежь.

Итак, весной 56-го мы вдруг встрепенулись, когда прошел XX съезд партии со знаменитым докладом Хрущева. И хотя мне не положено было присутствовать на комсомольских собраниях, на которых зачитывали тексты съезда, текст всего доклада я узнал тотчас же по слухам, получил массу информации, гораздо больше информации, чем те, кто выслушал внимательно «от и до», от начала и до конца содержание этого документа. Для меня уже в этом тексте не было ничего особенно внезапного – я давно имел то представление о Сталине и о нашей верхушке, которое вдруг развернул перед глазами страны – сам дорогой Никита Сергеевич. Я не строил иллюзий о Сталине, но и не имел к нему личных претензий. Ибо мой отец погиб, конечно, не по указанию Политбюро и Сталина, а как жертва массового мероприятия с участием всего народа; как, скажем, родственного массовому жертвоприношению поклонников Сталина на Трубной площади – вроде москвичей, участников торжества на Ходынке в 1896-ом. Типичнейшие карикатуры не демократического, но народного волеизъявления.

Гуляния на коронации и на похоронах – самые яркие проявления ментальности того активного слоя населения, который обычно зовется у нас народом. Это не все население, это не дети, маленькие мальчишки, и не старики и не все хозяйственно активное население – а это те, из кого активность рвется наружу, хлещет через край, и кто тем самым фиксирует на себе внимание. Это те, кто неизменно ходит голосовать, а раньше, по праздникам, – на демонстрации ходили и развлекались самосозерцанием толпы, вместе с толпой созерцали себя празднующими что-то, неважно что.

Все лето прожито было в лихорадке наблюдения того, как партия-правительство (они назывались через дефис) изумляются своему грязному и преступному прошлому, которое теперь они пытались смыть с себя на голову одного Сталина и Берии, еще ранее расстрелянного.

Вскоре после окончания каникул вернулись из Москвы молодые преподаватели института, устроили конференцию, на которой, по видимому, между собой затеяли турнир по поводу воззрений на советскую литературу и историю советской литературы и по поводу того, как ее теперь преподавать в высшей школе. Следует ли продолжать культ Горького, тоже своего рода культ личности? Или культ Фадеева, только что застрелившегося, с его романом «Молодая гвардия» – продолжать его или надо несколько расширить представления о русской литературе не только советской эпохи, но всего XX века, а может быть, даже и конца XIX века? Может быть, надо больше внимания уделять Достоевскому, Блоку, еще каким-то поэтам начала века? И прочее, и прочее. Были такие среди наших преподавателей вольнодумцы, которые были подготовлены к принятию такого вот расширенного диапазона взглядов на нашу литературу и культуру, на ее вершину.

Только дай палец черту – и он отхватит всю руку, и начнется «руководство», к которому мы не подготовлены.

И препирательства перед большой аудиторией привели в замешательство моих однокурсниц и однокурсников, и уже не только наш третий курс, но и старшие даже филологи дергали меня в толпе, спрашивая: что? что? что ты об этом думаешь? Я завихрялся – тем более, что рядом стояла моя невеста, волнуемая заботой о том, как бы со мной ничего не случилось после надвигавшегося на меня выступления. Когда кончились выступления, преподаватели спросили вежливо студентов: не хотим ли и мы высказаться? Наступило смущение, но все лица обернулись ко мне, и я вдруг сорвался с места, взошел на кафедру и произнес речь, за которую я потом и был вытеснен из стационарного в заочное отделение нашего филологического факультета. Я сорвался совершенно неподготовленно, ну, как на лыжах понесся, набирая темп речи, хотя и куда-то под уклон. А в перспективе этого «уклона», как называли тогда, – в прямое обличение всей нашей истории XX века. Я заговорил что-то о том, что мало нам синодика, вроде написанного Герценом. Герцен перечислил когда-то жертвы литературные и общекультурные в царствование Николая I: Рылеев повешен и так

далее... Пушкин застрелен, Лермонтов застрелен, Полежаев, кто-то там еще-еще, Грибоедов погиб. И вот под уклон меня и понесло произносить то, что по тем временам казалось почти явным преступлением при произнесении публичном, на массу людей. Мало с нас еще более густых жертв, еще более тяжелых в 21-ом году, когда у нас не стало не только Блока и Гумилева, но еще и ряда других поэтов: кто покончил с собой, кто умер с голоду, как Хлебников, а кто-то вынужден был бежать за границу. Такие же жертвы мы понесли и в других областях культуры: от музыки и театра и до философии. Но что винить правительство и партию, в основном не они были виновны в происходившем, а то массовое народное движение, которое тогда же привело к созданию нашего государства. Но мало этого: мы пережили 37-й год, о котором достаточно сказал уже Н.С. Хрущев, то есть наше партийное руководство. И мы пережили нечто более тяжелое – программу изучения в высшей школе истории нашей литературы, составленную не наукой, а цензурой, которая выстригла из нашей памяти не только имена крупнейших поэтов или свела их места в нашем культурном сознании к минимуму. Мы очень мало знаем о Достоевском, одном из величайших писателей мировой литературы, очень ограниченно понимаем Блока, очень странно привыкли смотреть на Ахматову, хотя лирика ее юности была изумительной. Женщины наши в поэзии проявили себя как нигде и никто в других странах, великих культурах. Может быть, я здесь в этом и заблуждался и, наверно, даже не только в этом – не имел понятия еще о древнеяпонской литературе, в которой женщины играли долгое время едва ли не большую роль, чем мужчины, едва ли не большее место занимали в японской классике. Но оставим это.

Я стал говорить и о том, что много мы потеряли в своих контактах с литературным прошлым страны, и я кончил тем резюме, что мы оказались духовно ограблены, и в этом виноват не кто-то по злому умыслу, а виновата сама наша манера относиться к литературе как к служанке политического многословия. Мы создали из абстрактных понятий мифические какие-то образы якобы научных абстракций, и из интерпретаций классиков марксизма мы создали некое

языческое богословие. И все конкретные науки превратились у нас в служанок этого богословия. Жертвы, принесенные систематизации мировой культуры, обошлись нам необычайно дорого. Мы оказались ворами, обворовавшими себя, и грабителями, себя самих ограбившими и спрятавшими от самих себя все свои сокровища. Последнее поколение уже не знает, где собака зарыта и где зарыты наши сокровища и наша ответственность; в какой почве, в какую глубину запрятаны наши духовные ресурсы.

Речь эта привела зал в оцепенение. Потом (как писалось тогда) разразились бурные аплодисменты. Полемики же не последовало, никто не взял слова, самые осторожные, рассудительные и классово чуткие испугались, что их будут привлекать потом давать показания, и постарались представиться в нетях, отсутствующими. Все предпочли молчать – не делать сенсации. Мои однокурсники вдвоем-втроем продолжали вспоминать о происшедшем, они очень много сделали в это время для меня. Они выхлопотали мне место в общежитии, потому что дома у мамы жить мне давно было невыносимо – там было страшно тесно (с женатым братом, с ребенком его, недавно родившимся). Я скитался по приятелям, студентам и ночевал в общежитии, часто нелегально. Девочки выхлопотали мне место. А еще через несколько месяцев я женился, снял комнату поблизости в маленькой избушке как бы на курьих ножках, стоявшей на месте намечавшейся огромной стройки. И никто меня не потащил в КГБ: наверно, не модно было и не хотели в КГБ слушать новые доносы. А мне просто только намекнули на целесообразность ухода на заочное отделение. Я перешел. Мне не нужно было теперь торопиться со сдачей экзаменов, я мог работать, зарабатывать и строить семью. Я ускользнул на этот раз колобком, укатившимся от бабки, и от дедки, и от лисы, и от всех волков, зверей и медведей.

Страх на меня нагоняли окружающие, плакавшие; и каждый день Люся, будущая моя жена, плакала в страхе, что меня должны опять «посадить». И моя мама плакала над извещением о реабилитации отца и над известиями о событиях венгерской революции. В обкоме Гронин, преподаватель политэкономии социализма, пожаловался

на то, что я на семинарах слишком активен и как бы саботирую занятия, злоупотребляя своим знанием классиков. Теперь я был уже начитан не только в Марксе и Энгельсе, чтение которых когда-то доставляло мне эстетическое удовольствие, в отличие от работ Ленина, которые я читал с большим трудом, преодолевая отвращение к его злобному пафосу, напоминавшему желчное сквернословие Ницше с нападками на Штрауса и других немецких философов XIX века. Ничего специфически российского в Ленине не было.

Однажды, накануне XXII съезда партии, т.е. в 1961 году осенью, я, отлучившись в Челябинск с юга области, накупил в киоске испаноязычных газет – с Фиделем Кастро и с огромными толпами полуголых, по нашим понятиям, кубинок, пляшущих и сверкающих ляжками. И привез эту кипу газет туда, в совхоз, где мы сидели в туристических палатках, изнывая от жары в ожидании уборочной страды, на которую были высланы туда к границе с Казахстаном.

Принес эти газеты и ушел бродить по окрестностям, и, вернувшись до заката, я увидел что-то страшное: нечто вроде митинга, стихийно возникшего, ибо среди сотрудников по информационно-научному бюро Совнархоза обнаружился человек, который знал испанский язык, и ему навязали комментирование изображенной в газете кубинской фиесты. Народная масса вынесла его на какую-то бочку из-под солярки – на трибуну. И он стоял, демонстрируя под ауканье и агуканье толпы крупные фотографии из кубинской газеты и зачитывая тексты, подписи под ними. Все это описывало не будничную жизнь Кубы, а фиесту, праздничный какой-то осенний разгул с плясками, песнями и полураздеваниями девиц на площадях. И все переспрашивали бедного моего Аветика. Он, оказавшись в Америке беженцем из комКитая, вернулся к отцу, вышедшему из ГУЛАГа на просторы родины широкой. И вот его заводила толпа, она вырыжала недоумение: как можно быть таким глупцом, – чтобы из Латинской Америки возвратиться в Россию, хотя бы и ради свидания с родным отцом, – в советскую Россию?

Через месяц начальник по редакторской моей работе вдруг необычайно помрачнел на целую неделю, за которой последовал XXII

съезд партии: он получил приказание придрататься в моей работе к какому-нибудь недостатку, чтобы меня уволить; а затем материал на меня будет передан в КГБ. И предполагалось, что мне предстоит арест за то, что я спровоцировал этот митинг.

* * *

В те времена вошло в моду праздничное облачение серьезных книг в веселые суперобложки, которыми я разукрасил в 62 году полученную в коммунальной квартире комнату. Я очень тщательно размещал эти кубистические листки под самыми различными наклонениями к горизонту, так что при желании моем они образовывали образы осеннего листопада, вертограда в бурю, ангелочерта офорта и прочих эсхатологических зрелищ. Все это усиливало дома и без того веселую обстановку послевоенной середины века. Антипартийная наша веселость выражалась в салонной игре с сочинением блеф-анекдотов о том, как мой сосед по квартире изображал мою манеру выражаться и поведение моих гостей, которые сходились на rendez-vous для занятия французским языком. Крупнейший специалист по Т. Мору И.Н. Осиновский упрямо rendez-vous произносил как рандецвоус. Коту-любимцу тоже приписывалось печатание на меня доносов на моей же машинке в течение всех моих отлучек из дому.

* * *

Матвей Александрович Гуковский, знакомя со мной, говорил: «Вот мы сидели за слова, а этот за дело. Задумал создать организацию – за это и сидел. Но это уже – задумать что-нибудь – это уже дело». Вот так он шутил. Это звучало острой шуткой по тем временам; сейчас уже выветрилось это – нет такого острого запаха по тем временам всеобщего страха.

Вот пример того, как я знакомился с людьми. Впоследствии у Гуковского я встретил Льва Николаевича Гумилева, автора очень многих книг на евразийскую тему. И в этой части эти книги преодолевали предрассудок о том, что у степных народов не было своей культуры,

своей истории, что они были дикие или варварские. Гумилев очень хорошо использовал эту тему для того, чтобы изжить наивные представления о степных народах: о казахах, их предках и предках татар, монголов, вплоть до гуннов. Он доказывал, что мы по гроб жизни обязаны протомонголам изобретением себе штанов, а коням – седел. И поскольку эти предрассудки сложились еще в Средние века в Западной Европе, они, конечно, были ненаучны в наше время. Но наука в значительной степени им следовала. Гумилев в этой части своей научной работы был очень прогрессивен и разумен. Между нами были отношения, дружеские в той мере, в какой это возможно при разности в возрасте в 15 лет. Есть какие-то сложности, которые мешают фамильярности в таких отношениях.

А остальные мои учителя и воспитатели были еще старше его намного, как, например, Петр Николаевич Савицкий, к которому, кстати, Гумилев ездил в гости в Прагу, где наслышался обо мне от Савицкого. Сначала полшутя я говаривал Гумилеву, что все мы чем-нибудь обязаны всем. Восточным славянам мы обязаны матерщиной и деревянным зодчеством и чем-то еще. Но больше всего радости для современного человечества в том, что нашлись когда-то какие-то эллины и загнали каких-то илотов в пески и болота, чтобы коз пасли и молоком да мясом кормили спартиатов. А теперь вот по той же стратегеме российские дворяне загоняли мужика в кусты и буераки, а потом большевики загоняли и казака и кулака на Урал и даже дальше. Но большая польза от этого была только самим эллинам, а не римлянам, польза была и возрожденческой Европе тысячи лет спустя. Патриоты наши этого терпеть не могут, потому что приучили себя рифмовать Европу с попой, а это уже опасно.

А потом пошли валом книги Гумилева. Но в этих книгах много было совершенно вздорного, что придумал сам Гумилев уже в глубокой старости. Когда я с ним встречался в 50–60-ых годах, мне было чрезвычайно интересно и лестно, что он ко мне хорошо относится, и я даже тогда удивлялся: почему ко мне относятся с таким пониманием и доверием? Был Револют Иванович Пименов, когда-то высланный из Ленинграда в город Сыктывкар за свою

политическую деятельность, – теперь не сажали в тюрьму, а выслали в глухие города, в места не столь отдаленные. Он там провел полтора десятка лет. Когда началась перестройка, его освободили. А.Д. Сахаров, который был его другом, поддержал в избирательной компании в Верховный Совет, и его избрали депутатом...

Везде в России, где люди вообще живут лицом к Европе, по самим лицам (особенно женским) виден опыт самозащиты красотой, т.е. ясное понимание того, что красота – лучшая защита своего личного достоинства, почти гарантия безопасности женщины. Чем дальше отъезжаешь на восток, тем ясней становится, что спиной к Европе (лицом к востокам – в виду имея все, не считая Японии) у нас все труднее защитить вообще красоту, личное достоинство и жизнь.

Можно быть уверенным, что и для Достоевского Россия и Красота были сестрами, синонимами, словами, трудно различимыми по смыслу, если говорить не о человеческих типах и нравах, а о красоте пространства в целом, о пейзаже, каким среди знаменитых художников располагал до нас только Брейгель. Мы все повседневностью воспитаны в том, во что раньше умел вглядеться впервые у себя в Нидерландах именно он, Брейгель. А наш Петр Великий сумел проникнуться особыми чувствами к Нидерландам.

Западной Европе с XIX в. немного недостает единства колорита, даваемого России устойчивостью ее снежных покровов и густотой туманов. На Западе больше солнца, т.е. колористически Запад веселее и пестрее, так что только у голландцев и фламандцев (от Брейгеля и Рембрандта) можно найти ту сдержанность красок, культуру колорита, какая у наших художников видна с конца XIX в. И эта красота страны поддерживает любовь к ней, несмотря на весь стыд, какой испытывать приходится за многие массы ее современных жителей, ничего не имеющих, кроме претензий представлять ее народ...

* * *

«Иван Денисович» взволновал моих друзей – снежновинцев и млад-

ших членов кружка Гершовича-Полякова (теперь он Воронель) и множество знакомых, вернувшихся почти одновременно со мной из лагерей, знакомых по 1945–46 годам. Я смотрел озадаченно – спросили бы меня. Пусть не так убедительно, но еще подробнее, обстоятельнее я рассказал бы им об этих мужиках, так щедро выручавших меня на самых мне непосильных работах – никогда им этого не забуду. Но что за потомство росло у них, что за дети... с чем за душой? Не инвалиды ли по воспитанию – эта спятившая от легкой жизни шпана (ширмачи, как говорили у нас в 30-ые годы. Из-за каких только ширм они теперь не выскакивают!).

Приношу извинения за лирические отступления от основной темы, – читателю пусть будет веселее видеть в авторе не просто педанта правозащиты, какими представляют теперь даже самых известных людей 60-ых годов, – мы будто бы наивно упирались в главный принцип А.С. Есенина-Вольпина: прежде всего заставить их соблюдать их собственные законы.

– Да плевать им на все законы, свои и чужие, это для них – чужой этикет, чужие церемонии (правопорядок), – возражал я. – Они сами себе законодатели. Дураку закон не писан.

– А это и неважно!

– Да так и вся наша жизнь пройдет в неважных церемониях – и у нас, не только у чиновников судебных ведомств.

– Что ж поделаешь, результаты будут. Что иначе жизнь не пройдет.

– Я бы предпочел ее отдать логическим своим штудиям.

Главным занятием у нас и были эти штудии, в месяцы моих пребываний у А.С.Есенина-Вольпина. Мне нужен был именно такой человек, математик-логик; а ему я нужен был в качестве живого слушателя, перед которым он мог бы устно развивать свои программы построений оснований математики. Хотя казалось мне часто, что он способен рассуждать вслух перед зеркалами или стенами. Магнитофонов тогда практически не было. Слушать устное изложение

гипотез и доказательств, переходившее часто в скачку идей, fuga idearum – нелегкая это работа – как из болота тащить бегемота усталости.

* * *

И начиналась эпоха подсознательного саботажа и всенародного сопротивления без бунтов, – оппозиция не ээков или новочеркасских сопротивленцев, – начиналось массовое противление трезвости и сытости, протест в форме пьянства, алкоголизма и абсурдистской болтовни. Протест не против власти и политических фигур, но избирательное сопротивление образу жизни, его укладу. Голосование против системы в целом.

* * *

– А кому же в руки перейти должны заводы и фабрики? – возражали мне добрые люди (не доносившие все-таки).

– А плевать, – отвечал я всем. – Плевать на эти железные капиталы, скопления военных ресурсов. Лишь бы не было войны.

*Когда же гром великий грянет
Над сворой псов и палачей... –*

не так ли поется? – Честные физики-фиглики вместе с лириками и офицерами подыщут себе подостойней занятия, потому что если завтра война, то уже парой Хиросим и Нагасак не отделаться.

*Если завтра война,
Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов!*

До пары бомб на Хиросиму и Нагасаки это именно у нас пели про славного пилота Кокинаки, что он

*... Полетит на Нагасаки
И покажет он Араки,
Где и как зимуют раки.*

* * *

Об атмосфере 50–60 годов нужно еще вписать пример наряду с сенсационной книгой Дудинцева «Не хлебом единым» – публикация в «Иностранной литературе» пьесы Ионеско «Носороги» со всеми ее подтекстами, значимыми в особенности для меня, отождествившего себя с фигурой человека, доведенного до того, что он срывает со стены ружье в намерении расстреливать в упор носорогов, в которых у него на глазах превращаются люди, даже самые близкие ему недавно. У нас были в то время еще радости от литературы – радости даже от самых мрачных книг. В частности, я еще поговорю о книге Грэма Грина «Тихий американец», но об этом в Четвертой главе. К 64 году у меня в руках оказывается доставленный из-за рубежа «Процесс» Кафки на английском, чтение которого приводит меня почти в мистический ужас ожидания еженощного прихода к моей постели тех самых людей или духов, которые у Кафки и в нашей жизни воплощают незримое и непостижимое судилище, которое вершит уже не одно десятилетие над многими поколениями, судилище, которому причастны все и вся и которое напоминает собой одновременно и политическую партию, какой при Кафке еще не было нигде и которая вскоре реализовалась и в России, и в Германии, и в Италии уже после смерти Кафки. Кафкианский суд – это некий судебный и несудебный эпидемический процесс, который развивается как бы внутри организма самой жертвы и в окружающей его среде. Вроде туберкулеза, рака или СПИДа, вершащего суд по непонятным обвинениям, вершащим суд над главным Героем с большой буквы, над каждым – Образ Судилища – болезнь общества, напоминающая внесудебную расправу с риторикой, оформляющей болезнь под судебное разбирательство в организме и обществе. И меня преследовало при чтении романа ощущение, что не мог сам Кафка написать это, а что это я своим опытом произвольно вписываю в кафкианский текст свой личный опыт.

* * *

Я жил тогда, в 50-ые годы, в радостях обнаружения новых и новых светов и прояснений; в сером советском небе проступали вдруг как

тучи, расщелины, пробоины, просветы, и они оказывались именами русских поэтесс: Цветаевой, Ахматовой – рядом с обличениями самого Хрущева в адрес Сталина. А это было очень кстати – увидеть, как большевичье, как это КПССье обнажает свое прошлое, задирает подола свои на своих задних частях, показывая физиономию Сталина. Как потом покажут Ленина в его конкретности и попробуют пошлость своего коллективного разума трансформировать в образ жестокости вождей, которые непонятным образом над хорошими, мудрыми, добрыми палачами оказались во главе и повели этих палачей к новым ошибкам, поражениям, просчетам и бог знает к чему еще. В необходимости умыться именем Сталина, смыть с себя всю грязь из выделяемого всеми порами своего дряхлеющего тела – многомиллионной партии – смыть с себя грязь именем Сталина, именем Берии, именем примкнувших к ним Шепиловых, Ворошиловых, Молотовых, как раньше Ягод, Ежовых. Как если бы эти имена не были псевдонимами общенародной близости, общенародной глупости и легкомыслия. Что такое народ, как не нация за вычетом ее элиты? Народ есть нация, за вычетом «элиты», за вычетом всякого уважения к своей исторической наследственности, к своей культурной, духовной верхушке – крыши, которая поехала у нас с чердака, возглавления общества, снято было, и на место этого возглавления водружен был некий шлем Мамбрина (бритвенный тазик), некий макет человеческой головы, мозга, лица в образе Сталина – конечно, не столь отвратной физиономии, как физиономия Гитлера, но все-таки одной из тех физиономий, которые в человеке второй половины XX века вызывали недоумение.

А теперь шли 60-е, и прекрасные мгновенья вспыхивали перед глазами образами из не одного Норберта Винера, но Станислава Лема, а вскоре и его последователей – братьев Стругацких. У нас была еще литература. Это происходило не каждый год. 56-й был насыщен особенно сильными политическими и литературными впечатлениями. А потом, пожалуй, пиком духовной жизни стареющей России был год 66-й, десять лет спустя.

Пора вернуться к 50–60 годам умирающего века, «где отправят нас

на похороны века, / кроме страха перед Дьяволом и Богом / существует что-то выше человека».

Время было – середина пятидесятых. По смерти великого, величайшего и так далее Сталина. Похоронили его, потоптав на Трубной площади массу людей, гораздо больше, чем за 57 лет до того потоптано было на Ходынской пустоши под Москвой. Расстреляли Берия. И поехали из перенаселенных городов европейской России молодые люди умалывать-уменьшать переуплотненность и перенаселенность людьми и клопами столичных городов, столичным городам давать разрядку – поднимать Целину с пеньем и гиканьем по главным железным дорогам страны. Вскоре через наши головы полетели баллистические ракеты в предудказанные квадраты акватории Тихого океана. А потом Хрущев и Булганин катались по Индии, там праздновали провозглашение ее независимости или еще суверенитета? Вслед за Белкой, Стрелкой и Гагариным полетели вокруг Земли разного рода спутники уже и не наши, не нашего Бога дети – американцы.

И трясло легкой дрожью Землю нашу разоблачение культа Сталина, то есть злодеяния Сталина. И все это без малейшего понимания того, что разоблачаются не скверный характер или патология, болезнь психическая в великом генсеке – разоблачаются легковерие и пустомыслие, недомыслие великой руководящей силы современного человечества, прославляемой еще совсем недавно красноречием Молотова-партии, которая якобы воплощает честь, совесть и что-то там еще в современном человечестве и особенно нашем народе. Недомыслие, пустосвятие и просто трусость этой партии и отсутствие в ней каких бы то ни было горизонтальных связей – одни сплошные перпендикуляры, восстанавливаемые ко всем точкам нашей земли и якобы сходящиеся в некоем фокусе. Ортогоналии – векторы односторонней направленности без обратной связи. Потом, сто с лишним лет после Тютчева, будут удивляться, что «умом Россию не понять». Не понять, да и все!

А ведь это в пятидесятых в фельетоне Семена Нариньяни отец спрашивает сына, почему он набезобразничал? А сын отвечал: по-

тому что перпендикуляр. Это была гениальная находка русского мальчика ему ответить за свои безобразия, за свое озорство и глупость, просто за лень. Почему? Потому что перпендикуляр! О нем уже у Достоевского говорилось – дай ему карту звездного неба, он вернет ее исправленной и дополненной.

А что значит русская идея, как не идея перпендикулярности правды по отношению к истине и ко всем очевидностям заодно? Народная правда перпендикулярна к барской аристократической истинности, она перпендикулярна, да и все! И русская идея могла быть понятой еще на сто лет с лишним раньше при внимательном чтении «Бориса Годунова». Из Пушкина можно было уже понять народную идею – не национальную, а народную, то есть кому попало угодную идею о перпендикулярности, когда ограниченный в своем воображении француз Маржерет в сцене под Кромами знаменитой комедии о Бесе Российского государства кричит: «Куда, куда? Пуркуа? Пуркуа?». На его «куа-куа» русский мужик отвечает: «Любо тебе, нехристь, на русского царевича квакать?»

Соборность (коллективность, во всяком случае, если не всякая соборность) представляет собой прежде всего готовность отречься от интимного и личного, от самого заветного, как говорили на Руси, – от заветных чувств, таких как нежность и ревность, и предаться сублимациям свального греха – коллективного единодушия, малодушия; предаться экзальтациям самолюбования, самообожания самозабвением, которое у нас начинается с забвения собственного Бога и Христа нашими христоносцами – ревнителями социальной справедливости, состоящей в том самом погружении в коллективность, единодушие, где нет уже мертвых душ, ибо нет обреченных конечных существ, а есть народ, воображающий себя застрахованным на бессмертие.

И снова почти точно в столетнюю годовщину смерти одного величайшего нашего поэта гибнет следующий из величайших наших поэтов, в 38 году, когда я был совсем еще маленьким мальчиком. В старых каких-то поэтических альманахах, кажется называвшихся «Чтец-декламатор», мне мельком встречался уже Мандельштам,

поражавший меня невероятно. Но я за свежестью его интонаций и его метафорически мыслимых ходов, не мог себе ответить окончательно: достойна ли наивысшего внимания его поэзия или она не столько историческая ценность, сколько памятник для необычайной одаренности именно этого человека? Так, примерно, я смотрел в то время и на Сельвинского, и на Пастернака даже, и на многое другое. Я еще был отрок, подросток, не более того. И только когда мне исполнилось что-то больше 20 лет – 22 примерно, 23, – мне Мандельштама подарили мои соузники в Потье, и прежде всего все тот же Матвей Александрович Гуковский, способный читать Мандельштама страницу за страницей на память *by heart*, как говорят англичане, *par coeur*, как говорят французы, – от сердца вычитывать на память строки Мандельштама – в частности, о его ревнивой нежности к Петербургу и нежной ревности к нему же:

*С миром державным я был лишь ребячески связан
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья...*

Прекрасные мгновения, которые вызывали у меня фаустианское желание их остановить навеки; прекрасное мгновенье, которым я был одариваем в течение всей своей жизни так часто – если бы я мог их остановить, как Фауст, как Гете, одним мановением, одним напряжением воли, если бы я был к тому компетентен, но – увы: остается писать этот вялый текст мемуаров, вспоминая по имени эти мгновения, перебирая их порою в длинновато запутанные имена.

Позади было выживание...

Мой научный шеф Сергей Августович Думлер подстрекнул меня пойти в аспирантуру, написать – пока не поздно – реферат. И вот я в Ленинграде, начитавшись литературы по кибернетике...

Инерции всей моей жизни возвращают мое внимание от дедекиндовых решеток – структур, по терминологии переводов из Бергофа, к интерпретациям этих структур, к лингвистическим и психологическим проблемам. Ход такого рода забот и загадок приводил меня к желанию отказаться не от аспирантуры, а от за-

щиты диссертации в конце. Ибо я понимал, что практического применения в России в ближайшее время моей идее, которая у меня намечалась, – практического применения не будет. В лучшем случае распространение этих идей в западной лингво-логической литературе мне ничего, кроме неприятностей, от подозрительных наших властей не сулит – можно ожидать обвинений в разглашении якобы государственной тайны в виде моих личных эвристик и находок или в виде разных спекуляций в логике, спекуляций, которые могут быть применены, конечно, и в практических приложениях при компьютеризации всякого рода коммуникаций.

Разумеется, каким будет интернет – об этом догадок не было у самого Винера тех времен. Была малость статей, рассказов, новелл Станислава Лема; в частности, после прочтения мной «Процесса» Кафки, для меня начинала существовать Центральная Европа славянского коренного населения с ее литературой. Передо мной обрисовался в 60-х годах Станислав Лем с его «Солярисом», прежде всего, и с циклом тогда же переведенных на русский язык рассказов, среди которых самым интересным оказалась «Формула Лимфатера». И вот таким Лимфатером, которому бы лучше затаиться, а не выступать с диссертациями, – почувствовал себя я сам к середине 60-х годов. На меня напала меланхолия.

Меланхолия находила на меня особенно каждую весну у нас в Петербурге, вероятно меланхолия, сопряженная с авитаминозом. За лето мы здесь отъедаемся, осенью мне хватало сил ехать в Москву, гулять по Москве целый месяц между библиотеками: фундаментальной библиотекой им. Волгина и т.д. и по квартирам моих знакомцев, имевших свою мемориальную, памятливыую укорененность в лагерях ГУЛАГа, как в детских своих садах, как в альма-матер своей юности. Москва была для меня лишь мрачным местом жительства в развитии моих дружеских отношений с Айхенвальдами, с Есениными-Вольпиными, Ириной Кристи и ее дальним родичем Гришей Подъяпольским и его семьей. Параллельно – со старыми моими потьменскими, дубравлаговскими друзьями, Диодором Дмитриевичем Дебольским на Плющихе – в необычайно живописном буераке посреди Москвы...

* * *

Лето и осень 63-го года, время моего побега из семейной жизни на свободу, с Урала в Петербург, Ленинград тогдашний, достойны особого рассказа – это кульминация счастья для меня в то время. Я попал, как с корабля на бал, на целую серию гастролей Пирейского греческого театра, французского «Вьё-Коломбье», американской балетной труппы Баланчина. Все эти праздники, роскошества античных трагедий – Медея Папатаnasiу и английский Стратфордский театр шекспировских «Комедий ошибок» и «Король Лира».

Осталось кое-что вспомнить об обстоятельствах 64-го года, когда произошло свержение Хрущева, через год после убийства Кеннеди; как можно заметить в этой связи между событием, происходящим в Америке, во всем мире и у нас, через год после убийства Кеннеди, прошло снятие Хрущева.

Затем весна 66-го, и после смерти Ахматовой я оказался в кольце молодежи, охранявшей гроб Анны Андреевны от напора огромной толпы, которая без нас, наверно, опрокинула бы гроб в своем стремлении приложиться устами к лицу отпеваемой.

* * *

«Кто Вы будете – островитянин?» – спросила меня предполагаемая теща при первой встрече. Ее впечатлило мое настойчивое игнорирование тогдашней моды или приличий – *comme il faut*. Я был совсем не комильфотен, но дело было не в обществе Толстого и Нехлюдова.

Мода – как слово «модерн» – подразумевает современность, но я был несвоевременен, и потому сказал: «Я постмодернист».

Я мог бы заявить в патентное бюро на это изобретение. – А что такое это... постмодерн? – Вот Пушкин завел себе журнал «Современник». А я ищу себе журнал «Несвоевременник». – Непушкин? Очень скромно. А почему Вы ухаживаете за моей дочерью, а не за мной? – За Вами? Я слишком стар уже. Прошли времена для

нас – когда мы молоды. – А моя дочь... – А я искал как раз такую оригиналку, для которой я резервировал свою юность.

* * *

У меня стратегия Растиньяка: в классовом (все еще) обществе побеждает тот, кто успевает наделать как можно больше разноад-ресных долгов: тогда особенно много заинтересованных в твоей платежеспособности, выживаемости. Вот и «поэт всегда должник вселенной» и т.д...

* * *

Одно из самых сильных впечатлений в моей жизни было возвращение мне целой коллекции моих бумаг после внезапного моего возвращения к обычной жизни в 54-ом году, после восьми с половиной лет без книг и возможности писать. Не только мать, сколько даже мой адвокат Ремез не без рисков для себя сберегли мне целые кипы моих бумаг и вернули мне эти сувениры. В эти бумаги заглянуть теперь со стороны – взглядом внука их автора; я как бы дважды уже умер – сам себя усыновил и увнучил.

* * *

(Я – матери)

В 54-ом г. у меня не было времени и выбора даже подумать, на каком свете я живу. Не дразни меня суждениями о Ленинграде – если бы я и поехал отсюда, то лишь в противоположную сторону... уж поддержки во мне веру, что Ленинград мне нужнее прочих городов Земли – лучше здесь сесть за ремонт кастрюль или на углу набивать набойки на дамские каблуки, чем создавать сложную технику в Перми и Нагасаки-Челябе. Пусть уж лучше Кокинаки полетит на Нагасаки и покажет там в Свердловске – как и где зимуют раки.

* * *

Стихи Глеба Горбовского – это вообще первое мое впечатление от

Петербурга. Я почему-то там понравился, и Глеб поймал меня прямо у памятника Екатерины II читать мне.

«В Петербурге жить – словно спать к гробу» (Мандельштам) – это сказано о моей жизни за последние 25 лет. Жил я в СПб, днем на стогнах и поприщах, но спать ложился в гроб, как бы его ни называли – комната общежития, угол у друзей или в своей «семье» – или просто на вокзальной скамье, когда это было возможно.

* * *

(Л.Бондаревский – мне)

Читаю Пастернака фактически впервые. Трудно хвалить Бога: не дотянуться до плеча, не похлопать. Если ты не обидишься, я хочу поделиться своими восхищениями по поводу твоего стиха, который я впервые прочел у Люси (Динабург), – не помню дословно, но о том, что

*...со словом слово мы сличаем,
И смыслы новые свежи.
Приди, внезапный смысл, случаен
И прост, и помыслы свежи.
Нечаянного смысла вами
Вдруг обретенные слова
Уже не кажутся словами,
Но откровеньем божества.*

* * *

В общежитии ЧГПИ, 1955 г., Левицкий. Зову его далее к Лине (Копыловой), он отказывается долго, отдаю ему деньги, сам ужинаю у Лины, а он идет в столовую. У Копыловой в гостях Фохт из Москвы с приятелем. К Левицкому пришел и разбудил его в три ночи. С утра 9-го я снова в распоряжении Левицкого: деньги, почта, столовая, редакция, корректорши. С Лидией М. Кутиковой чистим снег возле ее дома. Герта Виленская читала мои детские стихи – «Я проглотил живого пса тоски». Случившийся при этом Сорокин вспоминал, что Литкин тоже часто цитировал эти мои стишки.

12 ноября 1955 г. зверский мороз. Утром ездили на домну (ее строительство) – брать интервью. Герта потащила меня к Фохту. На занятие литературно-творческого кружка. Первая серьезная встреча с Люсей (Захаровой-Динабург).

Вечером С.А. Якушев затащил меня в ресторан «Заря» – пересказывать обиды на меня и даже на Освальда (Плебейского) – за долгое отсутствие, за «несмелость».

Два веселых практических: Режабек смущал Давыдову, называя ее Динабург. Поужинав, поехали на ЧМЗ, едва нашли доменный цех. Поднимались чуть ли не до колошника. Пытались прорваться в гастронорм около 12 часов, – у дверей пьяная женщина просила открыть ей бутылку: «Если вы хулиган, откройте, пожалуйста, ножом. Как жаль, что вы не хулиган». Испачкал в бетоне бостоновые брюки, каких, если верить маме, никогда не было у отца и у меня больше никогда не будет.

А.Л. рассказывает, как меня воспринимают его соседи-медики: он не сумасшедший? ты понимаешь все, что он говорит? Сколько у него слов, откуда он их берет? Он чокнулся – говорит стихами. Меня стали вызывать к доске – на каждом практическом. Давыдова демонстративно ковыряет в носу и что-то бормочет. Я от доски рукой в мелу показываю ей «длинный нос».

Час с Анелей Селивон, она завела меня в темный угол (ждала РЧ); тяготясь ее болтовней, разыгрывал одержимость идеей поцеловать ее. Катрин Сырцова. Смотрел «Красное и черное» с Жераром Филиппом и Даниель Даррё в кино «Родина».

* * *

(Лето 1955 г.)

Я всегда – с меньшинством. Это надо дать понять – навсегда. «Минерва» Т. Манна.

Едем в колхоз. – Где магазин? – Да вот, только его ночью обобрали, теперь закрыт. Рассказывают об эпидемии нелепых убийств и слу-

чайных смертей. Один повесился – хлеба не хватало. Ночью сосед ловил у нас сбежавшую жену – хотел убить, был с топором. Дожди, почти не работаем.

*О Сан-Луи, Лос-Анжелос,
Объединились в один колхоз.
Озеро Сарыкуль, голубые воды,
Где аборигены водят хороводы, –*

уральская Швейцария, село Жуликовка. Попойки. Знакомство с Валентиной Николаевной Копыловой. Лина (Копылова) рассказывает о Леве Бурачевском, переносившем памятник отца с кладбища на кладбище. Поход в Картобан. Лина рассказывает об Айхенвальдах. Весть о возвращении О. Ружевского.

* * *

(1956 г.)

С пятнадцатого марта под впечатлением «Закрытого письма». Город обсуждает политические новости – мутят лужи, выводят грязь на чистую воду. Самодовольство в восторге от своих речей на собраниях и конференциях, пересказывают их с лестничными исправлениями.

Наше объяснение 15 марта. Кружили возле кафе «Лето», хрустел подмерзающий и каждый день тающий снег. Над универмагом месяц как елочное украшение над новогодним базаром. Появлялись из-за поворота какие-нибудь фигуры парами и в одиночку, звенела стеклянная дверь кафе, кричал или пел пьяный голос.

Играя с жизнью в мячик – я очень бодрый мальчик. Полгорода понял, что «можно рассуждать» о высокой политике. Матери я старался напомнить, что с самого приезда старался уйти от политических дискуссий, – она уверяет: теперь можно. Спасибо: если можно, то и не нужно, не интересно, – значит – поздно.

В Публичке не налюбуюсь на томики, ожидающие меня – на англ. –

Хэзлитт, Байрон, де Квинси, Карлейль, Бёрк. Сон – маленькая Лю (Люся Динабург), кругом ходят котики, ее ботики.

Обсуждалось на комсомольском собрании мое водворение в общежитие. 28 марта мы с Л. Долиной и Т. Шерминой подыскивали мне комнату в общежитии.

5 апреля 1956 г. переехал в общежитие, – ночевал же там впервые только восьмого. У матери 4 апреля доклад по закрытому письму, и она вернулась домой потрясенная. Утром 6-го заговорила о горе страны, которое надо вместе забыть и переплакать. Чуть не оказалась в роли Тимашук.

Вживаюсь в нравы общежития; второй – женский – этаж. Девочки зовут друг друга Васьками и Ваньками.

После слухов о закрытом письме бьют отбой. Глупая подвальная статья «Правды»: «Почему культ личности чужд духу марксизма» (хотя кто мог знать, что такое этот культ?) Но не чужд его исторической плоти. Дух же – пресловутый призрак, вызываемый из священных могил для запугивания врагов и смущения правоверных.

* * *

31 июля 1956 г.: звонил Лине (Копыловой), узнал о женитьбе Фохта на Шудяковой. Люка (Динабург) позвонила известить о желании уехать к бабушке: что-то во мне поняла и должна что-то обдумать. Я запретил ей. Дамы, слышавшие разговор, обрушились с наставлениями: нельзя так переживать, Вас ненадолго хватит, если так, Вы же мужчина. Потом выяснилось, что она просто ревновала меня к Гале Б. Она была очень весела, когда звонила, и кончила тем, что передала трубку Гале, – а та вводила ее в театр – на какую-то лекцию. Вечером помчался к Плебейским. В десятом там сидел Женя Бондарев. Он поднял меня на высоту своего роста и тотчас спросил о Люке. Потом пришли обе девочки (Женя еще расспрашивал о Г.Б.), Люка была очень весела и лепетала о чем-то с Шабурниковой.

* * *

1956 г.

Дорога в колхоз. Мимо машина, груженная бочкотарой, ящиками, которые мечутся, прыгая на стоящую у кабины пару, – те отбиваются как от собак – ногами. Первые дни Плотников изливал мне душу – все о К. Приезжал Эдик (Поплавский) в наш колхоз «Взад-вперед». С прогулки увидели его в окне у девочек. Он дал джазовый концерт – после бурной встречи со мной – стал читать и петь Уайльда – «И было молчание в чертогах суда».

Козел, контролировавший пути девочек на умывание к озеру (я разгонял козла). Квартира Фохта и Копыловых – на другом конце деревни. Эдик в моем углу истошно орет арии. Я вожу его к девочкам в роли слепого певца – за подающим. Он, зажмурив глаза, спотыкаясь и сутулясь: «Переведи меня через майдан». Ему бросают в берет. Он поет, пока Люся Шокорева не лезет в подвал за бутылкой, которую он распивает тут же из горлышка. Игорь (Осиновский) явился прогуляться, ушли на конец поля, развели костер, пекли картошку, он жаловался на банальность Фохта, вспоминал что-то из Есенина. Намекал на то, что я не пойму. Он под впечатлением знакомства с Вергинским.

1956 г. (О поколении, духовно ограбленном). 16 ноября – мое выступление на студенческой конференции после доклада Шуваловой, на следующий день объяснялся с ней у нее дома. У меня в комнате появился новый сосед – чемпион в беге на стометровку – держится как чемпион в хватании звезд с неба.

24 ноября – радио сообщает о забастовке, которую пытался организовать Будапештский рабочий совет.

Плотников: «Некоторые твои предки, вероятно, происходили из Германии? Я нашел в одной книге, что они занимались благородным делом собаководства. Одну из знаменитейших породистых собак так и звали «Альфа фон Динабург».

20 декабря меня вызвали к директору (по поводу моих «отношений с женщинами» и по поводу «Не хлебом единым»).

3 января 1957 г. обсуждают прошлогодние события в Политехническом институте (Свердловском).

Саранцев поставил мне четверку. А что поставить ему за его лекции? Горчичники. Идут экзамены. Я просиживаю ночи в красном уголке. В конце января – опостылевшие мне попойки моих чемпионов.

24-го января в мединституте было партийное собрание, на котором сорвалось выступление матери.

30 января перед последним экзаменом, от самого порога, Люку вызвали к директору. Она стала героиней в своей группе.

Настала самая страшная и благородная болезнь. У меня оторвалась подметка, я без денег и без обуви.

1957 г. 9 июня ездил воровать Люке (Захаровой) чайные розы, вечером с той же целью пытался сколотить целые экспедиции. Занесли их даже еще Лине (Копыловой). 30 июля – гастроли театра Ермоловой, «Пушкин» Глобы, в главной роли – Якут.

Вторник 2 апреля 1957 г. Внезапно явился ко мне Освальд (Плебейский) с известием о работе у Эвниной. Я к Люке, затем в институт. В пятницу – 5 апреля – мы с Люкой ходили в ЗАГС, регистрация по поданным нами заявлениям назначена на 13 апреля.

Наброски замысла автобиографического романа (начинается на Московском вокзале в 1930 г. – в воспоминаниях к середине двадцатых годов). Пересечение судеб нескольких семей.

* * *

Начало июля 1958 г. В Челябинске – гастроли Ленинградского БДТ, – в помещении Оперы.

3 июля мы с Люсей на «Идиоте» со Смоктуновским.

В ночь на 9 июля читал «Фальшивомонетчиков» Жида, добытую Сережкой Шепелевым.

Июнь, месяц страшной жары, – под +40.

1958 г. – гастроли Куйбышевского театра.

* * *

5 августа 1958 г. – приходила И.Ф. (мама), 2 августа ездил к Эдику Поплавскому и Володе Бухману. 6-го приходил Коля Ваганов. Письмо от Нели Камчатской. 31-го Битюска вдруг стала собираться в поход, кажется, потребовала у меня карту Тянь-Шаня. С середины июля я дочитывал в читальнях Мережковского и Жида. Партия – рантье: живет не на доверие, а на проценты с доверия.

Сдал Маршукову политэкономия социализма – на отл. Молодой, совершенно незнакомый мне преподаватель из обкома.

Май 1958 г. Сдал Кошелевой экзамен по методике преподавания русского языка. В публичке у меня продолжалось знакомство с А. Блюмом. Остаток вечера – в читальне на ЧТЗ – за Мережковским – «Юлиан». Я себя чувствую тем же социальным типом.

* * *

По ночам тысячи мыслей проносятся как вечерние трамваи, – с их скоростью – и их грохотом в голове, сверкая огнями перед воображением, полупустые, – в их окнах чаще знакомые фигуры. Как поезда: обрывается цепочка одного экспресса – уже новый поезд с огненной...

* * *

В 1960 г. я обзавелся наконец своего рода четками в виде клавиатуры пишущей машинки – она позволяла не думать об идеографии отдельных графем, о своем почерке, об альтернативных начертаниях на низшем уровне. Действия на этих четках атомизировались.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Пусть вам советская власть приснится!

Просыпаюсь – здрасьте! – Нет советской власти!

* * *

Я проработал год в Политехническом институте на кафедре организации промышленного производства, затем год в институте НАТИ (автотракторном).

И я видел, что чем бы я ни занимался, какой бы успешной ни была моя работа где-нибудь – для меня есть «потолок» не в плане карьеры, но в расширении моей компетенции – что мне дальше идти некуда. Я упирался в какой-то тупик. Я понимал, что профессия становится инвалидностью, если в этой профессии нет перспектив личных (карьерных). Я стал редактором в издании журналов еще студентом, женился, и надо было зарабатывать – я ушел на заочное отделение, еще не закончив высшего образования, пошел работать корректором в редакцию технического журнала, совсем неожиданно. Там дело пошло так быстро, что меня в один день перевели с корректора в редакторы, и я года четыре пробыл на этой работе. Я понял, что до конца моих дней буду делать все время одну и ту же работу и она мне надоест, хотя я буду считаться как бы асом, мастером своего дела, виртуозом по работе с авторами статей.

Инженеры, кандидаты или доктора технических наук сочиняют диссертации, но они не писатели, и им надо помочь переработать то, что они написали, – текст, который будет особенно легко пониматься всеми. Это была моя профессия, и научный руководитель

этого журнала мне говорил: можно подумать, что вы знаете математическую логику – по тому, как вы разбираетесь в чужом тексте, в котором вы не специалист. Я отвечал: правильно, чисто логический анализ, при доверии автору в том, что, если он это пишет, так оно и обстоит; только он себе постоянно противоречит и мысли формулирует неточно, это видно даже некомпетентному редактору. Вот этим я и занимался. Но он говорит, что это просто без всяких перспектив в научной работе, только не в вопросах металлургии, а вообще в области математической логики.

Я написал на эту тему реферат и поступил в аспирантуру на кафедру логики в ЛГУ и там пробыл два с половиной года, заранее еще сдал вступительные экзамены, кандидатский минимум: по английскому языку, по истории логики. Я все это сдал, и мне срок в аспирантуре даже сократили, но приняли, и это была счастливейшая пора в моей жизни. Поскольку у меня появилось очень много свободного времени, а я получал при этом примерно сто рублей – это была хорошая зарплата, не очень большая, но на большее я особенно не рассчитывал, жить можно было, и можно было свободно заниматься всем по своему усмотрению. Я изучал вещи, которые мне нужны были для того, чтобы защитить диссертацию, то есть в основном занимался историей математики. Во всем остальном я ориентировался уже достаточно, а тут надо было в математике, физике кое-что дополнительно изучить. Потом я понял, когда началась аспирантура, что перспектива преподавания, скажем, логики мне не кажется интересной, по натуре я не преподаватель: это меня не увлекает. И кончилось тем, что я диссертацию защищать не стал. В аспирантуре я наконец мимоходом прояснил для себя логический аспект проблем диалектики. Начиная, по крайней мере, с Пьера Абеляра, навязывался воображению философов идеал дедуктивной системы, существенно продуктивной (творческой, сократической), идеал эвристической перебранки. После аспирантуры я опробовал такую перебранку в Политехническом институте Перми в лекциях студентам факультета автоматики и телемеханики на материале Герцена (ценимого Лениным: он-де дошел до диалектического материализма и остановился перед ним), Пру-

дона («Философия нищеты»), Маркса («Нищеты философии») и собственного взгляда на нищету физики.

* * *

(Герцен внес упоминание Перми в историю мировой культуры; если бы не он, кто бы заметил, что Пермь для чего-то существует – для чего, если не для упоминания о самом Герцене? Пермские студенты очень гордились этой темой, проходившей тонкой нитью сквозь мои лекции.)

Про «насильственную лозу» писал Пушкин в стихотворении «Деревня», наверное, под сильным влиянием Радищева. Там еще много про то, что «девы юные цветут для прихоти» какого-то владельца. Но долго раздумывать над этим ему было недосуг, и он добавил, что «вышел рано до звезды», мол, паситесь, всякие народы и т.д. Вопрос не в том, *зачем, к чему*, а в том, *как* «государство богатеет» и почему «не нужно золота ему, когда простой продукт имеет», а зачем присоединять к простому продукту абстрактный экстракт пота, крови и уныния и абстрактного времени и, наконец, как бедному Карлу Марксу абсорбировать время с инертными материальными сущностями, безначальными и все-таки измеримыми.

Я эти проблемы очень весело обыгрывал в своих пермских лекциях, очень весело наблюдая, что пробуждаю тем самым чувство юмора в части своей аудитории (в частности, в таких студентах, как Игорь Бяльский), при выражениях полной растерянности на лицах моих коллег по кафедре философии, приходивших специально разобраться, что в моих лекциях вызывает веселое оживление студентов. Особенно при моих упоминаниях марксовой «Нищеты философии» и прудоновской «Философии нищеты». А что было поделывать бедным философам, обреченным учитывать, что эту игру слов о нищете придумал как раз не я сам, а лично Карл Маркс, особенно учитывая, что эту игру слов они сами употребили в методичке к семинарским занятиям? Воспоминание об этом эпизоде меня веселит до сих пор.

Уже через два года после моего бегства из Перми в ленинградскую

ГБ прикатилась оттуда «телега» на меня, и мне пришлось целый день разворачивать уже здесь тексты этой «телеги», изъясняя здешним офицерам соответствующие каламбуры Карла Маркса. А новые мои слушатели ухмылялись и переводили разговор на Сталина, подсовывая какую-то свежую книжонку о нем. Шел 71-й год. Мне пришлось объяснять, что, в отличие от Хрущева и ЦК, я ничего на Сталина не сваливаю, потому что с детских ногтей приучен считать, что поражения терпят не полководцы, а народы или армии. Что даже кутузовыми командуют именно армии, а не наоборот, и казнят людей не вожди, а массы и классы. А вожди только бумажки подписывают соответствующие одобрительные. Насколько я понял, мои собеседники решили, что связываться будет утомительно унылой тратой времени, так сказать, мало продуктивной и, следовательно, время свое (не мое) будет продуктивней потратить на что-то другое. Для этого тебе достаточно только деликатно оппонировать к уже состоявшемуся между нами обмену мнениями. Пусть эти игры будут полезительны и вашему здоровью.

В Перми я проработал несколько зим, на лето я приезжал сюда, домой. Там мне очень надоело – другая как бы страна, милые люди, но преподавательская работа была не по мне.

И вот я уже в совершенно иной ленинградской жизни, стою у гроба Анны Андреевны Ахматовой, и мы скрестили наши локти – я и Гена Алексеев – мой друг и поэт, имя которого мне бы сейчас хотелось воскресить его стихами. Мы удерживаем огромную толпу в Никольском соборе, рвущуюся к телу великой поэтессы, и слушаем шумную разборку, которую затеял с фотокорреспондентами, бес тактно готовыми использовать последнюю возможность фотографировать лицо покойницы, Лев Николаевич Гумилев, путь которому был очищен благоговением окружающих, по крайней мере той интеллигенции, которая всегда робела при имени Николая Степановича Гумилева, отца нашего историка и смутьяна-буяна.

* * *

От гроба Анны Андреевны Ахматовой мы вышли в тот день на яр-

кий свет из Никольского собора, и Геннадий Иванович Алексеев, Гена, протянул мне ключи от своей квартиры, услышав от меня объяснение, как чувствую я себя: я был весь в поту. Я был очень тепло одет, вне собора я сразу же продрог. Я поехал на квартиру Гены, хозяйки не было, я увидел на столе свежий номер «Иностранной литературы» с публикациями драмы Сартра, какой-то «Дьявол и Господь Бог»; и, укрывшись чем попало, я прилег с журналом и зачитался. Терпения у меня не хватало читать всю риторику Сартра и немецкого романтизма в деталях и нюансах. Я пробегал глазами страницы, перелистывал их, читал дальше, и постепенно на меня наплывала лихорадка – сильная простуда, вероятно воспаление легких. Две недели я проболел. Кончался март, у меня в общезнании приятель, биолог Тыну Сойдла, передал мне просьбу некоего Фохта-Лебедева перевести какой-то французский текст на русский.

Тогда состоялась моя первая встреча с Галей Старовойтовой, как я уже описал ее в одном из своих интервью (см. журнал «Посев», №1 за 1999 г.). Будущая Галина Васильевна Старовойтова, тогда существо сухое, корректное, очень печальное. Мы долго слушали тогда музыку очаровавшего меня Ксенакиса и не обменялись почти ни единым словом. Попрощались.

Через пару месяцев на день рождения близкого знакомого явилась стайка девушек, которых я бы назвал ватагой, полонившей Пруста на пляже в Бальбеке. Девушки, среди которых я одну уже недавно видел в образе прекрасной скорбящей дамы, готовящейся ко вдовству, предводительницы девичьей ватаги. Разговор наш быстро перескочил на предстоящий мне отъезд куда-то по пермскому моему новому адресу.

Начались всякие истории, и в конце концов через несколько лет она вышла замуж и наши пути разошлись, мы оказались как бы в глубокой ссоре. Но через полдесяток лет она почувствовала себя как бы очень неловко, и ей все это было неприятно, она как бы помирилась со мной. И когда, наконец, я познакомился с Леной, Галя просто с самого начала устраивала наши дела. Мы поселились сна-

чала в квартире у Галиной младшей сестры и были окружены всякими содействиями и заботами.

Раз уж мы касаемся Лены, то я хочу вставить в качестве курьезной вставки, что я с Леной познакомился в знаменательные для меня дни – 6 февраля 78-го года в день рождения моего отца, день почитания Святой Блаженной Ксении Петербургской, единственной интересной в православии святой. Среди всех ее коллег одни сплошные зеваки и скучальницы, одно сплошное пыхтение, а наша Ксения с утра до вечера всем окружающим устраивала хеппенинги да приключения в весьма долгоиграющих сюжетах. Такую, как Алена, я искал себе жену почти 50 лет кряду, находил только слегка похожих на египетскую и греческую пластику, например, фигурки пловчих и танцовщиц. А в Лене не заметил сначала, что она, очевидно, занималась в детстве в кружке акробатов. Заметно было только, что ей бы пойти по искусству мимов, что налицо у нее все задатки к тому. И вот наконец эта пантомимическая фигурка попала мне (как говорят теперь «живьем») в начале 78-го года. Это уже не просто дерево или мрамор, не пловчиха, подающая притирание фараонессе, это жена живьем.

Ее (Г. Старовойтовой) незаурядность? Да, и в те дни она была заметна, но, пожалуй, более всего проявлялась в том, что она сама себя воспитывала, а не ждала воспитания от кого-то. Из-за этой озабоченности самовоспитанием она выглядела такой всегда серьезной, что мне постоянно хотелось ее смешить. А в те годы что было бы смешнее господствовавшей у нас идеологии, с ее злобной и опасной наивностью? Чем опасной? Да скользкой перспективой, ведущей к ядерной войне. Особенно при самодовольной преданности народа властям. «Народ и партия едины!» – сколько наивного самолюбования было в этом.

Итак, ее серьезность пробуждала во мне юмор, т.е. попытки ее смешить. Белыми ночами 66 г. мы с ней пересекали весь город (совсем безлюдный). Я припоминал песни 30-х годов вроде «Много славных девчат в коллективе» или «У самовара я и моя Маша», или «Когда б имел золотые горы... Все отдал бы за ласковые взоры»,

или «Кирпичики» в разных вариантах. Как она хохотала – этим воспоминанием я ни с кем не хочу делиться.

Она тоже пыталась меня смешить и рассказывала, как 10 лет тому назад (после XX съезда) сильнейшие люди выбрасывали в мусоропровод сочинения Сталина, а она, Галя, пробовала мешать такому вандализму. Но вообще-то мы за политикой не гонялись, это она лаяла на нас из всех подворотен и подворовывала у нас наше внимание и время. Я имею в виду провокационный тон газет и радио, – как было не чувствовать его, как бы ни защищались от пошлой пропаганды художественной литературой и научными интересами.

Историки не владеют сослагательным наклонением, потому что отлучены от логики и филологии своей специализацией. А история, при которой историки – только «сопровождающие ее лица», экспертиза-прислуга, – очень хорошо владеет и сослагательным наклонением, и разными исчислениями вероятностей. Главная же специализация историков определяется не факультетом, а познанием того, что не удастся вычитать из документов и археологических материалов. А история нас обступает плотней, чем политика: совершенно аполитичный добряк по горло вовлечен в историческую ответственность каждый день.

* * *

В конце 1966 года я отправился в Пермь с адресом одного из знакомых моих приятелей, то есть с адресом, по которому мне предстояло на несколько дней остановиться в Перми. И ночью я с большим трудом выгрузил несколько тяжелых чемоданов с книгами на пермский перрон. Сдав чемоданы на хранение, я стал пережидать несколько предутренних часов на вокзале, где набрел на книжный киоск и с удивлением увидел толстый томик научной фантастики под заголовком «Эллинский секрет». Так назывался один из рассказов, среди которых в книге этой я задержался вниманием, нечаянно почти, на повести каких-то братьев Стругацких. «Улитка на склоне» называлась она, и эпиграф в начале страницы уже удивил меня.

Я что-то слышал о Стругацких, но теперь я увидел, что они имеют дерзость цитировать японское древнее стихотворение: «Тише, тише ползи ты по склону Фудзи, улитка». И первые же страницы меня очаровали виртуозным языком.

Я читал и перечитывал «Улитку на склоне» сначала как лирическую игрушку, в которой реализовалась еще неизвестная мне поэтическая стихия народного языка, приведенного в хаотическое состояние. Языка мужиков, одичавших в глубинах Леса, но сохранивших еще какую-то абстрактную поэтику русской речи, унаследованную, как потом я понял ее вполне, когда познакомился с Андреем Платоновым, поэтику речи более глубокую, чем в риторике Есенина и его современников. Поэтику подлинной простонародной речи мужиков, о которых потом подробно.

Братьям Стругацким впору было стать моими новыми философами в третьем поколении.

Год был, наверное, очень интересный, мы переживали тогда литературный бум вокруг публикаций в журнале «Байкал» и некоторых других таких изданий замечательнейших вещей, как булгаковский «Мастер и Маргарита», – как литературную новинку. Сейчас только напомню о появлении новых вещей братьев Стругацких (продолжение «Улитки на склоне», «Второго марсианского нашествия» и хождение в самиздате «Гадких лебедей»). Первое отвлечение – в 67-ом была предложенная журналистом А.Н. Алексеевым работа по перепечатке статей академика А.Д. Сахарова на политические темы, только что попавших в самиздат.

Волнения проходили и вокруг начавшегося в 67-ом году скандала вокруг имен Синявского и Даниэля. Даниэля я мимолетно знал, познакомился с ним еще в 63-ом году в доме Айхенвальдов – с ним и с его женой, будущей героиней диссидентского движения, Ларисой Богораз. Тем временем прокатилась и Пражская весна. И бедная моя мама, попавшая на следующий год в Прагу, увидела дикую для нее форму протеста пражской молодежи. Когда ее поезд из Праги отбывал в Дрезден, молодые люди, гулявшие по перрону,

дружно выстроились перед уходящим поездом лицом к вагонам, где сидели советские туристы, и помочились на эти вагоны в знак своего глубокого презрения к этим советским гостям, явившимся теперь не в танках, а в самых своих нелепых нарядах. Но это происходило уже в 69-ом году, когда я снова, гуляя в Ленинграде с интереснейшим поэтом Витей Кривулиным, знакомился с широким кругом студентов филологического факультета, потенциальных невест на выданье, – ибо кому-то по рассеянности проговорился о том, что мне нужно немедленно жениться хотя бы на какой-нибудь Мессалине, это я хорошо помню (помню – сказал это молодому тогда, совсем юному Ширали), и фраза эта была подхвачена. Меня повезли знакомиться с ленинградскими мессалинами и девочками на выданье.

В результате в конце августа под пение переложенного на какой-то старинный мотив гимна «Ты спросишь, кто велит, чтоб август стал велик», я женился формально второй раз в жизни. И началась драматическая короткая история, кончившаяся для меня бездомной, скитальческой жизнью почти бомжеских зим 70–71 годов.

Скитания 70-го года, проживание на далекой окраине города, без работы, проживание на гроши у милых тогдашних знакомых Лукницких, скитания начала семидесятых годов, в которых я не видел никаких для себя ясных перспектив, пока не наткнулся в ту же зиму на уже старинного друга Революта Ивановича Пименова, который помог мне во многом – просто предоставив весной угол в своей квартире в одной комнате с семилетним тогда его сыном Револютом.

Я был в Москве, весной для психологической разрядки уехал в отпуск к московским друзьям, вернулся, поработал на совсем нелепой случайной работе библиографом математики в библиотеке Академии наук. И что дальше? Дальше там же, к осени, я, разведенный весной, снова пускаюсь в брачную авантюру, к следующему году я стал 8 декабря отцом моего единственного ребенка, моей Насти.

Впрочем, я все еще воспринимал сквозь состояние полной оглушенности. Весной 71 года умер Матвей Александрович Гуковский, которого, впрочем, я в последние годы его жизни видел в очень тяжелом состоянии с расстроенной речью после инсульта, постигшего его весной 67 года, когда в очередной раз по университету прошли аресты студенческо-преподавательской «организации», характера которой никто и не подозревал, организации сугубых ретроградов по своим политическим убеждениям, реставраторов христианской России по своему главному умыслу, своего рода христианских демократов: Иванова и других. Но знавший о характере арестов, Матвей Александрович от ночного звонка в дверь, когда ему принесли просто телеграмму, был взволнован настолько, что испытал инсульт. А дальше – обострение нефрологическое, которое привело его к смерти, 73-летнего. Это была смерть моего почти приемного отца, человека, к которому в последние 60-ые годы я навещался с великолепной собакой, дратхааром, почти с красной шерстью с сединой. Я брал ее у приятельницы выгуливать по городу с расчетом хоть как-то развлечь экспромтом больного моего учителя.

Осталось к тому, что я говорил раньше о литературных открытиях, добавить еще кое-что о понимании, восприятии мира «массаракш» у братьев Стругацких в «Обитаемом острове». Обо всем их по сути фантастико-социологическом наследии, о созданной ими системе модели социального развития, оформляемой в жанре научно-космической фантастики. Но об этом разговор должен быть более продуманным, он во мне еще не вызрел.

* * *

*Но, благо в нем обретши навсегда,
Скажу про все, что видел в этой чаще.
(Данте)*

Если окажется, что потусторонние миры так просты, как виделось Данте (во сне? Он говорит: «Настолько сон меня опутал ложью...») или Мухамеду, а также всем их предшественникам по

трансцендентальным усмотрениям бытия, транспространственным (запространственным и трансвременным) – если и там мышление сохранит свой исконно-диалогический строй, я первым долгом вспомню (расскажу и на том свете) о том водостоке на Васильевском острове, который посрамлял предерзость Маяковского. «Ноктюрн на флейтах водосточных труб» я слушал несколько лет еженощно. А исполнять ноктюрн здесь могли погоды, такова уж была акустика двора-колодца в старинные четыре этажа. Если бы строитель думал об акустике этих стен, то оказался бы гением. Но вряд ли думал. Вероятно, ко двору примыкали кухни и комнатухи прислуги. Двор был плохим вентилятором, но фантастически звучным резонатором. Ах, позвольте мне о нем напомнить вам потом, даже если моя книга вам понравится настолько, что вы захотите сверить мой рассказ с обстоятельствами и пойдёте к Румянцевскому саду (к монументу, подсказавшему И. Бродскому оду «Румянцева победам»). Если далее подниметесь на четвертый этаж и позвоните, то нынешняя хозяйка не сможет показать тот двор: часть здания, отстоящую от наших окон метра на три, на четыре, – снесли тому лет пять. Музыка у нас не щадят. Теперь ко двору примыкали не кухни, а довольно просторные комнаты. Нельзя теперь вычитывать историю из ее архитектурной сценографии. «Мой городок игрушечный сожгли, /И в прошлое мне больше нет лазейки» – это Ахматова.

Но воспоминание о самом звучном (по моему убеждению) дворе Петербурга – это только ближайшее воспоминание на том свете. Углубляясь к самым стойким и своеобразным переживаниям от пребывания на этой планете, я буду Там пытаться передать свои чувства к луне, испытанные в детстве, и к жене – в последние годы. «Каков он был – о как произнесу, – тот детский мир, огромный и грозящий, чей дальний образ в памяти несущ?»

Поскольку сценография современности рушит все архитектурные и социальные ориентиры, мне будет трудно рассказать даже о том, как я в детстве засматривался на луну, а в отрочестве восхищался переводами из английских сонетов конца XVI века: «Луна, несущая среди ветвей лампаду, / Ночного сумрака наследница и дочь»

и «О как печально ты на небосвод / Восходишь, месяц тихий, бледноликий» (два предшественника Шекспира). А в преклонные годы я буду любить ту же очарованность луной в сопливом соседском мальчике Валечке Гусеве, который в наши ночные бдения настойчиво призывал меня к созерцанию луны: он указывал в небо пальцем и твердил единственное слово, которым уже овладел: «Уна». Сейчас у меня кот – чистюля Буремглой, энтузиаст ночных созерцаний, приходящий в бешенство, когда его забираешь с балкона – над тихим двором.

* * *

Теперь о появлении Алены-Лены. Она была похожа на ту нищенку-монашку (она, конечно, будет это сейчас оспаривать), в балладе о короле Кафетуа, которую так любили прерафаэлиты. И прибыв сюда, она очаровалась прежде всего легкостью города-повесы, как бы повисшего на магнитных подвесках (по замыслу Свифта), смотри его «Третье путешествие». По ее подсказке, за которой она не находила сама слов, я уяснил себе собственное впечатление, что самое общее преимущество перед всеми Парижами наш город имеет в характере оттененности и переменчивости освещения. У нас нигде не бывает грубых световых пятен и темных красок. И все время чувствуешь себя в глубоко прозрачной нише между небом и землей. По недовольству своему удачам Пушкина и Мандельштама я начал писать то, что назвал «Археологией Петербурга», но это много позже. А сначала у меня был только эпитафия: «И ты сюда, на этот гордый гроб, / Приходишь кудри рассыпать и плакать».

Так что без Лены я бы ничего и не начинал. Алена-Лена приходила к концу моего рабочего дня, и мы шли куда-нибудь ужинать в первые два месяца: седой старик и нищенка-монашка – все тарасили глаза. Дальнейшее потом.

* * *

Я прошу друзей передать Гаррику (Элинсону) немногие мои новости – они касаются моей дочери, так растрогавшей его своей

сдержанностью в проявлении чувств. Она едва ли не более всех занята творчеством Гаррика, поскольку в нем хорошо представлен «мотив коня», а кони сейчас – предмет всяческих увлечений Стаси: она даже заучила с моих слов много стихов Гаррикова антагониста Гены Алексеева и алексеевского антагониста А.С. Пушкина. Пока ее любимые стихи – из «Медного всадника» (и она спрашивает меня часто: «Да, папа, где же он все же опустит копыта?» – «Едва ли не в твоей комнате». – «Хорошо бы», – отвечает. Об одном моем приятеле она спросила: – «Он сильный?» – «Да». – «Тогда он оторвет мне Медного всадника от скалы. А расскажи мне, что он делал, когда он был живой?»

Я думаю, мне не удастся модернизировать ее вкусы в пользу поэта, за которым будущее: «Пусть будет лучше пляшущий конь, / Пляшущий конь веселый!» (Г. Алексеев).

(Я – матери, конец 1975г.)

Стася (дочь): «Боюсь, что этот арбуз упадет со стола...» – «Почему?» – «Он круглый. Ты его смирно поставил?» (Потом переспрашивает: «Ты его спокойно поставил?»).

* * *

Разговор этот я подслушал, вернувшись поздно вечером домой. Настя скандировала в глубине квартиры: «Пусть-только-паппа-придет!» – «Ничего с твоим папой не случится», – возражала бабка. – «А почему не случится?» – «А потому что он железный». – «Как корыто, да?»

Дочь бранится: «Слон – гад!» – «Гадами змей зовут, дочка. У слона же только в хоботе есть что-то от змей». – «Знаю! – кричит. – А почему тебя гидом ругают? Слоник – гад, а папка – гид. И я невольно начинаю хохотать и подыгрывать: «А Жюль – Гэд, а Робин – Гуд!» «А это стё такое?» – говорит она шепелявя и на всякий случай старается выразить презрение. «А это значит, что скоро все слова нашего великого языка станут ругательствами: и гад, и гид, и Робин Гуд».

* * *

Население Петербурга, каким мне его довелось застать в середине века, вероятно, по контрасту с его архитектурной мимикой и пантомимикой, производило самое безотрадное впечатление (мысль – вот она, безблагодатность). Вероятно, ни один город мира не подвергался в последние века такой жестокой негативной селекции, удалением из города всего для него специфического, – не только его прерогатив столицы многонационального государства, но отбору той части населения, в которой более двухсот лет культивировались специфические петербургские вкусы.

* * *

Теперь даже моя нелепая фамилия, нечто вроде шарады или каламбура, обретала в городе особую жизнь, образотворческую жизнь каламбура. – Динозавра не видали? – кричал через Невский добрейший по тем временам великан Костя Кузьминский. И как бы тотчас увидев меня, кричал с другой стороны проспекта: «Динозаврик!»

Другие Динабурга подменяли Демиургом – и только что сочиненные Кривулиным стихи, которые я стал энергично пропагандировать, вызвали множество недоумений: – Какой это еще Петька Демиург? И какая связь между Динабургом и сооружением Петербурга из воздуха и табака?

*Что если Петька Демиург
Из воздуха и табака
Соорудит внезапно Петербург,
Чтобы чесать бока.*

* * *

Достоевский в старости и вещей своей тоске подобрал для типично провинциального места своей драмы название – город Скотопригоньевск. Уже задолго до революции 17-го года сама столица

стала превращаться в нечто, достойное этого названия, – едва ли не с воцарения Александра III.

* * *

«Автопортрет внутри эпохи».

Мой возврат в ленинградский Петербург произошел к самому началу скандала вокруг И. Бродского, т.е. вокруг очередного государственного остервенения на поэта, к возрождению типичнейшей расейской традиции делать из поэта мученика. Как будто поэтам недостаточно еще той скуки, которой расейская общественная жизнь заполняет сравнительно мирные времена (пушкинский «серебряный век» и «мельхиоровые» эпизоды-паузы в некрасовские времена). Мне, кажется, остался одинокий выход – поставить памятник нам всем, любезным (друг другу) навроде памятника Екатерине Великой в окружении ее фаворитов и порученцев. Стоит такой в виде огромного колокола тысячелетия России: вверху бабушка Екатерина, внизу по ободку всякие Ломоносовы, Потемкины, подружка Катя Дашкова и тому подобные. Внизу у памятника прогуливается бомонд из гомосексов (не путать с генсеками). На скамеечке сидим мы с Глебом Горбовским, читающим свои стихи 63 года¹:

*Боюсь скуки, боюсь скуки!
Я от скуки могу убить,
Я от скуки податливей суки.
Бомбу в руки – буду бомбить...*

*Сначала вымерли бизоны
По берегам бизоньей зоны...*

¹ Если Глеб теперь не хочет слышать своих ранних стихов, он вправе от них отречься, как бы мне их приписав, – это будет вполне в духе нынешней моды – отречься от ямба и хоря в пользу скучного бормотания, проговаривания поддельного «потока сознания» русского рока. Такова общая судьба советского литераторства: усомнившись в себе – молодом, уходить в старческую «бормотуху» – в графоманские игры, описанные еще ранним Синявским.

*Когда же умер Человек,
На землю выпал чистый снег*

Легкость в рифмах у него необычайная, думал я. Впрочем, он и меня нашел как-то особенно легко, как будто я одет в какой-то карнавальный костюм – опасно ходить так нараспашку!

* * *

Мои непосредственные восприятия Петербурга в 69-ом году были так остро-печальны, что привели меня к возобновлению опытов в стихах. Архитектурная цитация в застройке Петербурга, вся его реминисцентная семиотика подсказывает попытку центонного стихосложения. Последние восемь строчек были тесны:

*Империи высокая гробница
Пожатье каменной его десницы
И снова видятся те сны
Которым лучше б в смертном сне присниться
Что солнце умерло за алым морем злоб
Вновь над Россией сумерки и слякоть
И ты сюда на этот гордый гроб
Приходишь кудри рассыпать и плакать*

Волосы и впрямь были у меня не только очень густые, но еще и длинные, что позволить себе мог только человек либо очень смелый, либо тупо упрямый. Приходилось терпеть бесконечные вразумления, которым я бы уступил (чтобы не терять время), но я внезапно обнаружил, что мое упорство позволяет мне диагностировать меру завистливости в окружающих. Вряд ли в чем-нибудь другом кто-нибудь мог мне завидовать. Но соотечественник наш почти бесспорочен во всем, кроме зависти, – а этот грех самый опасный, по крайней мере у нас, потому что только завистник способен так находчиво (изобретательно) обманывать себя и чернить того, кому завидует. Проследите хотя бы, как наше «общественное мнение» высматривает во всем мире нашего «национального врага». США завидует, видите ли, авторитету наших правительств и обширности наших абсолютно недоиспользованных возможностей (как бы

оставленных про запас), как если бы отсроченное потребление может длиться веками. Были в конце XVIII века возможности пробыться за проливы в Эгейское море, но упущены хотя бы потому, что водоплавающий транспорт (сырьевой в особенности) быстро теряет свое значение (которое так велико было 200 лет тому назад).

И значение петербургского порта (т.е. градообразующего фактора, генетического начала) не менее того понизилось. Если бы наши большевики хоть что-нибудь смыслили в эстетике, они бы сразу сровняли с землей весь центр СПб, хотя бы под предлогом потребности в расширении угодий для трудящихся алкоголиков. Эту перспективу предвидел Г. Гейне, и я его процитировал в сочинении на аттестат зрелости. Цитирование такое в школьной тетрадке мне, к счастью, зачли на следствии тем, что отвели вопрос о помещении моем не в исправительно-трудовой лагерь, а в психиатрический изолятор (вероятно, в казанский). За это я очень благодарен смышленным гэбистам; потому что когда мне действительно захотелось понаблюдать людей с поврежденной психикой, я таковых нашел в достаточном количестве отличных образцов. И 10-летний срок заключения составил мне изрядный академический отпуск в казенных учебных заведениях в свободный вечерний университет Потьмы-Барашева в сердце России вблизи Саранска, между Суздалем и Сызранью, в центре России в зоне сыкающих топонимов вроде Серов, Сарапуль, Саратов и т.п. – где об «эс» говорят: буква «сы».

Центоны сочинять далее я застеснялся: я не хотел заявлять себя последовательным снобом. Это было опасно, раз я дошел уже до самолюбования своими кудрями-локонами – я тут же устыдился. К тому же я из месяца в месяц знакомился (и сдружился) с поэтами, такими как Г. Горбовский, Л.Н. Гумилев, тогда весьма ценивший себя как поэта, Ю. Айхенвальд, Г. Алексеев и В. Кривулин, с которым свела меня Галя Старовойтова. Верлибры достойны в России только у Пушкина, М. Кузмина и Г. Алексеева. Уже И.С. Тургенев в верлибрах был всего лишь снобом, как в ямбах графоманом, – хотя и гением в «Записках охотника».

Но главное, последующие мои впечатления от Петербурга-Ленинграда стали как бы прозаичнее. Наш город, понял я, прямой аналог летающего города-острова Блефуску. Великий современник Петра Великого, Дж. Свифт, очевидно, предчувствовал блефовый характер «мифов», которые будут сочинять завистники СПб, – начиная с пророчества «Быть Петербургу пусту». Ведь и античные мифы стали вскоре разрабатываться на сюжетах анекдотических сплетен по поводу придворных (дворцовых) нравов. В Афинах сочиняли о жизни Кносса (гордясь Дедалом и Тезеем), в Фивах и Аргосе в свою очередь сплетничали о Спарте и Трое, а на Крите похвалялись делами с Финикией.

* * *

С первых уроков грамматики я был ошеломлен определением: предложением называется выражение законченной мысли. Что такое «законченная мысль»? Ее закончить – это прервать императивом – побуждением к действию (хотя бы к тому, чтобы эту мысль зафиксировать в отдельных словах и буквах). Встречалась ли она мне когда-либо? В годы занятия логикой я предположил бы: это мысль, ничего не имплицитующая? Не возбуждающая вопросов, сомнений?

Мне понадобились многие годы для того, чтобы понять, что законченной мыслью я согласен называть только такую, которая формулируется в четко императивной форме.

* * *

И когда я устаю, единственное у меня желание – чтобы мне никто не заглядывал беспрерывно ни в ноздри, ни в глаза – потому что заглядывают с надеждой увидеть там свое отражение, освещенное моим восхищением. Эта трактовка моих глаз как зеркал – раздражает.

* * *

От моих друзей-медиевистов я ожидал, что каждый из них если не

маленький дантолог, то знаток Данте. Но нашел только дантистов, у которых от зубов отскакивает.

* * *

Придет достаточно мирное время, и усердный диссертант займется уже темой «Феноменология зависти», – но нам до этой благодати не дожить. Мы займемся феноменологией свежести, которой веет все полгода нашей зимы – веет от нашего мороза и снега, под который мимикрирует и березовая кора. Кто бы поставил перед нашей позднесоветской герменевтикой эту благороднейшую проблему русской экологии: «Что вызвало мимикрирование (мимесис) березы (или только березовой коры) под белизну снегов? Или снег и береза взаимно (конвергентно) мигрируют в цвете навстречу друг другу?»

* * *

Может ли мозг думать о каждой клетке? «Если на клетке со слонном увидишь надпись «буйвол» – не верь глазам своим» – так учил не Маркс, а великий философ К. Прутков – возразил я другу Г. Бондареву, когда он пожаловался, что только партия удерживает нас в социализме.

– А тебя это не обнадеживает? Или тебе жаль?

– Может быть, поэтому-то я и не в партии. Верить ли глазам своим? И когда они тебя обманывают? Когда ты смотришь на зверя или когда на надпись? Какого зла мы не претерпеваем – из тех пороков и зол капитализма? Мы что – приближаемся к распределению по потребностям каждого? Деньги и насилие отмирают? У нас отмирают только таланты и наивности: таких чудачков, как Хрущев или Королев, – отмирает поколение, родившееся до этого социализма, полезного как припарка капитализму Швеции, но не Швейцарии. Может быть, он для больших стран вреден, как чувствовал даже Грахк Бабёф? Он мыслил коммунальный шовинизм как средство спасительного разобщения человечества. И к этому, кажется, близок был Фихте. А Маркс хотел этот абсурд скорректировать интернационализмом. Если ты хочешь сохранить

старых хозяев, надо Партию обращать в шовинизм («нацизм» тогда на язык не шло – разговор шел в середине 70-х гг.) – мы очень пополнили наше образование. В аспирантуре я при кафедре логики переходил на легкое чтение – философию – и обратно к логике.

Всю жизнь спасение было в книгах: в них память надежней лошадиной. Новая для меня молодежь казалась избалованной. Мои сверстники стыдились тех вкусов, которые теперь считались нормальными, мы удивлялись умственной расслабленности этих людей, занятых поиском мелких удовольствий. Самый живой из моих младших приятелей 50-х годов все праздное время развлекался рисованием фантастических автомобилей. Почему не фюзеляжей самолетов? Или цветов, натюрмортов, женских ног? Вот другие, тоже достаточно живые, заняты изысканием книжных раритетов в библиотеках и букинистике, сочинением сценариев для мультфильмов (тогда не реализуемых) и программ для уже народившегося, но малопрофессионального телевидения. Весной 1956-го только недавно вернувшиеся из мест заключения ГУЛАГа ветераны войны и кружка «Снежное вино» взволновались сразу по поводу инициатив Хрущева и ЦК на XX съезде КПСС. Но осенью в Свердловском Политехническом институте произошли настоящие студенческие волнения в связи с выступлениями комсомольца Артура Немелкова. Его сразу сдали в солдаты, а остальные вольнодумцы съезжились и притихли. Не стану вдаваться в свои поступки (очень сдержанные выступления о литературной цензуре, за которые меня чуть не отправили в тюрьму), память о которых была еще очень свежа. Обычные тюремные неудобства жизни я не собираюсь описывать: нелепо было бы состязаться с А.И. Солженицыным, А. Жигулиным, Л. Гинзбург и т.д. Я ушел из студенческой среды на заочное отделение, женился, нашел заработки (редактором в техническом издании), поступил в аспирантуру, как только получил полную реабилитацию и возможность вернуться в Ленинград после 20-летней разлуки. Эпизоды со всякими неприятностями, которые чинили знаменитые органы, снова и снова только подкрепляли во мне уверенность, что если партия бу-

дущего Зюганова – если только она прикажет, если только ее опять обидят (как Ленина и Сталина) – так у нас все может повториться.

Лет пятнадцать кряду я работал экскурсоводом в музее, то есть перед людьми, которых ничто не принуждало слушать именно меня; поэтому я вынужден был стараться говорить с людьми о том, что мне позволялось говорить, но говорить так, чтобы никому не было скучно. Чтобы каждый мог понимать по-своему и брать из моего поведения именно то, что ему интересно. Это утомительно, и поэтому под старость надоело. Пора было писать, и не для газет, а на посмертное будущее.

Еще по ходу допросов 1946 года я вспоминал из Сумарокова: «В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп. / «Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» – / Спросил он ласково», – это еще и эпиграф одной из глав «Капитанской дочки». После войны хозяин был сыт по горло всякими переживаниями. Под хозяином я подразумеваю тот народ, который заседал в госаппарате, а не остальное трудовое народонаселение, которым, по остроумному замечанию Собакевича, можно любой забор подпирать. Или как в «Комедии о настоящей беде...» А.С. Пушкина. В 56-м году я сам себя остерегал словами Крылова: «Тебе за труд? Ах ты, неблагодарный! / А это ничего, что свой ты долгий нос / И с глупой головой из горла цел унес!» Впрочем, И.А. Крылов – единственный мастер народной речи, приписывающий народу довольно последовательное и прагматичное («трезвое») мышление, а не только проблески юмора или готовность зубрить формулы всякого рода причитаний, воспроизведенные у Некрасова: «Спасители Отечества, вы наши благодетели... Москва первопрестольная... я русский мужичок». И у А. Платонова. Сто лет (до братьев Стругацких) никто не уделял внимания этому красноречию. Потому что у А. Платонова мы встречаем уже не фольклор, а гениальную авторскую игру с народом, якобы овладевшим бюрократической риторикой и совкупившим ее со своим жесточайшим словесным озорством.

Свидетельства о пережитом на изнанке общей жизни, в Аду, в ГУЛАГе, вероятно, значительней, чем видение жизни за

рубежом: много ли поймешь в жизни, в которой ты не родился и не вырос? Но едва ли не наблюдательней и впечатлительней всего человек после возвращения из потусторонней жизни – в моем случае, например. «У нас была прекрасная эпоха», – как это назвал знаменитый Э. Лимонов. Каждый год доходы населения подымались на несколько процентов в среднем, т.е. кое у кого на десятки процентов, а кто-то вымирал, естественно. Калеки в первую очередь. Кому было очень трудно по-прежнему, тем было стыдно – и те старались скрывать свое горе. Увечья не выставляли напоказ, а увечных близких (родичей) старались спрятать от равнодушных. Это и было родственной заботой. Страх сменялся стыдливостью и опаской. Каждое новшество вызывало восторги, даже полузасекреченные откровения Хрущева на XX съезде. Можно было восторгаться нашим прогрессом: вот как ушли от нашего недавнего прошлого! Нас никто не вынуждал его обсуждать и критиковать. Раз мы в нем что-то осуждаем, значит, мы от всего плохого, что было у нас, значит, мы далеко ушли от зла и сотворили благо, да притом бескорыстно. Никто нас не вынуждал, все делается ради недопущения повторения репрессий, не так ли? Правда, репрессии кое-какие в 1957-м году были, – взрыв на речке Русская Теча тогда же, начало неладов с Китаем, странные вспышки эмоций у дорогого нашего Никиты Сергеевича (стук ботинком и «кузькина мать» на ассамблее), Кубинский кризис (или шантаж?) – все это нервировало. Ведь и расправы без суда, расправы над мальчишками – все это осуждалось еще и во времена Ивана Грозного, судя по сцене с Николкой-юродивым: «Мальчишки юродивого обидели – вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича...»

Мало ли в народе таких изобитенных юродивых? А мальчишек и не зарезали, отпустили лет через 8 или 9 – и за то они очень благодарны и не очень пугливы, даже снова принялись учиться, потому что догадываются: все наши беды не потому ли, что мы еще недоучки в массе? Достаточно ли нам того, что летчики хорошо обучены летать, даже космонавты у нас лучшие в мире... или

только Гагарин? «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, / И даже в области балета...»

А достаточно ли этого для нас при наших масштабах? Разве от всего нас гарантирует уже достигнутое военное могущество и правосознание властей – да и что мы знаем о стойкости этого правосознания? Продолжил ли кто-нибудь домыслы Маркса о будущем и расчеты Ленина о современных ему обстоятельствах, – продвинул ли кто-нибудь понимание истории вслед за сложившимися сто лет тому назад идеями?..

* * *

С каждым десятилетием мне стали все чаще встречаться в квартирах друзей чрезвычайно тщательно украшенные туалеты. На что это похоже?– думалось мне. На культивирование молелен и «образных» в старых русских купеческих домах, – только вместо киотов здесь были подборки газетных и журнальных иллюстраций, этих всяческих blow-up и кадров из фильмов или рекламных клише.

* * *

О петербургских и московских дружбах. Я собирал всю Россию по человеку: Гуковский М.А., Гумилев Л.Н., Панченко А.М., Айхенвальд Ю.С., Есенин-Вольпин А.С., Подъяпольский Г.С.

* * *

Лев Николаевич Гумилев получил в свое распоряжение литературу, относящуюся к так называемой «евразийской пустынной зоне континента» – зоне глубочайшей эрозии жизни – и обошелся с этим материалом (в основном франкоязычным) так же, как мальчик, вечный мальчик Мандельштам, обходится с материалами, непосредственно представавшими его зрению в 20–30-е годы.

* * *

Я, как и самые чистые люди в нашей стране, причастен к ответу,

ибо ничему злomu помешать не в состоянии. Ни своей личной жизнью домашней, семейной, о которой хотел бы сказать, что она была, конечно, греховна, поскольку греховно всякое обольщение и соблазнение женщины в брак, каким он был устроен у нас в стране. Но какими бы мы хорошими порядочными ни бывали в своей личной жизни, в индивидуальном существовании, мы оставались причастны к нашей коллективной вине, причастны к злу, за которое нам воздать может только Сатана, не на то ли он и существует? Тогда как перед остальным человечеством, особенно западным, мы никаких заслуг после сорок пятого года, после разгрома фашизма, больше не имеем.

А потому не нам клеймить Европу за ее грехи и европейскую культуру за пути, которые она себе открыла с семнадцатого века, с эпохи либерализма, великих научных открытий, отмеченных именами Декарта, Ньютона и Паскаля, датированной их биографиями. Великие открытия в математике и физике и вообще в общенаучной практике, несмотря на то что философская деятельность Декарта, философия картезианская, представляла собой если не прямое побуждение к материалистическому мышлению последних трех веков, если не наводку на онаученный цинизм общественного сознания, уже ориентированный, пожалуй, Макиавелли, то во всяком случае картезианское учение о Я и очевидных для Декарта истинах, не закрывало, не охраняло путей к философскому маразму. Ибо с точки зрения Декарта доказывалось, что главный интерес мыслителя, главная забота его, Декарта, произносящего исходный тезис: я мыслю, следовательно, существую, – это забота об удостоверении себе своего существования как индивида, индивидуального существования, озабоченного подкреплением своей веры в то, что я существую. Тогда как мышление становилось прежде всего средством гарантированной себе веры в свое существование как своего присутствия, в его деятельность, в неразрушимость своего Я силой способности мыслить себя и затем уже все остальное – внешнее, внеположенное своему бытию.

Вместо того чтобы сказать себе, что существовать в своем своеобразии – это не главная потребность мыслящего существа. А глав-

ная потребность, забота и цель и смысл существования в том, чтобы именно мыслить, действительно мыслить. Не обязательно мыслить свое существование, его длительность, его непрерывность, его внутреннюю связность. Мыслить себя, свое существование хотя бы в ограниченном времени – уже само по себе мышление такое доставляет радость и оправдание всему тому, что мы делаем ради того, чтобы продлить свое мышление, сделать его ясным и четким. Тут напрашивается воспоминание об античном герое, о древнеримском полководце Гнее Помпее Младшем, который на опасения своих сподвижников, что, выйдя в море на кораблях, можно погибнуть, отвечал, что важно, необходимо продолжать плавание, продолжать свою борьбу. Речь шла о борьбе против Юлия Цезаря. Важно плавать, продолжать дело, следовать смыслу и содержанию своей жизни, а не спасать свое существование, свою жизнь: *navigare necesse est, vivere non est necesse*, – сказал он.

И это, по-видимому, представляло собой одну из самых высоких формулировок высокой нравственности древности. Есть нечто более важное, чем продление нашей способности жить и переваривать пищу, – как сказали бы последекартовские мыслители. Важнее продолжать думать и следовать образу своей мысли, а не насущным физиологическим потребностям, ибо декартовское требование мышления ради удостоверения в своем существовании приводит, очевидно, к требованию пищеварить, ибо пищеварение является более нестабильным условием существования, чем даже мышление. И человек последекартовской эпохи мог смело подразумевать под *cogito ergo sum* формулу: пищеварю и дефицирую – очищаю свой организм от побочных жизней и мышлений продуктов, следовательно, могу мыслить... пищеварю и благодаря тому существую, и существую и мыслю потому, что поддерживаю в себе пищеварение. И диссимиляцию, а не только ассимиляцию, как и говорил когда-то Энгельс сто лет тому назад почти и уже более, что жизнь есть процесс ассимиляции и диссимиляции в обмене, метаболизме белковых тел и жидкостей и газов, которыми мы дышим и упиваемся.

И потому в 56-м году появление книги Дудинцева «Не хле-

бом единым» всколыхнуло сразу всю читающую Россию, всю, способную воспринимать художественную литературу. Напоминание Иисусовых слов о человеке, который живет не хлебом единым, вызвало энтузиазм всего читательства как девиз, как лозунг тех, кто находился в тяжелой оппозиции к вере в то, что человек может быть счастлив одним только хлебом единым, если хлеб этот будет достаточно обилен и дополнен, как сейчас думает большинство, доброкачественною колбасою твердого копчения, достаточно дешевой колбасой – а уж на водку мы как-нибудь и сами заработаем, лишь бы мы достигли правового равенства с теми, кто живет сейчас хорошо. Там, на Западе, «у них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает».

Сейчас мы уже нигде почти не слышим и не видим понимания, свойственного предыдущему поколению, понимания того, что там, где денег куры не клюют, нам никто ничем и ни в чем не обязан, нам от них ничего не причитается, кроме какого-то внимания, терпимости к нашим бедам, к нашим грехам, к нашей греховности последних поколений, коллективной, массовой греховности в неспособности выдавить свое коллективное, массовое, избирательское, скажем так, поведение. Ничего нам не причитается, кроме строгого внимания к нашему поведению, к тому, какие еще дон-кишотские номера мы позволим себе выкинуть в нашей дальнейшей истории. С тех самых пор, как примерно в 17-м году русский дон-кихот, кем бы он ни был представлен, от бюрократической верхушки общества дореволюционного и до верхушки графоманской и шарлатанской, утрировавшей утопическое мышление в нашем обществе от всех этих верхушек в российские санчо пансы, отрекся, отступился и отделался самыми крутыми мерами.

Престиж, завоеванный советским обществом с 1941 по 1944 год, давно растрочен за следующие 40 лет, особенно в эксцессах, следовавших через каждые 12 лет: в 56, 68 и 80 годах. И шок, пережитый Западом после запусков в космос Белки, Стрелки и Ю. Гагарина, уже призабыт был ко временам афганских маневров нашего ограниченного контингента; оказалось, что контингент

здорового смысла и понимания эпохи у нас был так ограничен, что почти совсем иссяк.

После того как в Афганистане наш генералитет раскрыл миру реальные качества наших Вооруженных сил, еще не имевших самооправданий в плохом финансировании и недостатке военно-политической воспитанности, – уже не смешно, а страшновато стало настолько, что чувство юмора почти исчезло из общества (сохранилось за двумя-тремя артистами).

Испытывая с детства отвращение ко всякому мордобою и вообще к кулачным искусствам, я более всего следил за всем, что касалось вопросов жизни и смерти, а жизнь и смерть наших жестоких нравов совсем не зависели от наших волевых ресурсов. Наоборот, все в стране зависело от международной конъюнктуры. Начали было мириться с Германией в 1939-м – ну и получили свое в 1941-м. Народ не виноват? Когда мы говорим о народе, мы констатируем коллективную ответственность, т.е. ответственность историческую, а не уголовную.

Отсюда и мое внимание к истории наших войн, изумлявшее друзей (знавших мое отвращение от крови как противнейшей грязи). Порох не пахнет, это кровь воняет, – с тех пор как порох изобретен, войны стали намного интересней. Припишем этот афоризм какому-нибудь французскому мыслителю – Монтеню, Декарту, де Саду, – не помню, кому, – да и важна ли точность цитирования? Но совершенно отчетлив французский *esprit*. Посмеемся и над французской историей и этикой.

Если учитывать народное национальное, а тем более народное самосознание наше, то надо его рассматривать в перспективе от зарождения частушки до ее продолжения в творчестве Демьяна Бедного. «Как в солдаты Ваньку мать провожала... Если б были все, как вы, ротозей, / Чтоб осталось от Москвы, от Расеи?» – до середины века, когда три десятка лет спустя сложилась частушка: «С неба звездочка упала / Прямо милому в штаны, / Пусть бы все там оторвало, / Лишь бы не было войны». Вот этот социально-сек-

суальный патриотический нигилизм и надо уметь вспоминать и ценить в истории нашей в том юморе, каким насыщены мы были по свежей памяти войны. Войны мы не любили, и угрожать кому-то на самом деле массовый человек у нас отнюдь не был склонен к середине века, когда где-то у самых наших границ, в Корее, шла война при нашем попустительстве и китайском участии, которая грозила стать мировой. Вот тогда и сложилась частушка. При этом к Америке отношение у молодежи было самое благожелательное, да и старшее поколение подсознательно оценило весьма высокое американское участие, вождевленное в сороковые годы участие американцев в общей войне – против Гитлера. Старшее наше поколение, поколение нынешних дедов и прадедов, понимало роль Америки в этой войне, видело американскую технику на всех наших фронтах. А дети победителей пели, приплясывая: «О, Сан-Луи Лос-Анжелос, / объединились в один колхоз», «Имба-читальня, второй этаж, / Там русский барин лабает джаз».

Никакого помысла о расправе Запада в сознании нашем не было. Это первое из многих восполнений маленькой хрестоматии песенного юмора, которым следует насытить мои воспоминания.

Я вспоминаю о Мефистофеле – о неспособности Мефистофеля угодить Фаусту, все ожидающему, когда он получит повод воскликнуть: «Мгновенье, прекрасно ты, продлись, постой!» Меня без всякого Мефистофеля наша жизнь подводила к подобным переживаниям, угождала моим вкусам прекрасными мгновениями. Сколько их хочется сейчас описать и портретировать моими друзьями, моими знакомцами. Впрочем, возможно, по сравнению с Фаустом, я неприхотлив и непривередлив, я – российский интеллигент, а не капризный немецкий человек эпохи Ренессанса.

Мне надо закрепить еще тему моей социологии, сложившейся к началу шестидесятых годов и отвратившей меня от всяких помыслов об активном сопротивлении, об активной борьбе за лучшее будущее в советском обществе. Ибо я утратил веру в лучшее будущее нашего народонаселения, наблюдая индифферентность его ко всему, что происходит: лишь бы не было войны. А происходило движение

объективной неизбежности войны при дальнейшем насыщении страны оружием массового уничтожения, особенно когда в землю, в недра ее захороняли, закапывали, заколачивали результаты огромных трудов наиболее квалифицированных кадров этого народонаселения, результаты производства и освоения технологий производства, ракетно-ядерного оружия, боевых отравляющих веществ и, наконец, даже биохимического, биологического оружия массового поражения. Суть моей тогдашней «карманной» социологии персональной, мое понимание истории советского общества сводилось к тому, что репрессии, особенно типичные для победившего социализма, репрессии, начавшиеся с 34 года, не были выражением чьих-то злых умыслов и особой жестокости кадров НКВД и Сталина, допустим Ежова или Ягоды, а были выражением вкусов всенародного понимания террора как средства систематического, перманентного народовластия и средства осуществления перманентной социальной справедливости.

Вместо перманентной революции мы имели теперь перманентную справедливость перманентной ротации населения по разным уровням социальной иерархии, по разным степеням народной бюрократии. Народная наша бюрократия как пирамида вечного движения формируется при условии именно такой ротации, которая не позволяет кому-то оставаться вечно счастливым. Вечный двигатель социальной справедливости предполагал перемещение каждого индивида не только по разным возрастам в одном направлении – однонаправленность, но и по разным степеням ответственности социального администрирования, обслуживания всей пирамиды в роли новобранца, воина, затем трудового ресурса и затем руководящего работника, а затем персонажа, ответственного за неудавшееся руководство, ответственного за отдельные или общие недостатки всего социального механизма и отбывающего наказание в меру своей ответственности, определяемой безответственно судьями, которые в свою очередь подвергаются репрессиям по мере надобности для нужд вертикальной динамики общества, как, например, некоторые руководящие работники подвергаются ответственности в общественном сознании через несколько лет после

своей смерти – как это иллюстрирует пример Сталина и затем пример Ленина к 90 году.

Почти доказано историей XX века, что всего сплоченной общества садомазохистского взаимодействия (на что намекали и особые опыты истории религиозных войн и классовой борьбы во Франции).

Как сказал Пушкин: «... в свою чреду, / Все подвергалось их суду». В свою чреду в идеальном садомазохистском обществе все побывают на всех мыслимых ролях в порядке ротации, как это предвидел еще Карл Маркс. С утра попишу, потом сапоги потачаю, потом еще где-нибудь поработаю – куда пошлют, пойду. Так в течение дня позанимаюсь всем понемножку: и труд и творчество будет лишь игрой, занятой и приятной. Ничем не пресыщаясь, побываю на роли ребенка в учреждении коллективного воспитания, коллективной селекции в семье, затем учащимся народно-трудо-вой школы, затем воином, полководцем, руководителем, генсеком, а затем побываю и на роли если даже не в должности генсека, то секретарей ЦК, перейду в ээки, и в конце концов меня расстреляют или посмертно я буду массами осужден на эту кару, а потом воскресну в массовом сознании в роли мученика через несколько десятков лет или взыскан посмертно – такова моя дхарма. И к моим потомкам будут присматриваться с любопытством, ну и проталкивать их дальше по социальной лестнице, по всей шкале, а точнее – по всей окружности ротаций ролевых. И в этом школа массового сознания, поддерживающего в себе иллюзии или идеалы социальной справедливости – «комузи по заслуги» – каждому свое, всему свое время, как это намечалось уже при Иване Грозном. Но тогда инстинктивно и непоследовательно, а теперь в законченной форме осуществлялось в советской, то есть народной демократии народными судами, съездами народных депутатов и тому подобными.

Давно под народом разумеется не то, что так просто и ясно понималось церковью, говорившей о церковном народе. Разумее теперь под народом не аморфную массу населения вообще, а именно прежде всего политически активную часть населения, активный

реальный электорат России, как народ-творец истории – по уверениям советских историков. И если он творит историю, то он – и нечто святое и безгрешное и безответственнейшее лицо, личность, вроде папы римского – непогрешимое. Он нечто человеческое, но надличностное, непогрешимое и безответственное, и потому его якобы нельзя победить и нельзя истребить (чисто американская иллюзия: после истребления и подавления во всем множества индейских племен легко было провести различия между племенем, кланом и народом; народ оказывается непогрешим и непобедим). И... что было побеждено, то и не было якобы народом.

Между тем подлинная революция, подлинный переворот в истории советского общества или первый подлинный симптом его крушения был не в смерти какого-нибудь Андропова или еще кого-то из генсеков, а в момент, обозначенный восклицанием молодого веселого парня, забежавшего в пирожковую на улице Садовой в Петербурге и воскликнувшего при взгляде на публику: «Народу – что грязи!» Этот восторг при виде грязи-народа, народной грязи народа, продолжающего провождать свои времена в очередях народного месива в пирожковой, – это новый этап самосознания, прорвавшегося в голос, вероятно, давно уже при взгляде на демонстрациях и просто на пустые массы прохожих. Люди про себя думали: народу что грязи! Но теперь это стали произносить вслух, и это самосознание, это заявление, это самосозерцание приобрело уже коллективный и социально определенный смысл.

А нет, чтоб сказать: история – творец народов. Скорее стало бы ясно, что оба субъекта взаимодействуют в меру способности народа помнить свою историю. Народ беспамятный творим извне общемировой конъюнктурой: не заговорами врагов, а динамикой общекультурных и технологических инноваций.

* * *

Чем устойчивей становилось мое отвращение от всех больших человеческих множеств, тем большей радостью было нахождение уникальных личностей, одаренных умом и добротой.

* * *

Речь о переживании ночной бессонницы в Дубне на квартире Оконовых-Захаровых, когда движущийся ночной автомобиль своими фарами на короткое время приводит в движение окна и всю обстановку внутри комнаты, когда свет автомобильных фар, врываясь в окна, превращает ночную жизнь в комнате в некий нон-конфигуративный, абстракционистский фильм, кинофильм; когда комната начинает вращаться вокруг некоего фокуса, находящегося не в комнате, а на дороге. Это вращение по эллиптической орбите, очерчиваемой пучком света от автомобильных фар, производит впечатление призрачного танца всех вещей, впечатление, которое едва ли могло быть доступно человеку до XX века, до появления прожекторов на движущихся платформах. Впечатление призрачной жизни, до которого домысливается разве что Гете в своей первой (романтической) «Вальпургиевой ночи», где и сам пейзаж испытывает подобные преобразования, хороводное преобразование. Этот хоровод ведьм и мелких духов, слетающихся на Брокен, производит отдаленно подобное впечатление конформного отображения в ночную жизнь их внутреннего напряжения, в десоциализированное пространство, в пространство кратковременной ночной анархии, где анархии предаются формы, и чувства, и мысли в этой едва ли не интереснейшей части «Фауста». Ничего подобного большая часть населения так до сих пор и не испытывает на своих верхних этажах, на уровне... над автомобилем. Овер трафик.

Чтобы это увидеть, надо вернуться к уровню придорожных жилищ с их окнами, открытыми для дорожного просвечивания со внезапными круговыми плясками всей мебели и всех предметов, всего барельефа, верней, горельефа, среди которого персонаж, типа Марселя Пруста, с первых страниц в «Поисках...», пытается заснуть, лежит в темноте. И у Пруста уже намечается та линия размышлений, о которой я говорил, судя по тому, что в контекст его воспоминаний о ночных мучениях со сном, борениях с бессонницей у него включена и тема проекционного фонаря с набором пластинок, иллюстрирующих сюжеты Метерлинка, насколько я об этом

могу судить. В моем детстве совершенно аналогичный фонарь имел всего один комплект пластинок, но это были пластинки на сюжет оперы «Борис Годунов», по-видимому, снятые прямо в театре фотографии характернейших сцен, вероятно прямо со сцены Большого театра. И эта коллекция вызвала у меня особенно яркое впечатление и стала предметом размышлений на всю жизнь. Разумеется, размышлений не об этих картинках, но о самой трагедии Пушкина.

И еще один феномен, имеющий некоторое отношение к световым играм людей XX века, называется у нас переводной картинкой или декалькомани. Вероятно, он совершенно вышел сейчас из детского употребления, этот листок, который чаровал Мандельштама, который при смачивании в воде позволял снять со своей поверхности тусклый полупрозрачный слой и получить радость от того, что тусклая картинка бумажного листа внезапно начинала играть разнообразием яркости своих красок, вдруг глубоко озвучивалась, становилась мелодией гармоничной, гармонизированной.

Эта тема, которая уводит уже к мимолетному упоминанию о ней Мандельштама: «Сегодня можно снять декалькомани, / Мизинец окунув в Москву-реку». Подобным же образом автомобильный свет, врывающийся в ночную комнату, снимает декалькомани со всей обстановки, в которой пребываешь. Причем снимается здесь не монотонность твоего окружения, не его сдержанность цветовой гаммы, а снимается пассивность фона, среди которого ты живешь. И ты вдруг обнаруживаешь именно себя наиболее пассивной фигурой среди обступающего тебя фона.

* * *

Окидывая взглядом память, вижу, что мое время было цирком, временем трехмерным (по меньшей мере в три размерности), где мне выпала роль танцора на канате под куполом, – ну, совсем как в искусстве средневековых жонглеров-поэтов – искусство танца на смертельной высоте – несравненно опаснее игры матадоров с быками.

Разумеется, можно было бы отделаться гамбитом – пожертвовать своей личностью как ферзем, и все мое хождение по жизни стало бы игрой бескровной, как шахматы. Но было поздно вато менять игру на этой крутизне, исторической и психотопической: «Есть упоение в бою / И бездны страшной на краю... / Бессмертья, может быть, залог!» – в чем мы сомневаемся, так разве что в ретроспекции. Тогда как в симультанном переживании этот залог несомненен, как и переживание полета в действительном танце, каков он в европейском балете, а не в мимезисе трудов и совокуплений, как и в других миметических искусствах, как бы ни были обаятельны отдельные мимы – такие, как скульптурные портреты или великие актеры, включая Лаокоона или микельанджеловского Давида (который как бы стал – по недоразумению моим *avant-portrait*. Портрет – в переводе с французского – «носитель чьих-то черт, признаков, напоминаний о ком-то...»).

Я пожил лет 40 в этом риске хождения над обществом Российским, в хождении по зыбким точкам опор, как по кочкам, как другие по буграм – позициям успеха на болотах ихних зыбких. А «рыжие», резвяся у ковра, едва ли видели мою вариацию на тему об Икаре в духе Брейгеля.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Wo das Nichts sich nichtet?

* * *

Справедливо теперь полагая, что я невышколенным прошел огонь и воды и медные трубы, они опасаются, что из огня я вышел прожженным, а из вод – подмоченным в репутации, и дело мое теперь – труба.

* * *

В нашу эпоху мемуаристики есть широкие возможности ориентации в жанре. Ибо единый, казалось бы, жанр личных свидетельств об эпохе распадается в широкий спектр сочинений: (1) для застольного бахвальства в ресторанах и на компанейских межсобойчиках, – мемуары Лимонова («У нас была прекрасная эпоха») без московской водки никак не пойдут. Годится такая писанина и для воспитания мизантропии подкреплением идеи: в массе человек пошл, мелочен, подслеповат; (2) для чтения в тюремных камерах или в ожидании событий, которые в самом деле оказываются судьбоносными, как у нас теперь отваживаются выражаться.

Есть среди современных мне мемуаристов один особенно омерзительный – Лимонов. Тем, что даже эпизод с шаровой молнией у него взят как бы из моей жизни. Правда, шаровая молния ворвалась к нам в комнату, когда мне еще не было двух лет, и воспоминание это я получил лишь из рассказов моей матери. Зато все анекдотические черты эпохи в моей памяти широко перекрывают все реминисценции Лимонова. Я помню все его куплеты и могу подтвердить точность – но с чувством, прямо противоположным тем, которые смакует этот юморист.

* * *

Я ненавижу последовательно не каких-то людей отдельных, а расточение времени, которое интуицией воспринимается в «чувствах», называемых у нас скукой. Когда в привычках бытия их переживание превращается в переживание уже изжитого, это еще ничего, терпеть можно. Но когда в жизнь вошел утопизм с его уверенностью в том, что бытие – театр, в котором не хватает только самодеятельной режиссуры, начался кошмар – наша страна превратилась в театр, на котором неодареннейшие психопаты взяли ставить преобразования бытия с пристрастием. Скука такая страшная, вся театральная техника – в хлопанье дверей при симптоматике приближающегося пожара.

* * *

Так вот я и проходил десятки лет школу презрения. Ненависть была неадекватна. Школа ненависти была большевистской, и прохождение ее заражало их псиной, их вонью. Потому что ненавидя, не сможешь прямо смотреть зверю в глаза ненавидящие. Ненавидя, невольно позавидуешь; если далеко зайдешь в ненависти, то уподобишься врагу. А мне нельзя было: кто возненавидит их, тот позавидует Павлику Морозову, ибо он будет героем еще целую жизнь. А мы не хотели с ними единиться, ни с Павликом, ни с его учителями. Подозреваю, что большинство, – уверен, что очень многие презирали этого Павлика. Ненависти к нему быть не могло, но и жалости тоже, несмотря на все понимание того, что он, Павлик, так и не стал человеком, а был только живым исполнителем концепта, отвлеченного от античного героя. В этой школе презрения первым воспитан Гамлет, – поэтому он не беснуется, как Лаэрт, и не пускается в мелкие интриги по рецептам Макьявелли и снисходителен ко всем, сколько можно. Но заботливые разъяснения Полония (ему – дурачку): «Я изображал Юлию Цезаря; я был убит на Капитолии: меня убил Брут». Гамлету так легко подхватить перчатку, т.е. принять вызов и поддерживать разговор в ключе все тех же наивностей: «С его стороны было очень грубо убить столь капитальное теля». Мол, смотрите – я действительно безумен, но не

в том роде, какой мыслится вам. Ибо пришел марксизм как великое искусство реанимации; со времен израильского царя Саула эдак три тысячи лет не было в истории такого обращения к воле мертвых.

Сам принц Гамлет к родному отцу не относился столь некритично, как К. Маркс к известному призраку, бродившему по Европе. С первых же слов он заявил свои некрофильские вкусы да еще попытался принарядиться в демонический черный плащ мудрейшего героя мировой литературы. Так уж не плачьте над Марксом. В еврейской, как и общеевропейской культуре, есть герои мысли подостойнее этого бедняги, прожившего спокойно век свой под охраной британской полиции и опекой друга Фреда.

* * *

И некому закрыть этот погорелый театр. Лукич в нем по своей ненависти к Буржу-Азии, похож на человека, мучимого головной болью, но уверовавшего в возможность унять эту боль светопреставлением (см. «Бен-Товит» Леонида Андреева).

* * *

Что еще побуждает писать мемуары? Отвращение к самочувствию людей смятенной эпохи, способных увековечить свое смятенное состояние в качестве общечеловеческой культурной нормы: катится перекасти-поле; катятся, переваливаясь с боку на бок, колобки, эти роллингстоунз, эти хорошо обкатавшиеся гольши-гальки, образовавшиеся в результате множества расщеплений первоначально мощных каменных массивов, потом – в дроблении дальнейшем, которому подвергались угловатые камни и глыбы; но под конец мы видим хорошо обточенные водой и пылью (сначала песком?) – гальки-голыши, принявшие оболстительные женские формы.

Таков путь от идейных массивов XIX века – через кубистическое дробление и схематизацию сознаний в начале XX к демократической сексизации в конце того же XX века.

Я хочу рассказать о людях, не сводившихся к трехмерным игрушкам, механизированным (кинематизированным?) статуэткам-куклам, надеваемым на кукиш собственным воображением! О людях, какими они были еще полвека тому назад, – это были люди, неподатливые разным «измам».

Да я не о себе, проницательный читатель, я вслед за поэтом говорю про ту среду, с которой я имел в виду сойти со сцены, но скорее

*... помочь хотел бы удержать
Ее на сцене, если надо
Я буду к ней ходить оттуда
Куда посмертно попаду
На роли призрака приду
Из-за кулис...*

Я говорю про ту среду и вспоминаю добротную традицию литературного социологизма: ведь это от Онегина (и другого Евгения, который в «Медном») идет дерзанье Пастернака заявлять:

*Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.*

(Кстати, кто, кроме друзей Маяковского, дерзал на слово «маячил» тогда уже?) Байрон никогда, ни в «Дон-Жуане», ни в «Беппо» не дерзал так принижать современников Пушкина... но еще 100 лет все стараются всячески раздуть на глазах читателя фигуры антигероев – простака Дон-Жуана или парвеню из серии бальзако-мопассановских.

* * *

«Кем быть?» – вопрос решается при нашем очень слабом участии силами, благосклонными к разумным догадкам о наших возможностях.

Кем бы я ни пытался быть, в лучшем случае мне удалось стать

памятником тех людей, которые приложили свою добрую волю... к тому, чтобы использовать меня как живой материал для реализации своих надежд. К тому, чтобы их вкусы и симпатии не потеряли жизни в момент смерти их собственных бранных сил. С ними умерли их грехи и наивности, но живы и здравы их добрые чаяния. Пусть живут они... нет, да здравствуют они хотя бы в той мере, в какой удалось нам согласовать свои вкусы и симпатии... подобно тому, как добрым европейцам тысячи лет удается согласовывать в гармонии и тем – в продлении жизни своих симпатий и вкусов!

Поэтому мои воспоминания – не о себе. Автор даже в романе не свободен говорить только о том, о чем бы он хотел. Ему, любому автору, приходится считаться не только со своей, но и с читательской природой. Даже если пишешь для самого изысканного (например, воображаемого) читателя.

Читатель начинает «слишком много о себе понимать», как в кругу Хлестаковых говорили о наглеющих слугах.

* * *

Поживешь довольно, за многие десятки лет повидав столько нужностей, глупостей и жестокостей, что и к деталям собственной жизни относишься очень хладнокровно.

Но, принося всяческие извинения своему издателю – которому я обязался поставить срочно материал на злободневные темы, я прерву сейчас свое отступление в заповедные у пушкинистов зоны внимания повышенного интереса и обращусь к темам низменным. Что до моего издателя, то он пока лишь изобретается мной. Ибо я из тех сочинителей, которые измышлять умеют преимущественно характеры своих читателей, но отнюдь не воображать себе каких-нибудь новых авантюристов, в родословных своих восходящих к Персеям и Люциферам, Алкивиадам и Ланцелотам, Казановым и майорам Прохановым, депутаткам Контрахамовым и Антихамовым и болгарке Антихристовой.

* * *

Я рискую показаться вам не философом, а завзятым спорщиком, а это уже свойство полных невежд. Они не заботятся, как обстоит дело в действительности; как бы внушить свое мнение – вот что у них на уме. Я отличаюсь лишь тем, что не присутствующих стремлюсь убедить – разве что между прочим, – но самого себя, чтобы убедиться до конца. Погляди, какой своекорыстный расчет.

(Платон, «Федон»)

* * *

Литературная работа для меня стала профилактикой от всех легких соблазнов – легкого заработка, легкой популярности. Единственное, к чему я оказался неспособен, – это заботиться о доходчивости того, что я пишу, или о том, чтобы мои мысли хорошо вписывались (а с ними и образы) в уже модную стилистику или *façon de parler*. Так я оказался застрахован сразу от многих форм конформизма и саморазмена.

* * *

Сократ: – Добрый мой Кратил, я и сам давно дивлюсь своей мудрости и не доверяю ей. Видимо, мне еще самому нужно разобраться в том, что я, собственно, говорю. Ибо тяжелее всего быть обманутым самим собой. Тогда обманщик неотступно следует за тобой и всегда рядом, разве это не ужасно?

(Платон, «Кратил»)

* * *

Мои мемуары должны быть написаны в виде ряда параллельных жизнеописаний, имея в виду только хронологическую их параллельность, относительно же самосознания автора они должны расходиться радиально по принципу разнонаправленности самосознания. Центр этих радиально ориентированных самоосмыс-

лений жизни имярека – это самосознание человека, чувствующего себя уже исключенным из игры, которая называется моим историческим настоящим. Когда для человека становится очевидным, кем он никогда не станет в истории, то есть в сознании Потомства, тогда-то ему пора писать мемуары. Герцен начал «Былое и думы» с этим пониманием, но под конец утратил его, воодушевившись бродильными соками собственной памяти до несколько нетрезвого пифического состояния и, не став оригинальным философом, повел себя как всеевропейский оракул.

Время мемуарной литературы – это причудливый, весьма конкретный пейзаж пространства событий и их эмоционального освещения. Оно, это время человеческого восприятия истории, разворачивается как многомерное пространство переживаний обстоятельств, упорядоченных относительно связи воспоминаний, в которых моменты настоящего суть только отдельные точки восхождения, расширяющие горизонты, из-за которых выступают все новые и новые очертания будущего.

* * *

Я человек прямой до примитивности, и когда передо мной стол и белый лист бумаги, я вижу именно белый лист, и больше ничего другого: ни снов, которые и снятся мне крайне редко, ни тем, как-то задаваемых извне, ни даже фразу, на которой у меня оборвалась прежняя работа. Ибо самое большое, что я хочу вспомнить, – это затруднение, на котором оборвалась моя мысль, а не какое-то ее продолжение или завершение. Я вообще не понимаю, что такое завершение мысли. Больше всего в учебниках меня в детстве поразила фраза: «Предложение – это выражение законченной мысли». Только очень мелкая мысль может казаться чем-то законченным; чем это может быть? Только фразой в повелительном наклонении.

* * *

Как счастливое исключение (человек, к которому друзья относились удивительно благородно), я всем своим жизненным опытом

удостоверен в том, что социальное неравенство – единственный залог человеческих отношений доверительности и терпимости. Ибо мы не злорадны и не жестоки лишь к двум категориям нам подобных – к тем, кому не завидуем, и к тем, кто недосягаем. Стоит только уравнивать людей в правах и возможности безнаказанно гадить – и они только и занимаются, что соизмеряются – в уме и глупости, убожестве или аппетите, – и шантажируют друг друга, как супруги в «Сожженной карте» Кобо Абэ и во всей литературе ХХ.

Синдром автомобилиста, будь то у Апдайка («Беги, кролик, беги...») или Кобо Абэ.

* * *

Следуя принципу (времен моего детства) «Лежачих не бьют», надо помнить (добавить) – «об них спотыкаются». Такова резистентность лежачих; даже и трупов.

* * *

Что такое «судьба» – если рассматривать ее как ось композиции всякого рода мемуаров? Все мы, влетая в жизнь с определенной инерцией, сталкиваемся с неожиданными обстоятельствами, более или менее жесткими (либо упругими, как и мы сами). В результате наши траектории меняются, преломляясь рикошетом. В некоторых странах и временах скачки рикошетом более или менее единообразны по причинам однообразия рельефов, от которых мы отражаемся, пока не иссякнет наша энергия, наша летучесть, зависящая от нашей упругости – и упругости среды и ее граней. Жизнь демонстрирует в мемуарах емкость такой метафоры, а неудачные романские фабулы – наше неумение пользоваться знаниями о временах и нравах, – в плохих вымыслах метафора наша не работает, автору приходится бить как в бильярде – подгонять всю игру, как в бильярде или крикете, – вести весь сюжет усилиями собственных страстишек.

Фрейдизм (как и марксизм) подсказывает асимметрии шариков, авторскими импульсами подгоняемых по перипетиям фабул, ко-

торые не состоялись бы, если бы не авторские тычки. У Джойса в пределах неполных суток, а у Пруста – в трех десятках лет разыгрываются одинаково сложные реконструкции судеб, которые слишком дороги (занимательны) обоим авторам, чтобы они могли допустить плюрализм сюжетобразующих импульсов («но вдруг!»), – типичный для детективной и приключенческой литературы плюрализм.

* * *

Вступленье в форме посвященья (скажем, Никите Елисееву):

Увы, мой друг,

...наука сокращает

Нам опыты быстротекущей жизни, –

притом сокращает за счет глубины, а не широты и поверхностности. Поэтому научно обработанные мыслью факты-наблюденья кажутся особенно поверхностными и даже плоскими, хотя теряются при этом не сути ситуаций, а только соки, т.е. только растворители квинти- и sext-эссенций, – улетающие в качестве запахов природные растворители смыслов. В антитезу научным традициям, влекущим благородную простоту форм (греческой пластики, например, столь контрастирующей с рококошной роскошью иероглифик и восточных каллиграфий вообще), – в антитезу традициям научных унификаций всего и вся, – поэзия отстаивает воображению свободу метафорических (антиметафизических) игр мысли неизвестно с чем в конечном счете – с немислюю или мыслью, но чужой, а иногда и с собственной, но вчерашней мыслью-тигрушкой.

«Цветок засохший, безуханный, / Забытый в книге вижу я», – вот моя любовь с детства: у Пушкина весь дар, быть может, был в способности губами оживлять подобные расплюснутые опыты быстротекущей жизни, раздавленные толщами народного непонимания, фольклорного многословия и прессами научной мифификации... Кто не знает способностей книжной речи служить пресс-папье для любого переживания как одной из составляющих (составных частей) ситуации наблюдения?

Засохший-безуханный листок-лепесток из соцветья события, в котором многолепестковое восприятие многоаспектнее фасеточного зренья: поиск таких безуханных вкладышей в пресс-папье-массивы книжной листвы (как это по-французски? feuillet, feuilleton), – в хранилищах информации, сродни фельетонным.

Отсюда жанрик этих эссееток, одна из которых может отсылать к моей жизни как школе совершенной конспирации, которая кульминирует в смерти; мертвец совсем неуязвим и неподсуден. Он проходит сквозь стены в качестве узника, но это не его дела, а только актерская часть его жизни. Гораздо больше может мертвый, ставший режиссером, то есть вступив в историю, – по Пушкину такое доступно иногда мужчине, если он любовью превосходит смерть свою. Любовью к городу Санкт-Петербургу, – почто она не в счет (в сравнении с любовью какого-то растяпы-ротозея Евгенья, бездельного мечтателя с его любовью к скромнице Параше)... У многих наших Пушкин на макушке вместо маски; он вместо шапки, не попав в мозги.

* * *

Так как ни я сам себя не промысливал, ни мои родители, все, что может интересоваться во мне меня самого и других созерцателей, не от меня исходит, но от Божьего промысла. Что нелепей, чем речь о том, что я сам себя измыслил по своей свободе, – измыслил в своих способностях и вкусах. Да я в самые решающие моменты ни малейшего представления не имел о том, что я сейчас сделаю. В чем я с собой был связан – была память о совершенном мной самим, – и чувство ответственности в том или за то, что уже сделано. Я в своей судьбе не режиссер и не драматург. Я только актер и актуален (реален) лишь в меру способности своей интерпретировать роль.

*Гул затих. Я вышел на подмости,
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку...
Я люблю твой замысел упрямый*

*И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.*

Это мне вычитали из Пастернака, акцентированно, мои друзья по Третьей главе.

Это двоедраме, раздвоение сюжета или фабулы – это и есть экзистенциальное несчастье.

* * *

Поскольку все сейчас заняты перестройкой и вряд ли чем иным, то, входя в Публичку, так и видишь кругом газетные заголовки, витающие над головами молодых читателей, – в таком роде: «Анаксагор на службе перестройки». Для нас перестройка – не служба, а сама жизнь, ну, а этот Анаксагор хоть и не знал о ней, но может только послужить, – а не может – поможем, а не хочет – заставим.

* * *

Для моего поколения существовала такая теоретико-познавательная, даже философская, если даже не метафизическая игра, декалькомания – переводные картинки: один и тот же образ выступал в ней тремя последовательными фазами, даже четырьмя фазами яркости красок.

* * *

Только все это и дало мне выжить – создавая вокруг огромный похоронный гардероб. Я не считал себя вправе отказываться от таких дарений: смиришь, гордый человек, и – поработай не на хлеб насущный (который пусть тебе лучше пошлет Отец Небесный) – эту формулу я и сделал принципом своего жалкого приближения к христианскому совершенству...

* * *

Пусть академическая наука в лице бывших друзей (а ныне прияте-

лей) уличает меня в дилетантизме – я не стану разбирать Гегеля ни по складам, ни по строчкам или абзацам. Гегель писал не словами или фразами, а полями семантических ассоциаций и цитаций (как поэты – полями и пятнами ассоциаций фонетических), но так ловко, что профессионалы-философы этого не замечали, – ведь в XIX веке в философы шли только сугубые неудачники, потерпевшие фиаско (в музыке – Сальери, в поэзии – Маркс, в донжуанстве – Ницше). Пусть меня уличат даже в плохом знании классики – я напомню эпизод из поэмы Лукана «Фарсалия» – а вы уличите меня в том, что я что-то напутал.

Когда в конце 50-х мне удавалось в Москве на Плющихе и в Сивцевом Вражке разыскать кого-нибудь из моих солагерных стариков, я ободрял их (и себя) задорной фразой: «Не печальтесь, милый; если бы ты знал, чья удача с тобой. Ты везешь Цезаря и его судьбу, – как тот перевозчик между Бриндизи и Диррихием в бурю».

* * *

Из растерянности перед рыночным равноправием ценностей многих культур возникает экстатическое стремление во всем успеть и выйти в первые.

* * *

При сложившемся состоянии дел в России сохранять здравый рас­судок непатриотично. Писать стихи – в наших обстоятельствах безумие, но изъясняться прозой просто пошло. Вот я и перехожу на белый стих – это последняя еще не профанированная форма самовыражения.

Будущее – это ситуация, в которой мы пожалеем о том, что мы делаем сейчас. Абсолютное прошлое – это то, что мы уже неспособны вспомнить.

* * *

Думаю, что эсхатологичность, которую Бердяев приписывал рус-

ской идее (или идеологии), мне знакома в самых ее истоках (отмеченных у Достоевского в новелле «Господин Прохарчин»). Я полагаю ее, однако, не исконно русской, но татарской, степняческой, тюркской закваской в русской ментальности.

В самом раннем детстве в уральские особенно жгучие зимы 30-х гг. я приходил в крайнюю досаду, когда игравшие со мной в снежное строительство ребята – не достроив задуманного (будь то крепость или образ гигантского снежного пирога), впадая в непонятное мне неистовство, бросались крушить недовершенную работу. Симптомы такого игрового эсхатологизма исключают всякую веру в трудолюбие такого человеческого типа.

Разумеется, это тип не славянский вообще. И уж тем более не валяжский, положивший начало нашей модификации славянского типа. Все славянские народности так или иначе результируют гибридизацией от соседнего этноса. Все государства слагались примесью болгар, венгров, тюрок, прибалтов, немцев и, наконец, тех норманнов, которые дали единство еще и Британии и в ряде других окраин Европы сыграли роли...

* * *

Если бы я мог коварно распродать хоть часть расположений и заинтересованностей во мне, стал бы миллионером. Но, увы, бескорыстие непродажно, – хотя им-то меня постоянно подкупают. Так что я в сплошной коррупции.

Расположить бы все дела так, чтобы само время – то ростом, то увяданием трав, то метанием снегов, то их размыванием – несло нас к целям поворачивать бодрствующее внимание, как реи с парусами, как крылья мельниц – это и есть рассудительность. Да воспитать бы в себе тонкость наблюдательности, чтобы стать демоном Максвелла, заставить на себя работать простые случайности и получить бы перпетуум-мобиле. Читатель узнает в этой схеме принцип «держат нос по ветру» – и опять «дурак, Ваше благородие» – здесь техника хождения под парусами и – биржевой игры. Неизбежно ведет по замкнутой траектории, – как заметил еще Эк-

клезиаст. Потому в природе и нет коловращательных живых систем – неограниченное вращение неорганично?

* * *

Моя переписка много лет держится на иллюзии, что друзья сохраняются не только в моей памяти и привычках общения, не измышлены мной. Чтобы плыть с человеком в одном потоке времени – надо быть совсем рядом.

* * *

Начинаю с этих пустяков вопреки желанию читателя, чтобы его сразу вводили in media res, в драматические события жизни. Мнения разных читателей насчет того, что считать в моей истории интересным, все равно должны разойтись. И автор не волен вообще с ними со всеми соглашаться. Поэтому пронизательному читателю придется потерпеть. Или сразу отказаться от чтения. Очень хочется сразу отделаться от нетерпеливого внимания пожирателей стандартной журнальной мемуаристики.

* * *

«Процесс» Кафки я читал в английском переводе (из рук кинорежиссера Козинцева, друга М.А. Гуковского) со странным испугом, что я не читаю, а пустился неудержимо в ясновидение, что это что-то вроде гадальной колоды, а не книга, – страницы разворачивают передо мной мою жизнь, и столь точно прошлое, как настоящее, а еще точнее – будущее – это еще очевидней. Я читал с одним рефреном изнутри: не может быть, чтобы это кто-то мог написать, – слишком точно обо мне. Заведомо нет слов, чтобы передать поэзию сна и пробуждения, и жизни вместе – невероятное состояние доверия в этом мире, где в остальном все друг другу – палачи, – именно не судьи, а враги, исполнители чьих-то приговоров.

* * *

... но всего лишь метастазы, скажем, прозорливости или какого-

нибудь другого голода (стремление чем-нибудь заранее на всю жизнь натешиться) – я всю жизнь жил со счетом к будущему, в убеждении, что главное у меня впереди. И это кончилось с появлением Лены, – жизнь сдержала мной навязанные ей притязания. До сих пор все было не в счет, – как Шайдарова определила мою психологию – карнавальной по Бахтину.

* * *

Пендерецкого «Passio et Mors Domini Nostri Jesu Christi Secundum Lucam» – страсти и смерть по Ев. Луке – в январе 1978 г. Ростислав принес к Гале (Старовойтовой). Отличие евангельской трагедии от греческих: зло совершается не в потемках, не тет-а-тет, а среди ясного дня при участии народного хора.

* * *

Женщина свои позы и жесты воспринимает с изнанки – как сопровождающие ее проприоцепции усталости.

* * *

В 42-м или в 43-м году, готовя экзамен по грамматике экстерном (к мамаше О. Плебейского) – ночами я себя вознаграждал чтением «Хроники царствования Карла IX» Мериме, «Человека, который смеется» Гюго: в перспективе к тезису о «непереводимости» или принципиальной неопределенности перевода сходились у меня интересы с гипотезой Сепира-Уорфа и с квантовой механикой, – отсюда далее шел интерес к основаниям теории вероятностей.

* * *

Часть мемуаров, относящихся к 1949-52 и 1951-52 назвать (или построить) на аллюзиях из «Графа Монте-Кристо» Дюма. Можно начать с разговора о том, как популярен был этот роман.

* * *

Споры с профессионалами возникают из неспособности придумать (вообразить) что-либо вне профессиональных жанров. Жанры – это институции, средства профессионализации, – их легко обойти. Игровой фильм: это такой, в котором более ясны подтексты и надтексты. Но если отказаться от этого, – это будет обратная революция – вроде возврата к немому кино со всеми его преимуществами. Моя жизнь, например, с натурными съемками – прямо дала бы это.

* * *

Встречая людей, исповедующих ненависть к марксизму, я всегда удивлялся: к чему? к кому? Есть что-то отвратное, вероятно, в теории, с которой я сначала знакомился по «Капиталу» как с прикладным анализом, усваивая понятия производных, иерархичность понятий.

* * *

Демократия для меня тоже не идеал, особенно те две ее разновидности, которые доступны наблюдению.

* * *

К идее свободы: воля есть личность, которая, нечто захотев, несвободна избежать последствий своих желаний. Воля людей несвободна (у демокритовых атомов ее просто нет, а где она есть, она свободна, ибо под ней мы понимаем свободу, – которая есть мера самой себя!). Гумилев со Шпенглером подводит под его постулаты географо-биологическую базу. У Гумилева пассионарный толчок – именно в обществах, теряющих организованность, – на оскудении прошлой пассионарности!

* * *

Атеизм – не проповедь ли вандализма? – в отношении собственной жизни?

Недосыпание – болезнь человека книжной культуры: все-то он чего-то не дочитал, с чем-то не успел еще ознакомиться. Я жизнь прожил в этой спешке.

* * *

(Л. Бондаревскому)

Итак, Лев. Не кажется ли тебе, что мои мемуары затянулись и мне хочется все время, чтобы ты активнее сотрудничал? Не пора ли переходить к моему эссе, которое я пока озаглавил так: «Русская классика – не в частностях, а в целом»? С эпиграфом из Лермонтова: «Что ни толкуй Вольтер или Декарт, / Мир для меня – колода карт... / И правила игры я к людям применяю». Тема карточной игры как мужская параллель женской игре в куклы, внезапно возникла у Пушкина («И постепенно в усыпление / И чувств и дум впадает он, / А перед ним воображение / Свой пестрый мечет фараон») и затухает в отзвуках у Лермонтова и Гоголя в течение нескольких лет. У Пушкина все оживает осенью и зимой: «К привычкам бытия вновь чувствую любовь», к чему угодно, вплоть до езды по мерзлой пашне на телеге в быстром беге. Любовь к привычкам бытия – едва ли не доминантная тема его поэзии.

* * *

Я – свидетель нескольких поколений: 50-х – кибернетических, 70-х – экзистенциалистских, 60-х – собственных упований.

* * *

Люди еще недавнего прошлого с энтузиазмом встретили известие о том, что один хотя бы (Христос) вернулся к жизни из смерти. Еще я в молодости радовался тому, что добрые старики, опекавшие меня в узилищах ГУЛАГа, продолжают жить и на свободе; еще живы. Сейчас у нас любовь к жизни осовечена настолько, что вокруг наблюдаются только зависть к чужой жизни. А смерть вызывает вздох облегчения: слава Богу, и на этот раз случилось не со мной.

* * *

Плыть с ними (друзьями) в потоке времени да еще в одну сторону – для этого надо было быть совсем рядом. Я был слишком бездомен всю жизнь.

Еще в кругу Поприциных и Голядкиных возникла та автопсихотерапия, которая и составила нашу подлинную Вторую Литературную Действительность. Она дала и Бенедиктова, и Пруткова, и Северянина.

Так слашава подмороженная картошка или лук (поджаренный). Сладкая – это в Италии. У нас – сладимая.

«К людям на безлюдьи неразделенную любовь» поэты променяли на неразделенную любовь к литературе, а о ней все главное сказано в «Четвертой прозе» О. Мандельштама. Хорошо, разумеется, с нею ладить, как удастся поэтам на Западе. У нас она слишком казенная личность, чиновница не в слишком больших чинах. И сильна, но только как смерть. И скучна – в ней мы играем не из денег, а чтобы вечность провести.

Два года проходил в этой навязчивости смерти. И слишком часто видел других. Женщины в этом смешны, а мужчины – противны. Теперь мне непонятен юношеский интерес к самооценкам – и их навязывание друг другу.

* * *

Люди наслаждаются даже собственными страданиями и неудачами. Чтобы не уподобиться им, я должен был прежде всего бороться с духом уныния. И каково же было мое изумление, когда я узнал, что в одной из важнейших молитв православия Бога просят защитить от духа уныния как от опаснейшего врага, что дух уныния упоминается там наряду с духами праздности и любоначалия. Все три духа овладели душой России: «Русские почти не умеют радоваться», – с извращенного гордостью паразита-апологета разъясняет Бердяев. Дух праздности, прославленный в традициях семьи Обломовых, унтера Пришибеева и всякого нижнего чина в Рос-

сии, – вот кто был главным нашим идеологом, отнюдь не К. Маркс. Ну... а о Любоначалии. За податливость этим трем духам будет проклят этот партийный народ, и, хотя собственные дети будут отрекаться от них, История не простит им и накажет как Вечного Жида. До скончания века будет в образе духа уныния скитаться сей унылозавистливый ее соглядатай. И его будут травить, как два тысячелетия травят евреев.

Все обернулось бы у нас прекрасно, если бы почаще эта молитва повторялась: «Господи, Владыко живота моего...» Но скупость-жадность быстрорастущей части населения не позволяла от чего-либо отказываться, язык не поворачивался произнести «Не дай мне, помешай мне!» Как же...

* * *

Дорогие и высокоученые мои оппоненты! Ваши образы мысли определяются добротным чтением по рекомендательным спискам литературы, формирование которых началось задолго до всех революций, эзекуций и т.п. В этих списках – все традиции нашей культуры. Я же читал столь же бессистемно, сколь и беспартийно, так что не пренебрегал случаями прочесть даже классиков партии. Мой интерес к К. Марксу заглох только на «Господине Фогте» и Молешотте. Но кроме того я прямо с первоисточника прочел свое время: то, что я могу рассказать о XX столетье. Вы ни о каком другом не перескажете столь оригинально. Потому что только я располагаю источником оригинальным: личным опытом. То, что вы излагаете с большим или меньшим блеском, может прочесть в источниках каждый трудолюбивец.

* * *

Мы завербовались не только агентами Лэнгли, но и Странниками (Внеземных цивилизаций, давно разоблаченных братьями Стругацкими). Перед братьями же Ругацкими, – поскольку царит в мире предрассудок, будто идеи не могут попадать в частную собственность и отчуждаться в чью-то собственность, – я вынужден защи-

щать свое авторство как честь и личное достоинство. Дело не в моей памяти из рода в род; моя забота о том, чтобы изложенное мной не было извращено и профанировано кладбищенскими ворами. Если не обычные в нашем отечестве плагиаторы-самозванцы, то просто АН и ССП наперебой занялись бы разворовыванием моего литературного наследия. Поэтому я вынужден был изобрести действительно сложную систему литературных (жанровых, сюжетных и стилевых) форм и размещать в них то, что приходится поэтому называть разными содержаниями. Хотя раздельного существования вести они не могут, в описаниях их можно различать анатомически, юридически и т.п.

Единственной защитой от плагиаторов является некоторая вульгаризация форм – придачей им сугубо фривольного характера, который отпугнул бы массового плагиатора.

* * *

Маркс десятки лет был для меня воплощением интеллектуального аристократизма – его политэкономические и политологические труды были украшены цитатами из Шекспира, Пушкина и даже Буало (хотя этого он цитировал не прямо, а через чужие ассоциации и т.п.), а из Шекспира выбирал он места нарочито фривольные, вроде допущений о призраках, разгулявшихся в Европе – не дай Бог. Этим он заранее делал абсурдным марксизм-ленинизм, поскольку цитирование Лениным светских и статских авторов никогда не бывало ни остроумным, ни хотя бы тактичным.

Впрочем, рассуждения о Герцене и Толстом свидетельствуют прямо о том, что у этого автора чувства такта хватало ровно настолько, насколько он, Ленин, никого больше из деятелей культуры не упоминал, и не трогал, и они его ничуть не трогали, что с их стороны похоже на чрезвычайную предусмотрительность. Других вот тронули, скажем, Гете (эта штука посильнее «Фауста») – вероятно, та самая штука, которую поэт доставал из широких штанин дубликатом бесценного груза, – книга, называемая советским паспортом).

Но паспорт – это, конечно, только дубликат того бесценного груза в штанах.

* * *

Проживание в тюрьме почти 9 лет юности одарило меня по крайней мере ключом к понятию «плебс» – через специфику плебейской религиозности. И потому я предвижу, что в XXI веке слово «народ» перестанут понимать всуе, а о плебсе заговорят осмысленно, не междоветно. Кроме профессионализовавшихся анархистов (блатных – воров) узники все могут переживать пребывание в тюрьме как переживание экзистенциалистской пограничной ситуации. Но плебей «спасается» в ней тем, что узнает ее в своем повседневном мистическом опыте: Бога он всегда представлял себе в роли незримого надзирателя, в любой момент способного тебя увидеть и покарать. И вся жизнь плебея проходит в готовности к эсхатологическому шоку. Дверь с грохотом может в любой момент распахнуться; она может оказаться с любой стороны, не только люком в полу, но и в потолке. Окно может оказаться телеэкраном, как у Оруэлла, театром теней, как у Платона, иллюзией позднейших времен. С телескрином Оруэлла теперь знакомы все.

Жизнь в подобных ожиданиях может выработать самые разные защитные навыки, но едва ли одарит человека склонностями к доверительным отношениям, к великодушию, щедрости и т.п. атрибутами благородства, как оно понималось некогда: все эти атрибуты не привиты человеку в самых нежных возрастах. А ведь в падучем обществе родители перестают развивать в детях доверчивость как субстрат-способность к доверительным отношениям: они не хотят своим детям моральной слепоты в мире коварства. Можно ли в ребенке развить интеллектуальные силы, достаточные для самозащиты, для детекции лжи в ком бы то ни было? Это когда-то еще выяснится! Много позже, чем доверчивость станет уже актуализированной слабостью. Фильм «Анжелика и король» открывался сценой, в которой прекрасная героиня эпопеи С. и А. Голон, когда ей подносят малютку сына, не виданного ей год или два, мечет малыша в пруд, проверяя его жизнестойкость. Бог

плебейского представления о нем не подвергает людей испытанием: он просто ходит по лабиринтам и заглядывает в глазки, – не то сквозь звезды, не то отовсюду. Зато сокамерники все необычайно фамильярны, да и на что не заглядишься со скуки – как и в поезде на соседней по купе. «А я вижу: из-за плетня косит глазом он на меня».

* * *

Полемику мне довелось вести уже полвека – то с энтузиастами 20–30-х гг., то с самодовольными «победителями» середины века (певшими на каждом шагу, что без меня бы солнце не сияло, когда бы не было меня!), затем с людьми конца века, особенно лицемерно уверявшими, что они поддерживают мир, культивируя в мире страх, а в себе убожество. Наглая готовность соотечественников к полемике по любому поводу давно внушает только гадливость. Сотни лет священство у нас брезгливо уходило от полемик с задорным мирянином, совавшим самозванцев не только на московский престол, но и на роли распорядителя всех судеб во всех окрестных околотках, азиатских, европейских, а там, глядишь, и американо-австралийских.

* * *

Мои ближайшие друзья 60-х гг. эмигрировали. Даже первая жена (Люся Динабург) умерла почему-то в Ирландии. И только мне ни на минуту не улыбалась мысль доигрывать жизнь где-нибудь за пределами Петербурга.

В детстве я намечтался о кругосветных плаваниях. Моими энциклопедиями были книги Ж. Верна о «Завоевании земли» (так и называлась одна из них), Стивенсон и Киплинг, «Гайавата» и т.п. Юность, проведенная в основном в мордовской Потьме, была эквивалентна пяти годам жизни во всей Европе: я видел русских эмигрантов почти со всех ее полуостровов, не говоря уже о множестве разноязычных туземцев срединной Европы.

Когда я вышел на свободу, я очень хорошо осознавал свою принад-

лежность именно европейскому миру и казенный, для меня в высшей степени абстрактный смысл слова «человечество». Я очень хорошо знал, каких героических усилий требует от европейца терпимое отношение к своим иноэтничным соседям. Вероятно, легче было во время оно любить беззащитных африканцев или полинезийцев, чем грубоватых немцев, самовлюбленных французов, высокомерных англичан. Тогда и было столько трогательного написано о веселых таитянках, благородных индейцах, добрых неграх и терпеливых, но сметливых российских мужиках и незлобивых бабах. Иных уж нет, а те уже далече от прежних представлений от них. Где красавицы *d'autre fois*, где прошлогодний снег, как вопрошал Вийон? Где эти гостеприимные заокеанцы, туземцы шести континентов?

Нет, не только их, но и среди моих соотечественников нет больше друзей и сородичей, потому что здесь все безродней всяких космополитов. Ибо то, что они привыкли называть Отечеством, давно уже стало безотцовщиной. А для кого это не так, те помалкивают. Даже не так, как это свойственно было коту Ваське из басни Крылова: «А Васька слушает да ест». Но Васька слушать не обучен, а внешний слух его занят роком и собственным криком.

Мне с детства надоели лица, на которых никак нельзя было уследить никакой смены эмоций по ходу общения. Разумеется, самоконтроль и умение подавлять мелкие эмоции, умение к эмоциям относиться критически; если угодно, селекционирование эмоции – это и есть то, что мы в Европе называем культурой. И эту селекцию мы уважаем в людях Востока и Юга. Но в той мере, в какой мы имеем здесь дело с критическим отношением к эмоциям, а не с систематической фальсификацией внутренней жизни при имитации вежливой благожелательности (как это типично для Франции).

В случае эмиграции в Европу или Америку я обречен был бы превратиться в собственных глазах в того евразийца, которым понравилось себя считать еще в 20-х гг. людям эмиграции, не добившимся мира в душе. В большинстве это были герои *ressentiment* (как придумал их называть Ф. Ницше), не раз описанные Шекспиром, Пушкиным

и Достоевским. Но среди этих рессантимантов я знал людей и необычайного благородства, например П.Н. Савицкого, каким я знал его в 1950 г., когда у Э. Лимонова была его прекрасная эпоха.

Была, была у них «прекрасная эпоха». Как и у маркиза де Сада, и у бульонщика Смердякова, Передонова, В.В. Розанова и т.п. Несмотря на разные генеалогические права на эмиграцию, я предпочитал быть европейцем в рабской России, предпочитал это азиатскому прозябанию в элизиумах Европы, Америки и проч..

Что роднило меня с Г. Алексеевым: его строки о том, как

*... я, азиат круглолицый,
Под вечер включаю приемник
И слушаю песни Европы,
Любовницы хитрого Зевса.*

(Губа у него не дура.)

* * *

Сейчас, когда я совершенно сед и не озабочен «девическими вопросами», я вспоминаю молодость как эпоху крайнего досадования на себя самого вопреки всем напоминаниям себе о том, что «не сам себя создал» и даже не по родительским планам сотворился, но по замышлениям Того, кто до сих пор меня еще сохраняет. Из этого воспоминания о моем вечном недовольстве своей внешностью (и ограниченностью сил) – мое примирительное отношение к молодежи конца XX.

Из великих страстотерпцев середины нашего века я не был знаком разве что только с Махатмой Ганди, – в их числе я имею в виду и Гумилева, потому что велик человек не тогда, когда он создал целую систему модных теорий и может жить под их сенью. Единственным недостатком наследия Гумилева стало то, что оно стало модой, т.е. элементом поп-культуры в нашей стране, – а то, что модно, то у нас считается и научным безо всякого различия

частного факта и общей теории, рабочей гипотезы и мифа или догмата, как это наблюдается в «мире Л.Н. Гумилева».

Ганди я вспомнил в связи с его напоминанием, что зло бывает почвой прорастания блага, но это не во власти людей: им надо всегда творить благо благими, честными средствами.

* * *

Призрак социально-экономической катастрофы победителей в одной отдельно взятой стране предстал мне вместо призрака мирового коммунизма только к 1959 (лет через пять после освобождения из ГУЛАГа), когда я увидел, что массы жителей центральных областей съезжаются в Москву скупать дешевый хлеб горожан для выкармливания своего домашнего (частновладельческого) скота – коров, свиней (или птицы или кроликов Рязани). Такая расточительная экономика выживания на подножном корму рано или поздно должна была вызвать самозащиту индустриальных городов в виде «продовольственных программ», которые в свою очередь должны были вызвать социальный бунт (а не революцию, разумеется), вроде бунтов, каждые 12 лет закономерно сотрясавших малые страны Лагеря: в 56-м в Венгрии, в 68-м – в Чехии, к 80-му – в Польше. Впрочем, с 1963 я был уже в своей четвертой жизни и на все смотрел прежде всего глазами петербуржца, вернувшегося наконец к себе на родину.

* * *

Все же конъюнктуре советской эпохи я обязан хорошей школе речевой культуры, приучавшей к дисциплине внимания, т.е. к сдержанности в речевых реакциях на любые впечатления. Эта дисциплина внимания приучает корректировать речь по модусам и наклонениям, применяя в мыслях, во внутренней речи сослагательное наклонение везде и всегда, где и когда внешняя речь могла быть только неискренна, уклончива и фигуральна, поддержана юмором, сугубо иронична, – что в полной речи отслеживается только у Пушкина и отсутствие чего у Достоевского компенсируется пере-

доверением речи персонажам (условным повествователям), то есть драматизацией романа, якобы его полифонией (по Бахтину).

* * *

Только после 1954, вернувшись на волю, я убедился в главном преимуществе социализма для «Евразии»: в случае всеобщего бедствия в виде того завшивления или заклопления, которое, возможно, усилила великая война, – именно тотальные меры дезинсекции, типичные для социалистического общества, оказываются хоть как-то эффективны. Именно Дубравлаг в своей мордовской глубинке показался мне самым чистым местом в Российской Федерации, – разумеется, лишь благодаря энергичнейшей противовошной и антиклоповной политике всей системы здешней части ГУЛАГа – и да не будут забыты вклады в эту борьбу даже скромнейших борцов этого фронта, – таких как санврач Ровтенберг на Потье. После освобождения из Дубравлага добрую половину своей жизни я провел в малоуспешной борьбе хотя не со вшами, которые были оттеснены в деревни и в дебри Сибири, – но с клопами, до самой перестройки и переименования города в СПб, подстерегавших меня по всем зигзагам моих переселений. Только переименование в СПб убило клоповные массы в нашем углу России.

* * *

Сколько лет мы держали мир в страхе своей готовностью к атомной войне за своих хозяев – против чьих-то заокеанских хозяев. Они не наши, что нам их судить... За это и за отравление собственного пространства ядерно-химико-биологической неподконтрольной дрянью, за растратой на нее лучшей и большей долей трудов целого поколения перед историей не отделаться болтовней и риторикой мнимого покаяния. История – не Бог, а суд, карающий автоматически.

Разберитесь лучше с теми, кто вам эмоционально ближе – с профессиональным капитулянтном Лениным и со Сталиным, провозгласившим патриотизм и чувство справедливости личной собствен-

ностью психопатов. Кто не визжит, не врет и не топает, тот у них не патриот, – в том они учителя и вдохновители Адика Гитлера – на свою голову. А мы в трофеи взяли свастики, деформировав их, потому что золото Приама-Шлимана от нас заначили.

Мы с миленочком беду на себя накликали...

А Маркс имел к этой Партии не больше касательства, чем БНЕ (Б. Ельцин): не с кем больше дело делать, пришлось общаться с этой шантрапой. Называя так, я им не грублю, а льщу. Зря они колдуют бранью: чтобы свести с ума Ельцина, надо взбесить... Коммунисты тоже не будут петь. Ничего кроме «Кирпичиков» и «Шумел камыш» – ничего у них не было своего «Ne chanteras pas!» Не примеряйте шапок-мономахок? Семейная ссора Генриха IV и Гарри V.

Рукописи горят, да из пепла говорят.

Вся праздничность современных больших городов даже при всех признаках приближения социальной чумы, – описанной Пушкиным:

*Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой...
Что делать нам? и чем помочь?
Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы,
Зажжем огни, нальем бокалы;
Утопим весело умы
И, заварив тиры да балы,
Восславим царствие Чумы.*

Весь бесшабашный ход раскрепощенья был давно уже предсказан в блатных песнях... Наш президент не больше Маркса был при-

частен к коммунизму: им обоим больше не с кем было иметь дело – не с кем, кроме этих демагогов.

* * *

Впрочем, меньше всего актерства можно было бы найти в Г.В. Старовойтовой, – вероятно, ввиду ее предрасположенности к альтернативной профессии – к режиссуре. Но драматургии женщины-драматурга, кажется, не знает вся история мировой культуры.

* * *

За следующие 30 лет я не написал ни одного манифеста, но произнес несколько десятков эссе-импровизаций (устных) и вошел в десяток «организаций» из двух человек (я и друг, не сознававший обычно, что наши отношения как бы организуют нас в глазах КГБ на что-то далекое; через десяток лет они распались). Вот пример одной: я и Сережа Панфилов – собиратели (с 1960 г.) строчек Мандельштама и других поэтов. У нас возник раскол, ибо я стал развивать эссе на такие темы, как демографический кошмар и как спастись от него. В моей футурологии тогда виделась миниатюризация человека в массе – чтобы всем хватило места в урбанистических упаковках будущего.

* * *

Жизнь русского человека полна пикантностей – начиная с подмеченного уже у Горького («Егор Булычев и другие») скабрёзного смысла слова «голосование». Представляю, как люди непроспавшиеся (да и в самом трезвенном и бодром рассудке) идут поутру проголосовать за кого-нибудь с досады, что давно не пили и не опохмелялись, несмотря на холод и сырость нашего климата, из-за которого веселие наше пити, не можем без этого быти и закрыта нам дорога в ислам (по большому просчету Мохаммеда): валом пошли бы наши ребята к нему спастись, но ведь ничего другого принципиально нового этот пророк не придумал – только запрет на игры с Зеленым Змием.

«Когда б Имел златы Ягоры И рекипол-ные вина» и «Шумелка Мышь, дярев Ягнулись».

* * *

В интервале от 1953 по 1961 (от ареста Берии до XXII съезда) КГБ получил исторический урок, определивший всю нашу дальнейшую историю. Массе офицеров КГБ стало неповадно брать лично на себя чрезмерную ответственность за истолкование интересов государства (не говоря уж о воле партии, которую трудно станет понимать к концу 80-ых гг.). Но понять это легко стало только к 1991 году: еще тогда можно было ожидать, что Крючков в бараний рог скрутит правительство на глазах всенародного ротозейства.

Белый дом в августе 1991 г. защищали тысячи (чуть больше одного процента населения). Тысячи на глазах миллионов, выделивших из себя осенью 1993 г. другие тысячи, пошедших громить и крушить от имени правительственной власти. И поплатившихся почти только своей кровью и здоровьем президента. Въехать в рай на чужом хвосте захотели – в качестве охвостья коммунизма. Рыцарь правового нигилизма, самоуправства...

* * *

Так вот они и вышли из потенциальных стукачей в актуальные стукачи: им скучно без социализма. Они мало скучали при мысли, что их могут вызвать и допрашивать или страшить вопрошаниями, начинавшимися с приказа:

– Назовите Ваших знакомых по г. Москве... Это все?

– Все.

– Ну ладно! к этому мы вернемся.

А Вы про себя задаетесь вопросом: к чему вернемся? К полноте перечня или еще к чему-то, кроме этих фамилий?

– А теперь назовите Ваших знакомых по Ленинграду. А по Свердловску... А за границей... Как? У Вас нет знакомых за границей?

Как странно. И в Израиле нет? (И с юмором...) Да какая же это заграница.

* * *

К концу второго тысячелетия, то есть как раз к тысячетному юбилею Крещения Руси как ее приобщения к христианской цивилизации, забавным образом вдруг возникла проблема «русской идеи», упомянутая Владимиром Соловьевым, который, кажется, воображал, что «русскую идею» он-то уж себе уяснил или придумал себе. Это забавно – сто лет спустя, когда наступило столько концов: двухтысячелетие христианства, тысячелетие для России, – настала вдруг забота или провозглашена была, если не прочувствована, забота о «русской идее», то есть о специфике национального характера. И вот вылилось – эти напрасные хлопоты, напрасные, как оказалось, – приобрели характер мелочных разборок в отношении с Европой. Никто так и не сумел – даже Гумилев не сумел – указать, что же в нас такого особенно восточного и что, собственно, видится азиатского в слове евразийство. А уже во множестве были поставлены всевозможные предрешения и предрассудки по части нашей инаковости, нашего отличия с Европой. И может быть достаточно эти хлопоты довершимы, если представить себе, как по-разному или одинаково воспринимается у нас и в Англии, скажем, самая крылатая из поэтических формул, из фраз крылатых, витающих полтысячелетия в новейшей истории в европейской литературе, знаменитое шекспировское «быть или не быть?». Для Гамлета эта крылатая фраза-вопрос *to be or not to be* – это вопрос, к которому сводятся все его проблемы, вопрос о том, какую ценность, какую важность имеет бытие – в узком смысле жизнь человеческая – в мире глубоких разочарований, перечисленных еще до Гамлета в 66-ом сонете Шекспира: «Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж...» и так далее.

* * *

В последнее десятилетие всенародное протрезвление у нас проявляется в тотальной полемике москвичей, в которой обе стороны,

иронизируя, укоряют друг друга по одной, как бы общей формуле: «Сила есть – ума не надо». Можно подумать, что под русской идеей подразумевается этот самодовольный упрек или что-то вроде него.

* * *

«Народу – что грязь», – услышал я у входа в пирожковую на Садовой, – произнесено было с легким южно-русским интонированием. Как точно! – подумалось мне: как семантически близко лежат эти два слова, столь разделенные риторически-ритуально.

По ритуалу одно из этих слов заявлено у А.Н. Толстого в «Хожении по мукам»: «В трех грязях, в трех кровях омыты – чище мы чистого!» То есть народ – синоним чистоты, а потому и безответственен, и в этом смысле разделяет участь Бога, того самого, которому служит богоносцем; почему в крайнем случае и свалит всю ответственность на Бога, только не на себя. Царь Саул не смог, не вышел к этой диалектике; а народ смог: не по своей воле, мол, вышел из Египта, а по указанию Свыше. Так всякая этнодицея отсылала еще дальше к теодицее, от личной этики и морали куда бы подальше. Но именно так, как с коллективной ответственности все свои грязи этнос переносит на Творца, перед которым все Другие якобы еще виновней, так Высшая власть или Подлинная Демагогия (в XX веке) всю ответственность, всю власть делегирует народу: с него-де все взятки гладки. Мы, Гитлеры, приходим и уходим, а ты, Народ, а твое государство – остается, будь спок! В крайнем случае вспомни: сын за отца (ни перед кем) не отвечает.

Но тогда надо все же, чтобы кто-то в чем-то перед кем-то был ответствен. И тогда остается только возложить на кого-то ответственность за отца. Хотя бы на сына, которому едва ли убедительно Государство возразило бы в смысле: «Тебе за твоего Отца?» Разве что возразит Государство с той самой басенной интонацией: тебе ответить? «... Ах ты, неблагодарный! / А это ничего, что свой ты долгий нос / И с глупой головой из горла цел унес!»

Длинный нос, впрочем, был разве только у Гоголя. Но тот и запустил свой нос очень глубоко в щели причинно-следственных отно-

шений, растянутых во времени. Он, Гоголь, стал рассматривать время обратно его порядку, как бы подвергая обращению, – например, форму «Сон» в переживаниях майора Ковалева он в обратном, неформальном образе «Нос» прочел и ужаснулся тому, как непрагматичнейшая, апраксичнейшая деталь в личности человека, нечто как бы избыточнейшее в лице (нечто, относящееся только к эстетике, – ибо какая же мораль в Носе? и какая в нем благонамеренность, добродетель или этика?) – именно эстетическая ценность носа становится доминантой в интимной жизни человека.

* * *

Кривулину я должен ответить: «Я Вас люблю, к чему лукавить», – пусть по стихам Вас придется ценить потомкам, – для меня больше значила неподдельность Вашего бескорыстия в «Охоте на мамонта» – классики, из которой каждому в Вашем поколении хватило бы по большому куску мяса, как видно в Вашей книге уже по страницам о Льве Васильеве (и доставшемся ему случаю стать эпигоном Мандельштама). Я же Ваш друг в смысле французского «ami» (так можно быть другом и абстрактных сущностей, собирательно и теоретико-множественных) – потому что никто лучше меня не увидит Вас – урок мужества, укор податливости нашего человека болезненным чувствам – обиды и болезни, хождения в образе обиженного Богом, которому Бог будто бы задолжал, – и если поздно ему получать компенсацию благодатью всяких способностей, – то не найдется ли у него возможности утешиться мстью (мщением тем, кто с самого начала получил от Бога больше). Ведь греческие миссионеры подобрали же слово «бог» из семейства слов «богач, богатырь, больший и т.п.», и не будет ли мщение тем реализацией смысла всех страшных картин из апокалипсисов от Иоанна?

* * *

Триада образов: (1) подобия фильма, как бы снящегося на потолке и стенах комнаты, в которой пытаешься заснуть во время нередких проездов мимо дома автомобилей (мои ночи в коттедже Оконовых-Захаровых в Дубне) – прямой аналог всему, написанному М. Прус-

том о детстве в Комбрэ. Проезжая, авто проводит скрытой камерой съемки на пленку всей жизни чего придется; в частности, отражения луж с их вибрацией поверхностью – с отражением на толке. А резонансы дождей во дворах-колодцах?!

(2) Кинофильмы в обычном смысле – Феллини, Тарковский, Мastroяни, Дворжецкий, Смоктуновский, Бардо, Мазина, Курсель.

(3) Планетарий и весь инструментарий астрономии, держащейся на гипотезах изотропии пространства, замкнутого в трубке Галилея на Корабле, – и всех его продолжений-экстенций, – т.е. гипотез о механике света в основе всех теорий информации, в теории познания, что то же самое. Далее в третий раз возвращаюсь к М.А. Гуковскому – уже по поводу его 100-летнего юбилея: подобно тем, кто «тяжело дыша / Достигнул берега... и моя душа» (продолжаю играть по принципу неточного цитирования) – второй «День догорел на сфере той земли, / Где я искал / путей и дней короче (А.А. Блок – провоцируя критиков указывать на неточности в цитировании) ... исхудалый Зверь с косматой головой / Я стучу рукой усталой: / Двери хижины открой».

* * *

Продолжение текста, оборвавшегося на теме декалькомани в различных смыслах этого выражения. Речь там шла об автомобильных фарах, об озарении комнаты, в результате которых вещи теряют не просто тусклость свою дневную, монохромность, цветовую гамму меняют, вещи теряют главное свойство вещества – они теряют свою инертность, как бы выходя из-под власти гравитации, как это происходит по понятиям Данте с душами, покидающими человеческое тело. Вещи приходят в спонтанные движения, обусловленные, как мы хорошо знаем, движением источника света, но непосредственно воспринимаются мозгом как наделенные собственной волей (свободой воли), спонтанностью вещи. По комнате они начинают бродить, пританцовывая непрямолинейными траекториями, движутся, поскольку автомобиль идет по нашей русской полупроселочной дороге небольшого городка Дубны, и вы видите направление его фар,

поток лучей, исходящий из него; движется волнистой линией, то направляясь немного выше, то немного ниже, по мере того как автомобиль катится по волнистой поверхности местного асфальта.

Кстати, Данте, по-видимому, за сотни лет до Ньютона, имел свое понятие о гравитации. Для него гравитация, гравитас, была синонимом греховности, отягощенности души грехами, и само тело висело на душе, как человеческая одежда висит на плечах этого тела, она провисает по вертикали, как можно хорошо проследить на иллюстрациях Боттичелли к «Божественной комедии». Подобным образом на энергетической системе души провисает в глазах средневекового человека обременяющее душу тело.

* * *

... Это органам мучительно было обмолачивать в своих подвалах столько миллионов обвиняемых. А всем остальным миллионам весело было продвигаться на «упалые» (освободившиеся) места всенародной иерархии более или менее равных, наших и не совсем своих. Великая же всенародная бюрократия, – в ней же любой постовой милиционер – чин и правитель, и чин чина почитай.

МЕТАМЕМУАРЫ

*Моя душа, еще в смятенье бега
Вспять обернулась, озирая путь,
Где, кроме смерти, смертным нет ночлега.*
(Данте)

* * *

Эпиграфы к моим метамемуарам: «Рожденные в года глухие / Пути не помнят своего». «Я, душу похерив, пою о вещах, обязательных при социализме».

* * *

В мои «Метамемуары» – о том, как часто на пути вставали люди типа Знамцова Коли: Володя Степаненко, Володя Воронов, – у меня в основном Володи и Коли. Крупные диссиденты в основном Андреи: Волков Андрей Макарович, Сахаров, Синявский, Амальрик. Это контекст моих воспоминаний о том, как я самоопределялся в зиму 41-го года, – скука стояла смертная в Ботаническом кабинете 50-ой школы. А на стене почему-то Пушкин. И на вопрос Коли Знамцова: каким бы ты хотел стать? Я растерялся, а потом ответил: «Таким, как он», – кивнув на портрет Пушкина.

* * *

Читатели Горького теперь спросили бы: «Да был ли мальчик-то?» Я должен сделать его значительней Гекубы. Чтобы вы полюбили с ним вместе неповторимый запах резинового мячика, который до смерти помнится Ивану Ильичу и помогает ему отождествлять себя, идентифицировать – себя с самим собой.

И тогда Вы поймете, что нет здесь самолюбования или стремления к призрачному литературному бессмертию. Это или не обо мне, или если это все же Я – то тогда мне удалось в своем детстве найти гомункулуса исторической реторты.

Своего героя автор знает; но изобразить его трудно, потому что читателя мы не знаем, а только воображаем. Уважаемый Воображаемый! Я обращаюсь к тебе не псевдо- или паро-нимически. Я в самом деле не имею ясного представления о твоей текущей эволюции в возможных мирах твоего экзистирования: вступил ли ты в партию или только в клубы зимнего плавания, борьбы с алкоголиками и их алкоголизмом или в местный, челябинский антиимпериалистический клуб. Или в какую-нибудь секту психической аутотерапии вроде русских йогов из Тобольска. Мало ли что может быть за Камнем за Хребтом Уральским. А впрочем, всяк гребет на свой хребет. Хотя тайна переписки охраняется законом, но, кроме черных кабинетов, есть еще много темнейших сил, все тайное же делающих явным. В частности, всякие неэйнштейновские релятивизации в общении на расстоянии (о которых я – сначала). И поэтому, чтобы общение было эффективным, история лирики давно подсунула урок: все тайное делать изначально явным, обращаясь к другу или возлюбленной через головы поэтов и правительств – то есть ВО ВЕСЬ ГОЛОС, как бы ко множественному адресату. По аналогии с де Монфором: «Бейте, Господь разберется, кого куда отправить дальше, и примет своих!» Пишите, адресаты сами разберутся, кому что надо и кому предназначалось «пленной мысли раздраженье» (Лермонтов).

«Блажен, кто смолodu был молод, / Блажен, кто вовремя созрел...»
«С утра садимся мы в телегу; / Мы рады голову сломать...»

А что я? Я не могу выстроить оставшуюся мне жизнь в линейную перспективу. Это так легко, видимо, тем, кому осталось еще много: им можно все делать по очереди. А особенно хорошо это знают женщины: учиться и узнавать мир в его разнообразии и пестроте, а себя – тем же самым, во всем аспекте способностей, темперамента и всех модальностей восприятий. Потом углубляться. Кто-то (де-

ти) – обережение того, что удалось. Жизнь – нескончаемая цепь экспериментов над самим собой.

Моя жизнь идет к концу среди нагромождений прекраснейших начинаний. «Жизнь – без начала и конца. / Нас всех подстерегает случай. / Над нами – сумрак неминуемый, / Иль ясность божьего лица». Никто ничего не начал, никто ничего не кончил, – мне радостно, что все так. Но в ограниченной личной «перспективе» есть горизонты, за которые приходится отпускать свое живое, то есть все то, что не подлежит нашему физическому разрушению. Детей, идеи и т.п. Что не подлежит совместному разрушению – что преобразуется в разных ритмах, имея собственные локальные направления времени.

Так жизнь моя распадается на несколько разных.

* * *

Никакая биография Шекспира не объяснит единства его личности, в которую вписываются разные портреты, – Рэтленда, например.

Э. Деккер – Мультатули в моем детстве.

* * *

А Нева опять берется за свое. Лена:

– Ты, Молчун, мол, опять за свое, ты о чем молчишь? Ты не молчи, а то страшно, массараکش.

– Ни о чем, – говорю.

– Э, нет, это Болтун ни о чем (а еще обо всем), а ты о чем-то. Ты лучше мне вот что объясни: «модальности».

– Да где уж ты слышала про такие гадости?

– И вовсе не гадости. По крайней мере не такие, про какие в газетах пишут. Я про них в твоих книгах...

* * *

И я уверенно могу сказать настоящей жене своей: спокойно, Ло-

дочка, ты несешь на лоне своем не Цезаря и его судьбу, а нечто большее.

* * *

А как это было во времена какого-нибудь Минус Десятого (или Минус Двадцатого) Ближневосточного Кризиса – когда во время Однодневной войны знаменитый полководец Иисус Навин простоял целый день с протянутой рукой к небу – а там наверху оставилось солнце – по воле Божьей, чтобы тьма ночи не разъединила дерущихся, – так и я свою жизнь провел в безвременье и испытании терпения и всех душевных сил. Когда я понял эпоху – я ужаснулся, что не переживу ее, хоть было мне 13 лет, – я молился бы, если бы был к тому научен, чтобы тот же Бог остановил надо мной течение времени, – только надо мной, что и было исполнено им в его неизреченном всеведении и милосердии без всяких моих молитв. Во всяком случае, без их произнесения вслух. Он прочел у меня в душе мои сильнейшие желания и признал их достаточно благочестивыми и достойными исполнения. И время надо мной останавливалось по крайней мере на те случаи, когда я не был слишком повинен. Это и крепило мою веру. Я оказывался как бы вне времени – в потустороннем времени пространства. И это мое трансцендентное бытие было именно в Чистилище, где я отбывал покаяние в мелких грехах, вероятно, прежнего существования – не моего, вероятно, а моих отцов, за их грехи справедливо. Ибо нельзя принимать положительного наследия, уклоняясь от расплаты за обременяющие его долги.

А еще я видел себя с поднятой рукой – подобно Роланду в Ронсевале – где ангел к нему слетел принять перчатку – в ожидании ангела рая, который слетит принять меня в девственные объятия.

* * *

(Я – Л. Бондаревскому)

Дорогой Лев!

Я более всего в нашем знакомстве – лучше всего помню, как ты свел меня с Ж.-П. Рихтером, о котором в нашей литературе я встречал с тех пор лишь отдельные невразумительные упоминания. Сверх этого, я тогда же был обязан тебе за образцы подлинной, весьма философичной поэзии, вроде того, как: «Но безоговорочно закончили спор мы: / Среди разнообразия материальных форм / Встречаются порой восхитительные формы!» В этом замечательном обобщении нет ни намека на редукционизм какого бы то ни было толка. Редукционисты терпимы в той мере, в какой заслуживают снисхождения. И если ты не щадишь все же предполагаемую во мне душу, считая ее какой-то эпофеноменальной иллюзией (тенью, отбрасываемой не то метаболическими процессами в теле, не то юридическими процессами в документах, порождаемых этим телом, точнее, кореферентных этому телу)...

Если бы я поддался твоей редукционистской проповеди, то пошел бы восполнять проклятые пробелы своего образования – пошел бы работать мясником – чтобы лучше разбираться в людях. Я затрагиваю третье лицо именно потому, что не могу только на процесс старения возлагать ответственность за изменения в тебе, в твоих проявлениях. Четверть века назад Л.Б. со мной никаких споров не завязывал, а просто давал всяческую информацию о своих стихах, поступках и чужих книгах. И можно было бы сформулировать простую дилемму: или я мыслю инаково по глупости – и тогда не стоит со мной спорить, или все на свете не так просто, как хотелось бы редукционистам только потому, что это люди, в простоте видящие удобство.

* * *

Бедный этот иудей – не то он что-то вечно оплачивал, не то вечно оплакивал – осталось это тайной русского языка.

* * *

А дорогая Офелия, какая рифма устоит передо мной, – мог бы ска-

зять Гамлет, имей он мои таланты; но имея только свои, он должен был высказаться как-то иначе.

* * *

Имя всуе – куда-нибудь сует.

* * *

Я был томим чувством, что это я, и нужен звездам и луне не как созерцатель (ценитель) Их... красоты.

Философствующие персонажи Феллини «принимают на вооружение» аргумент о том, что каждый камень кому-то для чего-то нужен («Дорога», Мазина, Энтони Куин и др.) – они не могут жить, если никому не нужны, кроме самих себя.

* * *

(Я – И.Осиновскому)

Милый Игорь, Игорь милый! На счет моего неприезда ты рассуждаешь правильно. Игорь-Маленький мог бы тебя предупредить: он сам собирался отсутствовать в октябре, так что притяжений становилось все меньше. Я приурочивал свои поездки всегда к поре предпраздничной, чтобы было извинительно слабое обеспечение моих визитов музыкой и шествиями, о которых ты заботился некогда. Мол, полки устали и озабочены предпраздничными делами. Кроме того, я больше прежнего занят, в частности совместным с Леной освоением французского. Это только внешне похоже на опыты Дурова, который был совершенно не знаком с лингвистикой XX века: вслепую входил в язык со своими учениками, принимая гимназические знания за компетенцию. Лена же искусно скрывает свои успехи, лишь в хорошем настроении проговариваясь. Она просто боится знать, как и в случае с попугаем, который поощрения принимает, но притворяется бестолковым болтуном – а то заставят работать, летать, скажем, в огонь за каштанами для мировой революции. А попугай огня не любит, за что любить его?

Чего в нем попугаю не хватало? Попугаи сами по природе, по оперению яркие, в них самих довольно много красного (что они предпочитают держать внутри), они сами по себе достаточно беспокойны. Этот каждый Попугай, Не пугай попугаев, – сказал бы поэт. А я пытаюсь стимулировать жену не конфетами, а нарядными книжками, так упрям, как вы и не предполагали во времена ранних rendez-vous, когда они назывались еще «рендец-воус» и все любили Ренуара, а вот Дерена – только Марк. Твое долгое молчание оказывает неблагоприятное действие: я начинаю думать, что ты опять предпринял какое-нибудь тяжелое дорожное приключение или что меня прокляли на всех синедрионах от Марка и Юди и до писателей-деревенщиков. Стар я становлюсь и чрезмерно чуток, пишу поспешно в Публичке, где очень изменился модус бытия, михаилизовался, – все нервно пытаются делать дела, природе каждого несродные, особенно молодежь, мобилизованная в науку. Изнемогая от усилий читать, они то и дело возобновляют ручной труд (все по Диогену) и ворошат свои бумаги, видимо надеясь, что из перетасовки возникает случайная комбинация идеи. Перемежают это бегом по залу, шушуканьем и т.п. У них библиотечные дни, и они бдят друг над другом. Ты, доктор, можешь и не замечать этих новых общенаучных тенденций.

* * *

(С Первой линии В.О.)

Иногда кажется, что я живу той самой петербургской жизнью, о которой И.А. Хлестаков мечтал вслух присущим ему или собеседникам канцелярским слогом. Мол, 40 тысяч курьеров... Ну если не курьеров, то все же примерно столько разных вестников судьбы: знакомых или незнакомых, но навязывающих свое или общечеловеческое, домогающихся общения. И еще примерно в сто раз больше – 4 миллиона мельтешат перед глазами во всех направлениях своей жизни: бабки под окном присаживают (3 метра от моего носа) малышей пописать... Старички заплетаются языками вспоминают юность и наивные маневры, которыми они приспособивались к войне и предвоенным невзгодам. Нынешние маль-

чишки останавливают трамвай: их компания заигралась ножами на пути...

* * *

Пройдет еще немного времени, и вы все станете вспоминать не раз, что все были скаредны, как апостолы на пиру у Симона-фарисея, — ибо жених чертогов брачных, наша юность, отойдет от вас. По той же скаредности (любимое ругательство Петра Великого) вы даже перечитывать Новый Завет скупились: читали его переложения для «неверующих и ворующих и непомнящих».

* * *

Какие только роли мне ни навязывали в эти полвека: (1) запуганный метек-чужестранец, сын гос. преступника, к тому ж еще жида; (2) парвеню, призванный трудом и умом себе добыть и независимость и честь и прощенье всех провинностей предков, отпущенье родовой и расовой провинности; (3) прилежный начетничающий еврейский мальчик; (4) нелепая случайная жертва эпохи «лес рубят — щепки летят» — ищи же свое скромное место в мире; (5) брачный авантюрист, донжуанствующий и казановствующий; (6) алчный соискатель ученой степени и места в науках и т.д. и т.п.

* * *

Гомерический хохот на Олимпе, плутонический юмор на открытке — рисунке Ф. Толстого к «Душеньке» Богдановича.

* * *

После того как боги заберут меня к себе, я снова стану среди них Богом дружбы. А мое брненное тело сожгут на костре из моих писем.

* * *

Мои разговоры с самим собой (в основном монологи сменяющихся самосознаний? самочувствий? или представленных во мне аспек-

тов нормативного языка) были много оригинальней (и более шокирующими), чем все эскапады крестника Андриюши... Они были аналогами прогулок Гамлета с денатурированным Духом Отца его из Чистилища (по аналогии с Pater noster qui es in caelis) – это была западня похитрее, чем устроенная Духом Небытия в пустыне, где когда-то Иаков боролся с Богом: у него вдруг и Отче наш, иже еси на Небесех, и Отче мой, тот, что в Чистилище, и еще жаждущий его усыновить Отец их в Бездне...

* * *

Эта прогулка продолжалась со стен Эльсинора по развалинам Европы у туриста Чайльд Гарольда и по развалинам Культуры у нас – в моей жизни – в моих черновиках до сих пор – под новыми и новыми созвездиями, уже не Рака или Козерога, а царствований Хрущева, Брежнева или Горбачева.

* * *

Письма на тот свет не карались даже царской цензурой – как раз при Николае Павловиче литература опрокинула всякую цензуру.

* * *

Только вкус к хорошему обществу пробуждает во мне нечто подобное честолюбию (при полном отсутствии тщеславия). С самых ранних лет брошенный на руки нянек, я главной своей страстью вырастил в себе стремление к освобождению от случайного окружения и желание самому культивировать свое окружение – отбирать его. В качестве такого селекционера я и отказался от эмиграции: я почувствовал, что в этом я здесь больше свободен, чем там (где мое окружение будет более случайно). Это было важнее лингвистических мотивов. В конце концов все это культивирование обнаружило, что больше всего мне придется иметь дело с самим собой и себя-то и нужно тянуть вверх за шиворот. Тут и помечталось обнаружить в себе гений – чтобы не было сомнений, что мне повезло проводить время в обществе интереснейшего человека века – и не о чем было мечтать (о большем).

* * *

(К Э. Лимонову)

Мат и вообще похабство – для среднего человека – компенсация утраты юмора и поэтики, наступающей в физическом созревании. Ханжество – не альтернатива похабству, они сосуществуют всегда. Ответственность за похабства – целиком на женщине, а не на идеях буйного искусства или интеллигентской гордыни. Бесстыдство – в бабе, обделенной природными благами: она как наши болота-омуты, где русалки.

* * *

Я болею кессонной болезнью: о людях, на которых социальная атмосфера действует именно так, писал Маркс. Многие у нас находят чувство уверенности в себе – вплоть до вдохновения – в туалетах.

Чего не понимаю в обстановке всяких мутаций, так это почему не появились пятиконечные клопы-мутанты.

* * *

Мне собеседников не хватает. Беллетрист обращается с персонажами (в сопровождающие его речи к читателю – через их общения), подслушивая их интимные шепоты. Мои же корреспонденты только губами беззвучно шевелят.

* * *

Как монахи перебирают четки – успокаиваю нервы сбором осенних листьев – в их сборе я превзошел заготовителей маринадов. Стучу на машинке и воображаю, что я – карлик Миме Лицемерный в пещере у Вагнера.

* * *

(Я – Игорю Осиновскому)

Для меня внутренними событиями оказываются крупные проис-

шествия в далеких странах (некоторых). Я некоторым образом чувствую, что я как бы населен их жителями и обжит их бытом и эстетикой. Между тем любые мои болезни – кожные или внутренние – будут для меня событиями внешними – т.е. не представляющими интеллектуального или духовного интереса.

* * *

СПб – страна меньше Грузии, но с более пересеченным рельефом. Дочь зовет ее мшистой страной, я – лестничной. Наши горы образуют не столько хребты, сколько другие части скелета – грудную клетку, о которую бьется сердце цивилизации, челюсти, жующие все...

Мое истощение – гиперкоммуникоз.

* * *

Кошмары в моем детстве – Земля как пирог нафаршированный трупами, и Космос как снежная пустыня в вечной ночи.

* * *

Мое хождение по комнате как разматывание катушки.

* * *

И я попал в профессию, в которой даже у нас в России сохранил значение дар речи, языковая компетенция, утраченная во всех остальных «сферах», – везде можно говорить сколь угодно скучно, глупо, лживо и диалектично, то есть соединяя все эти пороки речи в бездарнейшей имитации наукообразно и глубокомысленно.

* * *

Фигуры умолчания – присвоенный мною жанр умолчания, – в литературе гласности.

* * *

Столь прочная во мне разбросанность внимания (манера думать параллельно сразу на множество тем) идет не только от разнообразия интересов по природе, но и от образа жизни, который мне навязан социальным статусом. Я вынужден был быть бдительным, то есть внимательным к непосредственно окружающему против моей воли. Ко множеству случайных знакомств и т.п., к чему у меня отнюдь душа не лежала.

* * *

Наш социально-благочестивый Исав, отошедший от зла первородства к похлебке и чувству своей правоты, наконец от меня отступился в лице всех прежних притязателей, на исходе жизни моей внимание освобождено от хора обиженных Богом и мной.

* * *

Стыдно за мои взгляды 45-го года, которые так ловко пародирует перестройка. Написать Ченчику соболезнования.

* * *

В последнее время большинство окружающих вызывает своей погруженностью в непосредственное окружение – в «наличное бытие» – один рефрен Есенина (даже этот примитив Есенин на общем современном фоне вырастает в метафизика): «Пожалуйста, голубчик, не лижись. / Пойми со мной хоть самое простое. / Ведь ты не знаешь, что такое жизнь, / Не знаешь ты, что жить на свете стоит». Широта нашей расейской натуры – это просто близорукость травоядного, которое на подножном корму считает себя вправе на все, на что набредает, – и ни на что больше не претендует, остальное уступает кому угодно – ведь им ничто не создано и ничто не нужно его планам – ибо планы его заданы ему его самовоспроизводительными механизмами. Он щедр как травоядный, он в дендроценозе. Хищники скорее стергут свои зоны охоты.

* * *

Никто никогда не отдавал себе отчета, в каком аду он проживет жизнь, – прежде всего потому, что про себя все соучастники ее соznавали себя соучастниками устройства этого ада.

* * *

Я на работе разучился писать, зато обрел дар устной речи – по методу Демосфена, так что теперь кажется, будто у меня гранитная челюсть.

* * *

Не дарите моей жене свои проблемы: это фамильные драгоценности, их надо беречь, как родовую честь и имя. Ее же может только старить такая бижутерия – как всякую девочку фамильные бриллианты, даже собственные – как металлические зубы на детском лице. Каково было бы, если бы их стали ставить при выпадении молочных.

* * *

Письма без адреса? – на деревню дедушке? – неблагодарному потомству? – Звучит ли рог в лесу глухом?

* * *

Только отец не учил меня «смотреть на вещи просто» – это отливает людей математической культуры (в моих глазах) – уже по поводу его гибели стали все учить меня смотреть на вещи просто – в духе нашего нового фольклора: Умер Максим – ну и черт с ним! – Положила в гроб – поцелуй его в лоб!

* * *

Для периодически навещающих меня челябинцев и прочих туземцев я постепенно окаменел под их праздными и недоумевающими взорами, – я стал уподобляться прочим каменным фигурам и кон-

фигурациям местной среды: они смотрят так, как будто нас разделяют не только расстояния, но и полное отсутствие какой-либо посредствующей среды, которое придает общность даже самым отдаленным (взаимо) предметам – отсутствие общей культуры.

* * *

Мое отношение к советской власти в моем воспитании имело один «корень» – власть наша слишком напоминала мне моих нянек, закидывающих меня в гамак. И тошнотворное колыхание в гамаке до сих пор вспоминается мне, когда я слышу речь очередного благодетеля. «В тени косматой ели... / Качает черт качели / Мохнатою рукой». Нет, не черт, а эта самая молодая баба, бежавшая из деревни от раскулачивания и поющая заунывные свои песенки о залеточке – миленьком ухажере. И о маменьке, которая не велит.

* * *

Метод работы я взял из «Золотой розы» Паустовского: просеивание мусора нашей литературы все же дает золотую субстанцию, которой еще меньше в пыли нашего быта.

* * *

В письме Льву Бондаревскому об особом этносе Ленин-и-бурграда. Я кажусь вам буржуем. Мы здесь все не ананасы и рябчиков жуем; не мы ее, но она нас.

* * *

– Как живешь теперь? – спрашивают. – Как Пушкин до появления Дантеса. Только его талантливости не хватает, ну да это такое, мое дело молодое: 60 лет старости кончились, родился я не в 1928, а в 1988 году. Может быть, талантливость должна взойти не сразу?

* * *

(После похода на Чимган)

И. Бяльский потащил меня в горы, но там-то я только и понял, что

горы Остапу не понравились, они представлялись какой-то гигантской математической абстракцией, элементом какого-то нескончаемого вычислительного развлечения – словно какая-то бухгалтерская машина (или сын бухгалтерский – мешавший папе при сей своей несомненной одаренности) – получила задание начать вычислять «Пи» – и вот, не зная ничего в теории чисел, – прилежно выписывает нам какую-то диаграмму какой-то части десятичного разложения «Пи». Скучное монотонное упражнение под девизом: здесь человек не только не мера всех вещей – здесь он ничему не мера, да и все остальное едва ли себе соразмерно. Здесь, как говорят научные атеисты, – этот храм Природы не восхищает, а только подавляет, а вернее, только претендует подавлять, но дух человека тоже хитер: поняв эту претензию, просто отворачивается (внутренне – то есть отвращается), как мой деликатный крестник Андрей, когда я ему читаю нотацию.

Далее – о чукче, который похож на Бальзака, о Рыхтхэу, единственном удачливом члене Союза Писателей; о Гене Алексееве, заболевшем от тоскливого успеха, – Дудин искал в нем античукчу.

В остальном горы показались мне гигантскими замаскированными «гимнастическими снарядами» – как это называется теперь? – но замаскированными – для привлечения детей к занятиям этой средней атлетикой. Может быть, любимому ученику мелькнули в детстве горы? – но я не испытываю никаких сентиментов, как Бяльский не испытывает никаких метафизических эмоций при посещении церкви. Может быть, меня оставляет равнодушным все, с чем я ровнехонько ничего не могу поделать? Я слишком активная натура. Я могу верить, что как-то со временем повлияю на многомиллиардное человечество. Но не на гору, – потому что много ли в этой массе изменится, даже если ее как-то иначе распределяют в пространстве? Уж тогда меня больше впечатляют астрономические объекты. Или микромировые.

Более того, горы своим утомительным однообразием напоминают те нагромождения банальностей (не говоря о глупости), в которых приходится пребывать и здесь. Любой рукотворный домик инте-

ресней горы Гариузанкар. Альпы и Европейские горы вообще интересны тем, что разделяют миры – вокруг человеческое разнообразие, которого на Востоке я уже и не жду, – там сплошной хаизм растерявшегося туриста или зубрящей бабы: *via Appia* – Аппиева дорога...

Может быть, альпинизм – это декомпенсационная болезнь технического интеллигента из кабинета? Есть ли среди альпинистов инженеры-строители – не из проектных институтов?

* * *

(На Первой линии В.О.)

Сейчас ко мне в окно заглянули бабушка с внуком, и (не видя меня) после паузы бабуся сказала успокоенно-уверенно: – Здесь музей, Алешенька!

* * *

20–30 гг. XX века – это пробуждение подобия личного самосознания в массовом человеке. Тысячи лет он в истории участвовал лишь стихийно-классово, безлично. Все надо успеть при жизни. На «после-смерти» можно отложить только общественное признание своих достижений – это скорее общественная забота, чем моя. Пусть я буду использован посмертно: мой труп, я полагаю, не будет столь брезглив, сколь я стал в результате своего казарменного воспитания. Можно отложить свои общественные успехи. На сто лет, как Стендаль. Менее всего терпит отлагательства фиксация мимотекущих мыслей. Что такое метод? Удачная метафора. Что такое личность? Тот уникальный метод – который нам не дано выбирать.

* * *

(Посвящается особенно Бондаревскому)

В переписке я, как тот политрук у А. Платонова, который меж боя-

ми под Севастополем переворачивает своих солдат с боку на бок – чтобы они лучше выпались.

* * *

Весело мне бывает приходить в ГПБ и видеть, как там еще читают Айхенвальда – не нашего, а деда. Даже удивляются, что у такого деда есть настоящие внуки – зачем говорят, – кому-то в детях иллюзия как бы бессмертия, а кому-то от них только помехи: вот-де опростодетился, как простудился. Ну, говорят, еще не в столь страшный век живем, раз у таких людей еще живое потомство. Да, большой грех гордыни думать, что на тебя непосредственно Антихрист выйдет. Далеко еще до Антихриста.

* * *

Моя переписка подчинена иллюзии, будто друзья сохраняются. В кругу Поприциных и Голядкиных возникла аутопсихотерапия и составила подлинную Вторую Литературную Действительность, описанную Достоевским в 47–49 гг. Эта среда дала и Бенедиктова, и Пруткова, и Северянина, и «Переписку с друзьями» Гоголя, и славянофилов. Все они были титанами самоотверженья. Среди них повезло одному Евтушенке в удачах, как Бродскому – в неудачах: сладкая жизнь, сладимая по-русски, слащавая как подмороженная картошка или чуть поджаренный лук. Люди в наш век гибнут от неразделенной любви к литературе.

* * *

Тост Кучинскому: куда черт не поспеет, туда женщину пошлет. Черт не поспевал за мной, засылал расторопных заместительниц, чертовок. И где уж было ему за нами поспеть: мы жили в такой спешке, что опаздывали на свидания. Он перестал слать чертовок, он выслал на нас два совершенства. «Делай со мной что хочешь» – как в «Смуглой леди сонетов» – «Что ты опять хохочешь?»

* * *

А старость – это могила, выходцы из нее мельтешат среди бела дня, сходят в могилу сколь угодно преждевременно – хотя никто не печатает некрологов.

Все фольклорные фигуры с Того Света списаны с краевых возрастов. «Мертвые остаются молодыми». В представлениях о чертях – по юмору и озорству мы воспроизводим своих детей. Есть что-то в бесах инфантильное навеки. Тролли же и вурдалаки, вампиры и ведьмы – все старухи.

* * *

Большинство наблюденных мной женщин казались мне в прислугах – при своей красоте, при своем нездоровье, даже при своем уме – как у Гали (Старовойтовой). А ум ее кажется вздорной барыней огромного роста и аппетита. Несоответствие духовного развития и внешности разительно у красавиц: они, как богатые наследницы, – без вкуса.

* * *

Функционально влюбленность обуславливает нашу готовность к житейскому оппортунизму? – способность видеть мелькающую женщину неизменной. С течением времени все портится: это позволяет себя чувствовать неизменным – кажется, все портится, кроме тебя самого.

* * *

Смертную казнь выделяет только гротескность. Об этом – «Приглашение на казнь» Набокова. «Чума» Камю ошеломляет разнообразием жестокостей, которые всю жизнь делают затяжной, очень растяжимой церемонией. Она напоминает придурковатую детскую игру, но не столь кошмарную, как тайные расправы XX века. «Процесс» Кафки, который у нас до 70 г. был под запретом, – о том же. Я читал его в английском переводе со странным испугом, что я не читаю, а переживаю ясновидение. Что эта книга – сюжет

из гадальной колоды, – страницы как карты гадалки. Она разворачивает передо мной мою жизнь. И не прошлое, а – будущее. Я читал с рефреном изнутри; не может быть, чтобы это кто-то мог написать, – слишком точно обо мне. Передать поэзию сна и пробуждения к жизни, где все друг другу – палачи, сами того не ведая, не судьи, а враги, исполнители чьих-то приговоров.

* * *

Я зависим от погоды, от облаков больше, чем аристофановский Сократ. Он, «паря в пространствах, мыслил о судьбе светил», – так пушкинский Германн видит во встречных офицерах, дамах и девицах тройки, семерки, тузы; так гоголевский майор Ковалев – свой нос. Я в них вижу неполные дескрипции – в них легче видеть события, чем вещи, – и только социальные конвенции позволяют их распознавать, заставляют их видеть благо в самосохранении и беречь себя. Что считать вещью – короля под вечным шахом или саму эту ситуацию: детерминированный исход игры, расположение фигур?

В «Известиях» императорской АН за 1913 г. фото: портрет барана-архара – красивый после серии портретов академиков, которые напоминали привратников Академии, сановитых швейцаров. Они смело бросаются в пропасть на спиральные пружины своих рогов, головой вниз. Это том 7, Изв. АН.

* * *

И я опять кажусь здоровым, – как в безумном мартовском зайце, как в коте, во мне не то 7, не то 12 жизней – из меня их усердно выколачивают, вытряхивают, приговаривая, что я хитрец, хотел жить за семерых. А мне жизнь единожды, в ней только семь смертей. Окьеркегорит в жаркий день.

В Лене сквозь тонкую ткань чувствую, как она улыбается мне всеми округлостями тела и краснеет в сумерках белья.

А я? «Брожу ли я вдоль улиц шумных, / Вхожу ль во многолюдный

храм, / Сижу ль меж юношей безумных, – / Я предаюсь моим мечтам» – да таким еще мечтам. Того и гляди в самом деле женюсь на 17-летней русалочке-уралочке.

* * *

В Челябинске на одну квадратную душу населения у меня было в 10 раз меньше знакомых, чем в Ленинграде, на одну средневзвешенную, и на одну среднеквадратную в 10 раз меньше.

Женщина с такой тонкой талией, что похожа на то животное, которое сеяло панику среди индейцев, – на разъемное животное – лошадь со всадником. Кентавр не менее пугал древних греков. Она казалась двойным, двойственным существом, совокупившимся в постели под занавесом ее платья. (См. у Ст. Лема двутелы в романе «Эдем»).

* * *

Еще одним детским увлечением было «фланирование» – хождение по улицам с единственной целью рассматривать лица прохожих. Я ни у кого не наблюдал подобной страсти к таким перлюстрациям толпы. Следы вскрылись даже во внезапном моем вкусе к нынешней работе: она дает находить интересные лица в толпе... уносить домой впечатления – как работники всех прочих производств несут домой что случится стащить – кто гайку, кто болт или винт, – таскать им не перетаскать по камушку, по кирпичику пресловутый весь этот завод.

Но мое мальчишеское увлечение перлюстрацией лиц на улице в толпе не вызывало у меня тогда никаких моральных проблем: этично ли это в отношении живого человека...

* * *

Я слушаю критические голоса моих же абстрактов – они всегда окрест меня – они в том родстве друг друга, в каком всегда – население зеркал зала... Роевая жизнь по Толстому – и хоровая...

* * *

В чем хочу быть возвращаемым к себе, так только к мыслям, постигшим меня в моих прошлых существованиях, – молю Бога. Поэтому все записываю за собой, подобно Шекспиру в «Смуглой леди сонетов».

* * *

Слушая руководящих товарищей, населяешься духами покойного А.И. Герцена, а то и Свифта; одержим Салтыковым, видишь Иудушку. А то и пророк Иезекииль навещает меня.

* * *

Я ищу в психологии антиперипатетическую концепцию личности – плюралистическую, а монистическая идет от Сократа через Канта – к экзистенциалистской. Этот плюрализм разработан еще в Египте.

* * *

Я мельник, поставивший мельницу даже не на струях случайностей и времен, а поперек Леты и Коцита, Стикса...

* * *

Может быть, вы мне льстите, но у меня есть основания верить этой лести. Уже 20 и более лет тому от меня ожидали памфлетов – сокрушительных, как верили иные... Затрещит Невский проспект, как случилось бы у Пушкина... но он пренебрег, у него не было еще таких мотивов. Если бы наша история развивалась прогрессивней и наш мужик воспользовался бы ситуацией 1812 года как класс для себя, не пренебрегая классовыми своими интересами... то к Пушкину бы, допустим уцелевшему, на каждом шагу подходил бы каждый встречный представитель революционной демократии с вопросом: что это барчук пишет, бумагу переводит! Наш простолюдин хотя и не так быстро, как французский *сiтоуен* додумался до идеи шпионажа в пользу врагов отечества, но грамотного человека

всегда относил к кляузникам и всякую запись ассоциировал с кабальной, с документальным ограничением чьей-то свободы, с налаганием тягот, тягла, обязательств.

* * *

Если бы история у нас развивалась счастливей, Пугачев истребил бы в Оренбурге всю семью Крыловых и уж во всяком случае судьба Ивана Андреевича не сложилась бы так литературно и традиционно для XVIII века. Но если бы я тогда, 25 лет тому, уступил влечению к памфлетам (моде на них) – то у моих друзей воспоминания обо мне остались много беднее, хотя и ярче!

И даже высоко оценив мои литературные способности, какой-нибудь генерал из Комитета сказал бы в заключение: «Еще одно свидетельство богатства земли нашей литературными талантами! Вот человека этого мы не учили с Чивилихиным и Селюниным! Напротив, где только не держали мы его! И в Союз Михаила Шолохова и Михаила Архангела, Фаддея Булгарина и Александра Фадеева не приглашали. Премий, как Симонову, последнему из Могикан, Оболенских-туземских не сыпали на голову».

Но для генералов талантливость народонаселения всегда только импульс к расточительству: дающего (народная) рука не оскудеет – берущего не отсохнет. Недалекому генералу в высоком Комитете даже невдомек, как давно Англии недостает таких поэтов, как Марло, Шекспир и Джон Донн, – при всем изобилии Стернов и Диккенсов, Киплинггов и кого-то еще. А все за расточительность британской разведки, ухлопавшей Кристофера Марло, запугавшей Донна, надоевшей Донну и очень сузившей творчество Даниэля Дефо.

А я все же пребуду анонимом, чтобы не подвергаться соблазнам подкупа с их стороны, не давать им надежду, что меня можно запугать, – и откроюсь только, когда они и этому не поверят.

* * *

«Какой я мельник» – впрочем и мельник, пустивший на свою

мельницу само время, его воду – на колесо истории! Решено ее (его) колесовать.

* * *

Горит огонь в уличных урнах, как в жертвенниках, на алтарях богини мусорной цивилизации, – и перед этим зрелищем огней на площадях же греют руки бедняги – я здешний ворон, немало бед накаркавший.

* * *

Что надо мемуаристу, чтобы не стать некрологом эпохи? Избегать пошлости потока сознания?

* * *

Великодушный читатель мемуаров должен понять, что не все пишется здесь для его удовольствия: многое выходит за пределы его частной любознательности или субъективных, эстетических запросов и вкусов. Даже в мемуарах есть элементы чисто технологического назначения, адресованные памяти повествователя провокации, – в мемуарах своя технология с конструктивными деталями, ориентирующими не только читательское воображение, но и авторскую память. Рекомендую проверить это по тексту «Былого и дум» Герцена. Само построение воспоминаний обеспечивает их динамику – то есть возможность поднимать на поверхность (в авторское сознание) то лежавшее в глубине памяти содержание, которое послужит реконструкции авторского Я в самом становлении нового для него текста.

* * *

Автор мемуаров не вправе снимать с себя обязанности литератора, если имеет к тому хоть малые способности. Для этого он должен, воздерживаясь от всяких вымыслов, постараться преодолеть типичные для своего времени жанровые шаблоны, по которым мемуары разворачиваются обычно подробно в комментированную анкету, расцвеченную семейными автопортретами в лирических

интерьерах и вставными новеллами из семейных преданий и юношеских лирических авантюр. Большинству наших мемуаристов не хватает чувства юмора, когда повествовать приходится о мрачной обыденности середины нашего века. И да будет опознан этот юмор читателями не в анекдотических мизансценах, а в самом лирическом пафосе припоминания.

* * *

О вертоград моей судьбы уединенный! Положил в премудрости глубокой благословить сей странный вертоград щедротою таинственных наград? Положить в нем в меру я бы был и рад, когда бы знал заранее, что выйду я в 26 лет молод и здоров.

Перебирание годов как четок оказывается попыткой самоопределения личности в обстоятельствах необычайно разнообразных. Я все не тот, каким меня хотели сделать или увидеть или каким я хотел сам стать. Этим я схлопотал глубокие неприязни мне решительно неинтересных людей: слишком часто казался им оборотнем. А Арину Родионовну я вспомнил скорее ради С.С. Преферансова.

Моя переписка уже много лет подчинена иллюзии, что друзья сохраняются не только в моей памяти и привычках общения. Плыть вместе в потоке времени можно только оставаясь совсем рядом. А я был слишком бездомен всю жизнь.

* * *

Писать мемуары кому же, как не жене, – чтобы изъяснить ей свое прошлое. Чтобы освободиться от него – для светлого будущего, когда моя юная жена начнет воплощать в себе мое посмертное существование. В попытке мумифицировать себя в юной изящной девочке. Ведь пытаются же другие воплотиться в своих детях? Но в этом прошлом много ненужного моей ангелической Лене-Милене.

* * *

Если я в чем исключителен, так только в упрямой последователь-

ности, с которой 5 десятилетий меня профессии, жен и оставаясь в ожидании смерти, я углублялся вслед за знаменитым кротом (пресловутым) в недра под Эльсинором, в исторические напластования той сцены, на которой разыгрывалась драма моей судьбы, в компоненты той почвы, в которой был укоренен, с омерзением рассматривая те растительные и фавнические трупки, которые в этой почве перерабатывались в перегной.

* * *

Если Вы одолжите меня малостью терпения, я за полчаса ознакомлю Вас с обманом, единственным в моей жизни, – исходившим от меня в 1945 г. Хотя я давно уже (до 17 лет) восхищался издали великими мистификаторами XVIII века, блеф, допущенный мной один раз в жизни, не был отнюдь там в любви к театру или интриге вообще, но был вынужден выбором в альтернативе (дилемме) – обманывать всю жизнь себя самого, что обычно выбирали наши сограждане в течение уже ста лет – с 40 гг. XIX в. – или обманывать тех, кто только обманом и занимается. Кто-то должен обманчивой надеждой уцелеть или бесспорной угрозой гибели – гнать на гибель конкретных своих людей – это дело средних и низших эшелонов власти соответственно, – высший эшелон власти занят введением в заблуждение врагов – и в мирное время эти люди упражняются в таком искусстве друг на друге, – так понял я события 30–40 гг.

Все там воспитаны в пафосе борьбы, в культе борьбы («единстве противоположностей»), как пояснялся термин «диалектика»), – что с этим поделаешь? Такова по природе «ментальность» политиков – природа «элиты», как теперь выражаются.

Нет войны – и врагами становятся соратники. В среднем эшелоне – генералитете и офицерстве культивируется иллюзия для себя и для масс – что борьба непогибельна для всех. А в сержантско-старшинском составе вырабатывается умение внушать страх, что всякое неповиновение смертельно, а плохое исполнение команды влечет медленную и мучительную гибель.

Мой блеф состоял в том, что к 17 годам (к 45-му) я понял, что как сын

врага народа я не могу рассчитывать на то хорошее образование, на которое могут твердо ориентироваться дети неразоблаченных интеллигентов. И еще я уяснил себе, что в том всероссийском безвременье, которое всерьез и надолго, единственное разумное занятие – это не спасение утопающих на болоте или споткнувшихся на ровном месте, не поводырство у добровольных слепцов и не разыгрывание скопческих оргаистических празднеств для эмансипированных от сатаны добровольных скопцов, андрогинов – не хождение у них в мистагогах – а завершение образования в обстановке, воспетой Тютчевым, – ты «посетил сей мир в его минуты роковые» – так не ищи в сообществе всеблагих высших сил пиров в цыганском, грузинском или даже гусарском смысле. Здесь льет не ветреная Геба и подает не Ганимед. Здесь включенным наблюдением, лишенный надежды попасть на факультеты ИФЛИ или МИМО, где будут готовить патриотическую смену ифлийцам – или на факультеты, где будут разрабатывать атомное оружие и ракетные автоматизированные средства доставки, я решил пробиваться на самое верхотурье созерцания своей эпохи – туда, где дается не унифицированное, а именно универсальное образование: на дно общества, к антиподам, в известном смысле на вершины пониманья.

Мой обман не состоял в провозглашении какой-то лжи от первого лица. Он состоял лишь в гигантской фигуре умолчания. Сентиментальные старики разных возрастов заранее имели мнение обо мне – что я одна из трогательнейших жертв. Менее всего способны были обыватели обоих полов видеть в моем поведении свободный выбор или расчет – а выбор был свободным в очень широких пределах, а расчет был тверд, хотя и не учитывал миллиардов деталей, вообще релевантных любым человеческим интересам.

* * *

Упругие, эластичные, как притяжения небесных тел, духовные связи между людьми и дискретные, но духовные же импульсы, которые еще как-то иначе передаются изредка неисследимыми путями (как об этом говорит в «Идиоте» Достоевский). Не упомяну

всех непосредственных впечатлений, внушавших мне потребность держать сознательно в зубах и жевать ту красивую узду, уздечку, которую время превращало постепенно в духовные узы между мной и отцом, позволяя мне слегка критически корректировать свои детские воспоминания.

Огромную роль в этом сыграли бесчисленные импульсы, исходившие от уцелевшей беллетристической части отцовской библиотеки с характерным отбором в ней двух романов А. Франса и двух Т. Манна и английских, и потому поначалу чисто символических для меня, пленительно иллюстрированных томиков Шекспира – и нескольких брошюрок библиотеки «Огонька», в которых впечатлили меня И. Сельвинский и Бромлей и на всю жизнь потряс Верхарн. События современности повернули все мои чувства к Г. Ибсену сначала не ради «Брандта» и «Пера Гюнта», а ради чрезвычайно злободневных фразовых названий пьес «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» и «Враг народа» – героизация таких персонажей была для меня истинным благовестом в зловещей мгле 40 г., мгле, образуемой газетными шрифтами петит и нонпарель. Они, образуя свинцовую мглу, висели в воздухе как металлические магнитные мушки Станислава Лема в романе «Непобедимый».

* * *

Какой был бы ужас – получить прижизненное признание! Сколько усилий пришлось бы тратить на самозащиту от нежелательных общений, почти принудительных. Я очень быстро бы состарился, к усталости, от общений получив впридачу усталость от удовольствий, – и сдох бы.

В 50–60-е гг. я был окружен только легким ореолом слухов, к нему (ореолу) присматривались и приноживались, но трогать не пытались. Тех, кого он (ореол) затрагивал, тех же он заставлял несколько тянуться передо мной, стараться показать себя достойными молчаливого союза. Утрата этого пиетета Марекотом (Нейшуллером) в 1962 г. была началом будущей эпохи «застоя»: она началась неладами с Китаем.

* * *

Различия поколений колоссальны: мое (поколение), может быть и веселее было, и готово было смеяться почти над чем угодно, кроме одного, пожалуй, кроме одного – своего собственного недопонимания, недообразования, недоинформированности. Когда мы по местонахождению или предмету внимания прикасались к культуре как таковой (а не к массовой культуре), мы чувствовали свою бедность и неразвитость, мы никогда не знали ни тени самодовольства перед тем, чего мы не понимаем. Мы себя чувствовали в самом евангельском смысле «нищими духом», а не счастливыми, которым посчастливилось оказаться на простом пути, где все те главные трудности – это соблазны чрева – желудка или похоти еще нижележащей. Мы могли смеяться вместе с Ильфом и Петровым.

Но еще у нас была внезапная радость в появлении романа Дудинцева «Не хлебом единым». Да, социологический интерес она представляет, но я держусь вкусов своих воспитателей:

Мы были музыкой во льду.

Я говорю про всю среду,

С которой я имел в виду

Сойти со сцены, и сойду.

(Б.Пастернак)

* * *

«Я в долгу перед Бродвейской лампией» и т.д. Поэт всегда должник Вселенной и т.п. Всю жизнь я присматривался к тому, о чем бы я мог снять с себя заботу – «написать об этом еще». И находя роман или статью на одну из своих тем уже готовыми, благодарил Бога: «Ныне отпускаеши, Владыко».

* * *

От самого детства повелось мне видеть социальные формулы на каждом шагу и социалистические отношения находить скорее в оперном быте «Онегина» или других иронических идиллий,

чем в том, что вокруг провозглашало отмену эксплуатации, т.е. извлечения пользы. И доподлинно явная бесполезность насилий, издевательств и т.п. для их исполнителей делала невозможным говорить об эксплуатации. Пушкинские помещики выглядели какими-то вечными кредиторами крестьянства, как бы сознававшего себя в неоплатном долгу у них. Уже у Гоголя эти отношения теряют всякое моральное содержание: должник думает только о том, как бы меньше отдать, а кредитор смотрит на него с отвращением: что с него возьмешь? Пожалуй, нечего, – но с кого еще брать? Дальше будет уже общество по Толстому.

* * *

В метамемуары надо добавить рассказы о миграциях семьи в Челябинбу – о зимовках и романтических переживаниях морозов 40-го: и брат Роальд, и ремонт дома – бордо и фисташковый. Так сложилось отношение к жизни, несколько романтизированное по-немецки, – на представлении о каждодневности опасностей, – а после исчезновения из жизни отца стало воспитывать меня изнутри в духе прямой бесшабашности. А другая ведущая тема – это мать с ее комсомольским комплексом, переходящим в комплекс виновности за происхождение (немецкое: с 1941 г. позорное, не так ли?).

* * *

... и высокая музыка жизни. И я не боялся их только как пронизательный читатель не слишком боится за героя любимого писателя: автор не дурак, и главными персонажами швыряться не станет (зря жертвовать не станет). Главный герой пригодится до конца книги, да и зачем ее и его кончать? С помощью автора (как с помощью Божьей) наш герой выйдет из любых положений (хотя я что-то и не придумую, как – тем лучше!) и справится с любыми врагами, как я. Ибо какими же глупцами надо быть, чтобы на нас дерзать. Разве мы кого-то хотим обездолить или унизить?

* * *

А сейчас десятки моих просвещенных знакомцев упорно советуют мне писать именно мемуары – но когда я начинаю устно развивать какой-нибудь виртуальный сюжет потенциальных мемуаров, мои слушатели испытывают явную тревогу и стороннюю озабоченность, долго озадачивавшую меня. С чего это им нужны мои литературные триумфы – если сами они не чувствуют в себе вкуса к тому, что я могу предложить? Что это – дешевая доброжелательность как символический иллюкутивный акт: прошу считать и меня интеллигентным? Способ отделаться от моих притязаний на внимание ко мне лично? Скорей всего это было прагматизмом вечно занятых людей, которым некогда было входить в детали моих рассказов. И то, что я напишу, они читать не будут, – но популярность моего имени позволит тогда им похвастать своим знакомством со мной и написать свои комментарии к нечитанным мемуарам.

* * *

Из растерянности перед рыночным равноправием ценностей многих культур возникает экстагическое стремление во всем успеть и выйти в первые.

Так сложился пространный пролог к Все-По-Мина-Нию. Речь о первом моем самостоятельном чтении: это «Завоевание Земли» Ж. Верна. Я получил его после очередного бунта, в которых я эмансипировался от женских воспитательных забот бабушки и других нянек (домработниц). Получив «Гулливера», я старался изготовить себе камзолы и т.п. Чтение давалось, как все механические навыки, мне с большим трудом. Когда я добрался до второго тома – «Мореплаватели XVIII столетия», я решил, что еще хороши – набедренные повязки.

* * *

На вопросы о моей жизни отвечаю а-ля-Маяковский: «Как вам

нравится бездна?» – и уже мне отвечают любезно: «Прекрасная бездна, бездна – восторг!»

* * *

Чистосердечное признание автора в своей виновности. Что он Гекубе, что она – ему? Воспоминания о хамперии.

Фантазия – это работа внимания. К головоломкам из закодированных рисунков, предстающих в виде хаотического переплетения линий. «Найти охотника, собаку и зайца и пр.».

* * *

Я не знаю более эффектного начала мемуаров, чем у Герцена: по улицам пылающей Москвы бродит обескураженное семейство дипломата в отставке, на руках у кормилицы ребенок, которому с этого момента будет суждено видеть себя в центре почти всех важных событий века. Он начинает жизнь среди самых эксцентричных проявлений человеческих возможностей, как если бы ему было самому выбрать время и место явления на свет в качестве наблюдателя того, как конкретно работает рок.

* * *

Мои письма стали мне нудны как сочинение од на заказ.

* * *

Может быть, мемуары следует начать так: «Шилом моря не нагрешь, X-ем (хреном) душу не спасешь», как говаривал частенько Иван Денисович, сосед по нарам, вероятно встречавшийся и А.И. Солженицыну. Я не приношу извинений за непонятное слово или странный душеспасительный термин, который каждый ребенок с двух лет слышит у нас на всех улицах и усваивает его смысл строго по Витгенштейну: значение слова определяется в контексте по правилам его употребления, которые меняются так, что очень позд-

но девочки узнают, что слово значило первоначально-остенсивно: так вот оно какое.

* * *

Теперь уже определенно слово интеллигент выглядит как термин, придуманный для специфически русского бахвальства (национального чванства). Не имея подлинной аристократии, не желая ее видеть в стремительно скудеющем дворянстве, взяли категорию людей, которые в Англии скромно приписывали бы к своей фамилии три буквы esq. (эсквайр), и стали называть это интеллигенцией. Тон в ней скорее стали задавать перебежчики из духовного сословия, отрекавшиеся от всего, что связано с их происхождением. Эти люди парадоксально гипертрофировали в себе как раз то, что презирали в отцах и дедах своих: их главным делом стало не столько работать над чем-нибудь (хотя бы над собой – своим образованием, воспитанием и т.п.), но служение чему-нибудь, носившему принципиально безличный характер. Нет, не чему-то конкретному служить – это слишком подобно труду, работе. То есть не науке служить или семье. Не конкретному человеку, а человечеству в целом. Эту фантазию подхватил как уместную простуду даже главный диагност интеллигенции Достоевский: Россия не помирится ни на чем меньшем – только на всечеловеческом счастье. Служить России? Да, но только не той, которая есть, но определяемой через сплошные отрицанья. Отечество славлю, которое будет. После Апокалипсиса.

Все это так естественно для безместного попа, сбежавшего в фетишистскую веру.

* * *

Карты моего пасьянса – это почтовые открытки, которые моя дочь могла бы тасовать с особым интересом.

* * *

«Не лепо ли ны бяшетъ...» – по замыслению Бояню – что

де-мол «В трех щелоках выварены, в трех кровях омыты – чище мы чистого» – это в «Хождении по мукам» – а «Кровь людская не водица». Идут шаркая, волоча ноги, топя – не то прусским парадным строевым, не то в ритмах твердого (хард) рока или хэви-тяжкого металла (хотя тяжелейшие металлы – это золото и радио-активные?)

* * *

Когда я вспоминаю толпы Ивана Денисовича, я вызываю у друзей недоумение: о трагедии все говорят взхлеб, обливаясь уже совсем бескровными слезами. А точнее, захлебываясь фраза за фразой всякой сентиментальщиной этикетной литературы, всякого рода холодной лимфой риторики, так похожей издали на горячие слезы. Истечение лимфы из пожилой упитанной нимфы вместо кровавых слез, вместо источения духа.

Поэтому я и сейчас без всякой злобы отказываюсь совокупляться с народом, – его соплями и слезами, – но я не против того, чтобы вместе с ним посмеяться тем смехом, который Шекспиру внушили современники, – как это разыграно в разговорах Гамлета с актерами. Он им преподает урок благородной сдержанности.

* * *

И все-таки детство свое я выношу на ваше обозрение осторожно, как древнюю вазу из археологического раскопа – может быть, это детство и не представляет собой того материала, который годился бы на переплавку и перековку в любые формы, как биографии из благородных металлов в судьбах знаменитых и знаменитейших людей – я думаю, что вы...

* * *

Я, 53 года, с любопытством всматриваюсь в лица современников-соотечественников с мыслью: как у них комбинируются бдительная зоркость к конкретным опасностям с почти полной слепотой к социальным человеческим смыслам результатов их жизни.

То есть просматриваю странные комбинации звериной зоркости и человеческой слепоты своих соотечественников. Я не хотел сказать, что сознавал свой интерес так четко уже 53 года тому назад, – я десятки лет не умел разделять в своем интересе его сознательные и бессознательные компоненты (слагаемые), но теперь я мог бы выписать формулы, в которых они сочетались в разные периоды моей жизни. С тех пор я не могу серьезно относиться к эмоциональности соотечественников – просмотрев и прослушав их массовое молчание перед тем, от чего нормальный человек вопил бы в ужасе и блевал, потеряв всякий самоконтроль.

* * *

Всемогущий Творец ждал 6 тысяч лет (в его собственном, вероятно, исчислении), пока не нашелся человек (Кеплер), понявший законы, по которым он запустил в обращение свои светила. Я тем более могу подождать еще 6 тысяч лет. Но и я еще тем более могу подождать со своими догадками о «механизмах» (или органике, если угодно) культур и истории их ...

* * *

Мне отказывали в свободе, в ответах на самые простые вопросы; не очень высоко признавалось мое право на жизнь. Но я не помню, чтобы мне отказывали в уважении. Разве что там, где об уважении не имеют ни малейшего понятия. Есть слои общества, в которых вполне достаточно оказалось страхов, – какие там еще уважения?

* * *

Нагло заявив, что гением родился и чувствовал себя на протяжении всей жизни, я чувствую теперь в себе подобие везомого на казнь (не то ведомого ночью по городу К. из «Процесса» уже на последнем десятке страниц, – не то одного из французов 93 г. (А.Шенье), что прикасались пальцами ко лбу со словами: «А кажется, у меня здесь что-то было»). Это ясная мысль «уже поздно», и можно еще присесть к столу, но записать успеешь только главное.

* * *

Жизнь моя необычайно четко делилась на периоды, между которыми вся обстановка ее вдруг вызывала как бы глотательные спазмы, прогонявшие меня толчками в новое пространство-время. Это толчки января 1928, декабррей 1937 и 1945, июля 1954, лета 1963, марта 1971 и мая 1978.

* * *

Я не могу здесь культивировать память как некую сокровищницу истории нашей культуры, – то есть не могу уподобляться великим вдовам великих поэтов. Наталья Николаевна Пушкина умела неплохо излагать свои мысли, и если не оставила воспоминаний о муже, то, очевидно, сознавая немалую свою виновность перед ним, – она была честнее и великодушной всех, кто позволял себе адвоцировать и провоцировать толки, не исключая Цветаевой.

Итак, если мой рассказ о быте и конъюнктуре 30 годов здесь неполон, не посетуй, – я откладываю еще кое-что до четвертой книги, где появится надобность или мотивированность дорисовки кое-каких деталей.

* * *

У Чехова стала знаменита фраза о том, что если на сцене вывешено ружье, то до финала спектакля режиссер должен использовать его по назначению. Ионеско-парадоксалист использовал по назначению само это замечание: в его ранней пьесе «Носороги» главный персонаж перед смертью хватает то самое ружье со стены, чтобы расстреливать – перед собственной смертью – вчерашних друзей, превращающихся у него на глазах в носорогов. Так Ионеско через полвека обыграл чеховскую метафору. Чехов мог иметь простое требование, чтобы искусство не держало у нас перед глазами ничего лишнего; потому что со времен барокко оно сплошь украшало жизнь символическими да аллегорическими аксессуарами. Вроде ружей, обязательных в некоторых интерьерах. Но упоминание ружья и выстрела (слишком часто цитируемое) становилось у Че-

хова аллегорией в свою очередь. И вот Ионеско выстрелил из чеховского ружья, исторический контекст уплотнился – благодаря этому абсурдисту наследие рационалиста Чехова обогатилось.

На том завершилось мое политическое воспитание.

* * *

Радиальная композиция моих критических самосозерцаний (в которых субъект, водитель пера, должен становиться для себя все прозрачнее и прозрачнее, жертвуя своей плотностью делу оплотнения и воплощения всего виденного и слышанного (т.е. других людей)).

Параллельность самонаблюдений, радиально ориентированных на горизонты будущего – позволит в каждом случае чисто технических деталей эпохи касаться лишь в меру надобности, не беря на себя прозы нравоописательства и сенсационного разоблачительства.

* * *

В мемуарах восприятие человеческого времени радикально отлично от абстрактного понятия времени как четвертого измерения физической реальности. Время мемуарной литературы – это причудливый, весьма конкретный пейзаж пространства событий и их эмоционального освещения. Оно, это время человеческого восприятия истории, разворачивается как многомерное пространство переживаний обстоятельств, упорядоченных относительно связи воспоминаний, в которых моменты настоящего суть только отдельные точки восхождения, расширяющие горизонты, из-за которых выступают все новые и новые очертания будущего.

* * *

Возможно, это связано с тем, как романтически-бурно я провел большую часть своей жизни, но мне на все остатки этой жизни гораздо интересней видеть свою последнюю жену, чем, скажем, всю Америку или даже Великобританию с попутными пейзажами

Франции и Рейнландии тоже. Ибо блажен, кто смолоду был молод...

Нормальный совок (советский человек) под своей жизнью понимает короткий временной интервал, в котором часы и минуты «настоящего» времени различаются так, что можно говорить о какой-то метрике (измеримости) времени, а отдаленные дни и месяцы прошлого практически неразличимы (в них различимы только даты, маркирующие астрономические либо исторические события), но никак не различаются самочувствия субъекта, носителя юридического лица, именующего себя автором мемуаров с использованием местоимения Я.

* * *

Я попал в машину карательной системы таким молодым, что они не знали, какая в том польза; я же использовал ситуацию как «машину времени» – я был переброшен туда – «к погибшим поколеньям».

*Я обещал, что мы придем туда,
Где ты увидишь, как томятся тени,
Свет разума утратив навсегда, –*

вспомнил я стихи Данте, но тут же поправил себя: вокруг меня именно там люди были – живее всех живых.

* * *

Если бы я в мемуарах сказал, что сознательно пошел в тюрьму как в академию, единственную в своем роде, мне бы не поверили. Но если бы я сказал, что перед тем пытался покончить жизнь самоубийством, то никто бы не удивился, вспоминая, что в 17 лет такие попытки совершают многие юноши и, как правило, не вполне искренне, не слишком последовательно, так что в большинстве случаев самоубийства предотвращаются. Так думал и обо мне кое-кто десятки лет, не понимая, что я действительно любой ценой готов был выйти из регламентированной для страны жизни; но зачем же

непреренно самым эгоистичным, самым бесполезным способом, от которого отстуетается и Гамлет?

* * *

Я помню, как я в детстве проделал некий подвиг в этом роде, устроил переключку числам натурального ряда и, добравшись до ста, махнул рукой на них, распустил числа не то что на все четыре стороны, на те три измерения пространства, в которые укладывается мир видимый, и на остальные, сопряженные ему протяжения (многообразия).

Терпимость как нескучливость вырабатывается у нас в нашей великой Вымиральне за полугодие зимы и принудительного сидения дома.

* * *

Таков был каприз автора – часть текста мемуаров писать (исполнить) в старинных ритмизированных формах, что ни к чему не обязывает читателя, равно как и автора не обязывает ни к чему, в том числе не обязывает претенциозно объяснять свои представления о ритмике русского языка, о «семантическом ореоле различных интонационных строев», образующих не только ритмику, а метрику.

* * *

Моя жизнь наиболее общей характеристикой имела постоянно-принудительное отлагательство: приходилось откладывать окончательное решение всех проблем, возникавших как призрак отца из-под земли. Не здесь ли объяснение отлагательств Гамлета: он не может решить все проблемы сразу и не знает, с какой начать.

* * *

Что может быть интересней сопоставления биографий Марко Поло и Данте? – для масштаба можно этим современникам сопоставить

еще и Франциска Ассизского с Абельяром. И блаженного Августина, – сколь это все (после Христа!) далеко от жизнеописаний Плутарха.

* * *

Любая биография успешна в той мере, в какой удостоверяет нас в единстве жизни, вместившей множество событий, на чей-то взгляд несовместимых. Наша литература умудрилась вслед за Диккенсом создать роман из биографий нулевых, абсолютно бессобытийных: о невесте, прождавшей жениха, не выходя из дома 50 лет (забытье, утрата чувства юмора?), о простой душе какого-нибудь Флобера, воскрешающая биографии из классических житий? «Он в том покое поселился, / Где деревенский старожил...» (Пушкин, «Онегин»). Где через два-три поколения В.В. Розанов пишет свои замечания на все и на вся, на древнеегипетские чувства и догадки о будущем унтерганг дес абендландес (Закате Европы). Чем хуже похрапывания И.И. Обломова или кабинетной войны Л.Н. Толстого со всеми заблуждениями цивилизации, т.е. в основном со всей Европой? Все эти опусы в искусствах «времени бремя избыть» – современные заботам Блока («Жизнь без начала и конца...»), «Рожденные в года глухие...», «Век девятнадцатый, железный...», Двадцатый век еще железней), М. Пруста в «Поисках за утраченным временем» и В.В. Набокова (читай «Другие берега» и т.п.) или мое «В честь смертных времен и в память о них».

Они (Блок, Пруст, Набоков) хорошо понимали своих антагонистов – Белого с его «Котиком Летаевым», Розанова и Ремизова, или собственно Лужина со всей его уверенностью, что все существование среди людей – один головоломный этюд, в котором он сам, Лужин, отождествляет себя с главной фигурой на доске, с королем черных. Какая антитеза персонажам, заявляющим о себе таким доверием Печорина накануне дуэли – «... и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? Для какой цели я родился? А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе силы необъятные».

* * *

Мемуары – только предлог для меня – кто станет слушать мои эклоги той эпохе? А вот историю моих приключений (по уверениям всех знакомых) читать будут запоем – я воспеть хочу эпоху (распахать и распахнуть).

* * *

Герцен создает мемуары на одну тему: «Я и другие великие люди, состоявшиеся (Наполеон, Гарибальди) и неудавшиеся (отец, петрашевцы, Кетчер, Грановский и т.п., Николай I и Александр II и т.д.)».

Как проигрывают все, кто не имел дела с Герценом, – все эти Пушкины и Лермонтовы: не то что Огарев! Сам по себе мумификатор.

* * *

Я имел все пороки, кроме зависти. За всю жизнь не припомню человека, которому позавидовал бы (хотя и восхищался). Нельзя же считать завистью чувства, которые испытываешь к людям, жившим до меня. Или к человеку очень далекого мне строя чувств, такого, как Бродский. Что это во мне – юродство?

* * *

Цыганский эпитафия к «Метамемуарам» на мотив, припев к которому: «Эх раз, еще раз: / В чистом поле огоньки, / Дальняя дорога».

*Эх, мчатся сани, да едут сани,
Да по сугробам да по уступам.
Да мчатся сани да не – пустые,
А с красивым юным трупом.*

* * *

*На Беркли-сквере Томлинсон
Скончался в два часа,*

Явился Дьявол и схватил

Его за волоса...

(Киплинг)

Большинство моих друзей в СПб, Москве и Челябине прожили жизнь как на Беркли-сквере и еще того, лучше, аутентичней для Беркли-сквера и Блумсбери, аутентичней, чем это обычно свойственно лондонцам и природным англичанам. Все высшие их интересы сводились к собиранию слухов о том, что происходит в Большом мире и что говорят отмеченные славой люди друг о друге.

Напротив, Ваш покорный слуга с 10 лет жил как тот самый Томлинсон, которому явился дьявол в декабре, – и вот схватил его за волоса – чтоб в дальний путь нести – «И я услышал шум воды, шум млечного пути». Многим кажется, наверно, что волосы у них торчат дыбом в течение всей жизни, – но это метафизическая иллюзия. У меня, напротив, волосы напряжены не от ужаса, но от усилий дьявола, десятки лет тащившего меня волоком по космической пустыне, редко засеянной крупными камнями звезд и планет.

* * *

«А я слышал, что Динабург – это человек, который любит людей», – сказал И. Кузьмин. Я очень удивился: вообще любя живое, я менее всего был склонен выдвигать на привилегированное место людей. Человека – еще куда ни шло, ибо человек – в русском языке слово, не однокоренное люду-людям, т.е. даже по имени своему сородичам своим не товарищ в том же смысле, что не товарищ и гусь – свинье. Человек – это ставилось всегда в пример людям, если не в укор им.

Люди, в отличие от отдельного человека, среди крупных животных – опаснейшие и гнуснейшие. Вряд ли одинокий человек способен измыслить что-то экологически опасное и жестокое, – разве что это Робинзон еще слишком много сохранил социального в себе...

* * *

Большевики, замучившие моего отца, не были злейшими или жесточайшими на земле садистами: достаточно вспомнить нацистов. И все же для России это были опаснейшие мародеры, а именно – выжиги, думавшие не о себе и не об одних своих наследниках: это были выжиги-футуристы, озабоченные, чтобы будущее их потомство было не просто гарантировано и застраховано, но даже детерминировано: чтобы никакой потомок не мог впасть не только в нищету, но хотя бы даже в свободомыслие, как государство до 1905 г. заботилось об уголовном преследовании за впадение в иноверие (ересь и то легче?).

Итак, не требуйте от меня раболепия в отношении народа: не буду я лепить из себя раба, ни образа его лепить не буду.

* * *

На седьмом десятке лет я многих неприятно поразил своей жизненной неспособностью, – ибо чувство справедливости у людей вполне естественно на вере в свою привилегированность: ближние существуют не сами по себе и уже тем более не для того, чтобы козырять перед нами благоволением богов, которые дают, к нашей досаде, кому-то именно то, в чем нам отказывают. Вообще же большинство настроено замечать лишь микроскопические различия в индивидах, все значительное приписывая различиям в «положениях на местности».

* * *

Меня в ГУЛАГе называли fun-maker'ом.

* * *

Вторым святым местом России середины века был СПб с пригородами, да пожалуй Таллинн, а кому-нибудь, но не мне – Одесса, Львов или что-нибудь еще вплоть до Тарусы и Тарту.

Обломовский натурализм начался у нас не с Гоголя, а с Тургенева: он

первый научился у нас писать с натуры, вызвав бунт Достоевского. Герцен тоже натуралист, но с красноречивым глазом.

* * *

В середине XX в. в России еще были святые места, – и это, конечно, были не памятники церковного зодчества и всяческие подмошки юродства, вроде кремлей, театров кознодейства и казнетворчества, святыми местами России стали острова ГУЛАГа: там из разных развездяев делали мучеников; и уже не к героям, но к тем развездяям, которые хоть что-то могли рассказать о Прошлом небутафорской истории, – туда я и устремился в свои 17 лет, – совсем не потому, что испытывал женскую податливость року или мазохистский юмор. Просто всякую другую жизнь, доступную в нашей стране всяким Э. Лимоновым и прочим вундеркиндам, – я слишком презирал. Всем презрением мальчика, который слишком хорошо усвоил географический факт: нет больше архипелагов для Куков и Лаперузов, для переименований в землю Санникова или еще в кого-нибудь, в земли Ленина или Зюганова. ГУЛАГ был естественным заповедником миропознания, и жизнь в нем более значительна, чем у космонавтов, т.е. тех придатков приборных панелей, в которые они встраиваются, – путем тренировок, в качестве марксистских придатков к машине (кто, кстати, первым пустил в оборот эту звездную формулу, – звездную для времен, еще не имевших слов робот, зомби, киборг и манкурт?). И я имею в виду еще одно подобное словечко для своего современника, слово, созвучное загадочной птице козодой и древнерусскому слову кознодей (творящий козни интриган). Когда я слышу, как, подражая американской молодежи, визжат наши гундосые и гунявые малявки или рычат их упаренные пляской парни, я думаю: вот звездодуй!

* * *

Не от ислама ли унаследовано то почитание плоти, которое (у нас) наводит на веру, будто человеческие останки (в качестве документа? хромосомного паспорта) совершенно необходимы Творцу неба и Земли на случай, если Ему угодно будет восстановить личность,

чей дух отделился уже от тела? И будто бы Всемогущему Богу никак не восстановить в таком духе (в такой душе) живую память о том теле, с которым он (она) хотел бы соединиться навеки, – как в браке, заключаемом на небесах. По ряду обстоятельств мне не пришлось проникнуться обычной верой (или заботой о своих или чужих останках) и фетишистскими чувствами и т.д. Вещи, отыграв свои роли в событиях, становятся всего лишь экскрементами событий; жизнь не в вещах, хотя бы и органических, а только в событиях. Но все это не основание для нечестивого отношения к этим экскрементам. И тема почитания прошлых событий (жизней, прошлого в целом) – тема навязчивая у него (Пушкина?). Мне же остался до сих пор неисполненный долг – поставить памятники людям, похоронить которых мне не было дано, – начиная с моего отца, зарытого анонимно в братской могиле, и кончая людьми, память которых пытаются присвоить себе всевозможные пошлые фанаты (П.Н. Савицкого, Л.Н. Гумилева), или просто людьми безвозвратно утраченных времен.

* * *

Обо всех моих бывших женах и «невестах» можно было бы сказать много хорошего даже по воспоминаниям, тем более, если четко восстановить те образы, которые они умели успешно носить на себе в первые месяцы знакомства. Но по шутивому определению в метафизике, время – это то, что портит все, даже независимо от того, управляет ли временем кто-либо, или даже само собой не владеет, т.е. не управляет. С течением времени изнашивает свой образ и женщина, а если из «чертовой кожи» или джинсовой ткани, все равно ей захочется походить в каком-нибудь новом виде, хотя бы обернувшись старухой, – ведь сделать наоборот и предстать Хоме Бруту омоложенной лет на 20 было бы еще труднее, судя по всему, что мы только знаем.

Last but not least среди них могла бы всех превзойти, ибо остальные были дамами просто приятными, то есть прекрасны лишь в некоторых отношениях. С легкого гоголевского пера вспорхнула в нашу философскую терминологию диалектическая формула «в одном

отношении» и «в другом отношении» – с той же легкостью, как и выражение «с одной стороны» или «с другой стороны», как если бы эта самая послекантовская диалектика уже построила что-либо вроде исчисления отношений (высшую алгебру) и построила топологию, позволяющую определить достоверно (эффективно, надежно, т.е. душеспасительно), какие из сторон или аспектов, воспринимаемых одновременно или последовательно, могут принадлежать одному и тому же целому, т.е. соппринадлежно друг другу. Тогда еще не знали даже теорем о неподвижной точке, которые хоть что-то говорят о таких соппринадлежностях, о связностях всякого рода метаморфов и метафоритмов. Зато уже в гоголевские времена любой портретист и фотограф знал, что если хотят пикового Германна или Чичикова усадить, как надо, и что-нибудь в нем отретушировать (убавить или прибавить), то с этих натурщиков можно смело писать портреты Наполеона (и близких его эпигонов).

* * *

Все мои разочарования в женщинах я мог свести к констатации того, что в большинстве случаев мне было бы лучше смотреть на них как на образцы скульптурной или балетной пластики, не вступая в отношения драматического искусства; в крайнем случае следует довольствоваться жанрами салонной комедии или карнавальной игры, но уж никак не входя в совместные сны или дрему вдвоем.

* * *

Только к 93 г. (к своим 65 годам) я освободился от образа угнетенного народа и перестал смотреть на мат как на диамат, большевистский жаргон. Мат – это семантический класс усилительных частиц типа частицы «же» или «ну» или английского «to», – она обозначает позицию отсутствующего (угадываемого – эллипсис!) глагола по схеме «мать твою за ногу!».

* * *

У мемуаров перед романами огромное преимущество в том, что автору нет нужды сочинять ту сторону сюжета, которая называется фабулой, – за масштаб и связь событий во времени автор не отвечает, да и ответственные ли за них центральные персонажи сюжета, т.е. автор-в-свете-памяти, «герой», каким он вспоминается себе. «Рожденные в года глухие / Пути не помнят своего» (А. Блок). Пруст своему роману отвоевывает это достоинство, строя его в обратной перспективе: мы, читатели, с первых страниц многотомного повествования успокоены: автор с нами, и смерть ему грозит только издали, как и нам, пожалуй.

Предзаданный, детерминистский порядок фабулы может восприниматься уже только как общеизвестный, детерминированный, и для читательского сознания аспект мировой истории – аспект космической топологии. Здесь топосы, которых мы не выбираем.

* * *

Большой ум теоретика (не изобретателя!) явно связан с простодушием, точнее наивностью, ибо простота, что хуже воровства, часто сочетает душевность с хитростью, а не умом. Наивности умозрителей удивляться приходится больше, чем успеху, возвращаемую через тысячелетия и к Платону, и к Макиавелли или даже к Буддам и Лао-Цзы. Даже Горбачев хотел быть ловкачом, но оказался чемпионом наивности вместе со всем советским народом. Что может быть наивней нарциссизма, особенно в ситуации Фальстафовой?

Благодарнейшим по наивности бюрократом родился и подрастал мой школьный друг-консорт Г.И. Бондарев. Без большого ума к 17 годам никак не сохранишь наивности Нарцисса. Наши разногласия самый острый характер обрели после известия о Нагасаки и Хиросиме. Добро вызывается к жизни злом (к бытию, к реализации – изоморфных пространств Возможного-случайного), – но это так устраивают боги: это их игра. Люди же должны стремиться только к добру (не через любые средства, а только через добро же). Это слова Ганди. Но со времен Платона и до Гегеля и Маркса в моду

входила игра в бога, – на ней особенно настаивал Гегель и вообще немецкий профессионализм до Хоркхаймера и Адорно и далее.

Я уверен, что главной погибелью коммунизма и СССР была гонка атомных вооружений на протяжении 40 лет. Без нашей атомной державы мир в целом был бы гораздо мягче; даже исламский экстремизм не воспитал бы в себе такой экзальтации-пассионарности. И политическая целостность СССР могла бы пережить даже его футурологическое перерождение в буржуазную страну, в либеральную, в интернационал соседей, содержателей мелких обоюдных интересов – блок жирных колбас и тощих сосисок, купат и т.п. по Рабле.

* * *

За свое дерзковатое легкомыслие нескольких месяцев 1945 г. я был чрезвычайно щедро взыскан. В отличие от однодельцев, я до ареста воспринимал окружающее скорее глазами эколога, чем политического или социального мистика. В пространстве СССР мне виделась экологическая ниша, что называлось парком в Англии когда-то, – и тем скотным двором, на который кухарка, государством правящая, в любое утро может выйти с топором или ножом, чтобы выбрать себе на убой скотинку или птичку. Не желая хотя бы себе показаться скотиной, я попытался преобразить хотя бы себя и друзей в некие мифические существа, во птицевеоря, крылатого зверя, способного сразиться с государственной кухаркой при самых неблагоприятных обстоятельствах, в полной обреченности. Разумеется, не было у нас тогда в обиходе слова для обозначения понятия «экология», не было и понятия о том, чем бывают парки (наряду с нашими парками имени Культуры и Отдыха). У нас была культура имени Горького.

Щедрой наградой за дерзкое легкомыслие стало для меня путешествие по тому нашему Зазеркалью социализма, которое прославлено под именем ГУЛАГа. Только в некоторых фильмах Феллини случилось мне впоследствии видеть живописные образы чего-то сравнимого с реальностью этого осязательно освоенного мной За-

зеркаля. Каково же было мое изумление перед откровенной незаинтересованностью этим трансцендентальным миром во всей посюсторонней России! Тем хуже для нее, – пришлось мне заключить по впечатлениям об этом трусливом безразличии всех ко всему. Тем хуже для них, – чем бездушней ходят они по этой почве, тем немилосердней они будут наказаны (все сразу) Историей. Видимо, в Историю они просто не верят, выдавая себе за историю всего лишь хронологическую последовательность происшествий; сохраненных Летописанием и архивами для их чванливой и трусливой памяти, кичливой и трусливой выше всякой фантазии раблезиад и швейкиад.

* * *

Метамемуары с общим заголовком: «Двадцать эссе из собственной жизни». Если эссе из собственной жизни... на темы культурологии – жанр эссеистики.

* * *

Заголовки к мемуарам и эпитафии:

Рыбовладельческое государство, – но и в нем человек по природе бобр. Бобры, будьте добры!

Если кто-то звал кого-то
Сквозь густую ложь –
Что с него возьмешь?
И какая нам забота,
Если у межи
Повстречался с кем-то кто-то...

Посети мой бедный прах;
А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах!
(«Дженни вымокла до нитки»)

Матильды чистый дух тебя зовет!

* * *

Мемуары не должны быть автопортретом, что с ними все-таки часто случается.

А культ безличности? Диалектики хватит на все – и на этот, и на культ личности.

Гегель – это философия оптимизма, который тоже хочет жить, как тот цыпленок.

* * *

В моих мемуарах две главы должны начинаться так: «По утрам газеты и радио спешат напомнить о возможности приобрести билеты на спектакли, задуманные как раз для тех, кто совершенно не воспитан в смотреии города как спектакля». Может быть, где-то во Франции природная среда так приторно сладка, что нужен именно театр, в котором предложенный фон нарочито искусствен – до абсурда. Но нам, русским, это чуждо, природа вокруг так игрива, что Петербург у нас всегда спектакль с участием луны и солнца, погоды (часто не по сезону, но по масштабам совершенно безыскусственной) и меня самого, поскольку действия города, погоды и т.п. зависят в высшей мере от моих перемещений по пространству.

Другая глава (может быть, Первая) должна начинаться игрой отца с моим пистолетом. Потом Катриона...

* * *

(Разговор с Л.Н. Гумилевым)

– Что делать, если все мои следователи были евреи...

– Благодарить Бога! Вероятно, Вас оберегали даже в ГПУ: на Вас спускали лучших полемистов. Скорее всего, они сами напрашивались из любопытства, что-нибудь да слышав о папе и маме...

Психология Павлика Морозова была им не интересна: впрочем, Ваши учения о пассионариях должны были их разочаровать; преданность близким должна казаться Вам теперь проявлением всего

лишь умственной ограниченности: Ваш Гамлет должен был бы проявить больше макиавеллизма, победив зараз всех, не исключая Фортинбраса и не поддаваясь эдиповским переживаниям. Да не так ли и введут себя Ваши бесчисленные мини-гамлеты от монгольских царевичей до стамбульских янычар? О них не сыграешь высоких трагедий, прославляющих вещи интуиции мудрости; но хитрость в роли мудрости и пронизательность во всем, что составляет слабости и мелочи человеческой психологии, – этого в мини-гамлетах, то есть в Ваших историях о них, – достаточно на десятки книг из жанра тюремного романа...

(Я опускаю его ответы: их можно вычитать в его книгах, они не содержали бы ничего нового по сравнению с тем, что он уже опубликовал). Мне оставалось прокомментировать еще его собственную минигамлетическую судьбу.

Если бы не евреев послала бы Вам партия в следователи Ваши, Вы бы не дожили до столь почтенного возраста: любой природный евразиец вышел бы из терпения очень быстро и пустил бы в ход типично евразийскую кулачную аргументацию, а Вы бы этого тоже не смогли бы стерпеть. И Вас бы забили они на конвейере своем. Если бы я попал к следователям-евреям, наши препирательства с ними очень быстро привели бы следствие к результатам, которые обеспечили бы мне расстрел или эквивалентную ему каторгу.

Но среди моих следователей был всего один еврей, хотя кого только не было, даже Черненко... Мои следователи пасовали и трусили от прямоты моих ответов, а мне ничего страшнее жизни того времени – ничего не виделось. Я в той самой жизни вел свою иную жизнь. Они трусили и уклонялись от любого углубления, затронутых нами тем, не исключая зам.ген.прокурора Белкина.

* * *

Человек, причислявший себя к советской интеллигенции, ожидал извинений от всякого, толкнувшего его на тротуаре или в общественном транспорте. Но он посмотрел бы на себя как на идиота, если бы я придал значение каким-нибудь извинениям от имени на-

рода, от лица партии или лично от главы государства. Но бахтинствующий интеллигент охотно пошел бы на мистификацию в духе такой церемонии сатисфакции (компенсации за моральный ущерб); да и чем были наши реабилитации в 39, в 57 или 62 гг., как не доведенными до фарса сатисфакциями такого рода? Помните шекспировские церемониалы с такого рода сатисфакциями? Человек, вступающий в тяжбу с государством, – с таким Левиафаном-Бегемотом-Носорогом, как наше Отечество, сам уподобляется некоему Фальстафу.

* * *

Добрый мой покровитель и приятель, разжалованный в ээки, полковник (кавалерии) Волошин говаривал: «Наше дело – сделать тело, а Бог душу вложит». Самый сильный довод теизма – невозможность родителям или самому человеку приписать проект, реализованный в его плоти, воле, судьбе и всем прочем, что он захочет считать своим. Но даже доказав свою невиновность (в том, каков он: Яго так Яго, Макбет так Макбет), он еще ничего не прибавит себе такого, что сделало бы его истцом, а историю – судилищем для разбирающихся по делам Сатаны, Каина и т.д. Только у человека заюридированного общества может возникнуть великая метафора Бытия как тяжбы, в которой каждый тем только интересен, что о чем-то может свидетельствовать, как перед хором античной трагедии. Особенно наглядно это у Эсхила в исходе «Орестеи». Заюридированный человек в XX веке записал себе даже множество таких прав, которые никто не ставил под сомнение, по крайней мере до занесения их на скрижали, до придания им письменных форм: право на жизнь, на выражение своих мнений и т.д., – в известном смысле прав на безнаказанность и безответственность (имея еще в виду и особые права заключенных и т.д. – перемещенных и т.п.).

* * *

Как бы долго люди ни жили, им перед смертью их жизнь кажется ничтожно короткой, – она как бы сжимается в точку в собственной памяти. Как сделать свою память несжимаемой (и неразтворимой)

в мелочах)? Несжимаемость или распыляемость воспоминаний (своей или чужой памяти) обеспечима только жесткостью пережитого. Значительностью своих действий в ретроспективе.

Мы погибаем не то что от болезней или даже врагов, – мы постоянно гибнем в самих себе, от забывчивости по отношению ко всему переживаемому. Мы мрем непрерывно самозабыванием, самоотчуждением от только что прожитого. Последним нашим русским поколениям нечего вспоминать, кроме отдельных роковых мгновений. Все остальные мгновенья вёсен или зим и т.д. «вспоминаются» по коллективно заученным формулам, как бы по анекдотам.

Очевидные итоги Великой войны к весне 1945 сделали очевидным то, что не нуждается ни в каких дополнительных комментариях со ссылкой на засекреченные тогда факты (и до сих пор неясные кому-то). Люди, победившие в 1945, могли до декабря 41 добиваться каких-то успехов только ценой своей гибели. Длившаяся около 20 лет упорная подготовка к этой войне не обеспечила того главного, что было достигнуто в поражениях 41 и 42 годов: доверия к себе и друг к другу. Такого доверия по большому счету не стало совершенно естественно в обществе, раздираемом подозрительностью, нараставшей в течение многих лет острой политической борьбы, особенно наглядно утратившей «классовый характер» к 36–37 годам, когда жертвами этой борьбы стали люди политической элиты государства, состав которой никогда не был компромиссно-коалиционным. Страх и подозрительность (мнительность) овладели массовым сознанием уже хотя бы потому, что почти все репрессии проходили негласно; суд по политическим обвинениям (за исключением внешнего оформления двух-трех процессов) откровенно превратился в тайное судилище, в бездушный аппарат расправы над кем угодно неизвестно за что. Все рассуждения о «классовой борьбе» в духе марксизма обесмыслились. «Если враг не сдастся»?.. Если он тайный враг, то его обличают в глазах всех, кто заинтересован в лицах обвиняемых. Иначе нет суда, а есть безрассудство, овладевающее сознанием всего общества; как бы народ ни безмолвствовал, чума безрассудного страха влечет грешное со-

знание всех в то состояние растерянности, которым только и можно было объяснить нашу слабость в 41 и 42. Эта растерянность сказалась и в молчании Сталина (первых десяти дней), о котором сейчас вспоминают так часто.

Как бы ни была упорна подготовка материальных ресурсов войны, она по ходу войны возрасти не могла (мы потеряли территории Украины и Белоруссии) во всяком случае, если отвлечься от помощи союзников. Поражения сработали как шоковая терапия; к счастью, не убили, а вывели из состояния глубокого торможения, которое, вероятно, даже не осознавалось почти никем. Ибо, чтобы осознать свою заторможенность, растерянность и вообще ущербность, необходима минимальная культура самонаблюдения и самоотчета, а нас от этой культуры отчуждали всей «антибуржуазной» и антирелигиозной пропагандой, – внушая страх перед заразой «индивидуализма» (классовое сознание неиндивидуалистично по сути в той мере, в какой безлично), и стыд за всякое обнаружение в себе хотя бы подсознательной веры в бессмертную свою душу.

* * *

Рукописи не то чтобы не горят – рукописи из пламени говорят, кричат как бы из крематория, что души, отлетающие от тела...

* * *

... Я не оговорился: «моими судьбами» – потому что в плане моей биографии я насчитываю уже четыре судьбы. Первая, продолжавшаяся до моего ареста. Вторая – следующие восемь с половиной лет, контуры которой я успел очертить в мемуарах вторых. К третьей я перехожу сейчас. И она продолжалась до конца 60-х годов, когда произошел разрыв мой с почти всеми близкими мне людьми и я оказался почти на нелегитимном положении бомжа. Не бомжом, но на грани бомжества, юродства и нового бесправия, близкого к бесправию зэка и кое в чем более бесправным, чем зэк. За меня никто уже не отвечал, ну, за исключением нескольких че-

людей, которые оказались подлинными друзьями, и отношения с которыми надо было еще только восстанавливать.

Четвертая моя судьба наметилась примерно к семьдесят седьмому году, и началась четвертая часть моей биографии, восстановление подлинных дружеских связей с последней моей, наконец, успешной женой, о которой я здесь рассказывать не настроен, а настроен думать только в ключе пушкинской песни: «Пью за здравие Мери, / Милой Мери моей. / Тихо запер я двери – / И один без гостей / Пью за здравие Мери», милой Мери моей.

* * *

Ну, хорошо, биография... А что такое биография без своих итогов? Вот я сейчас, разговаривая, быть может, несколько кокетничаю с Вами; на самом деле, конечно, мне не до кокетства, а мне было бы очень скучно... у меня есть трудовая книжка, в которой перечислены мои профессии и места, где я работал, – и вот моя биография. Но это в старом, в советском понимании и есть биография, трудовой путь. Я же менял свои профессии, свои работы, свои места жительства не по своей, по сути, воле. Если бы от меня зависело в пятьдесят четвертом году, когда я освободился, не досидев свои 10 лет, полтора года я не досидел, если бы от меня зависело, я бы приехал тотчас же в Питер, где у меня были родственники, кстати сказать, и близкие друзья моих родителей, и поселился бы здесь уже в пятьдесят четвертом году. А удалось мне приехать только потому, что в шестьдесят втором году, то есть восемь лет спустя удалось добиться нашей реабилитации. Причем не я добился, а тот же Женя Бондарев через своего отца, который работал в самом аппарате правительства и который подавал там ходатайства и устные вел какие-то переговоры. И в конце концов, чтобы снять всю эту тяжесть с Жени Бондарева, пришлось отменить приговор и те обвинения, которые выдвигались против нас. Потому что даже вот если мы сами на допросах говорили, что мы хотим свергнуть существующий строй, изменить государство, то все это выглядело, конечно, смешно. Как если бы ребенок сказал, – десятилетняя девочка из Словении по интернету вышла недавно на Ельцина, и

Ельцин демонстративно сделал заявление на весь мир в форме ответа этой девочке. Это все игра, это все пропаганда.

Я сейчас только удивляюсь, что все это пережил и выжил, выдержал, – вот, наверно, скрытый такой подсознательный пафос моего рассказа. Выдержал я потому, что в лагере сначала выглядел очень молодым, мне было восемнадцать, когда я попал туда, а голодные военные годы сказались на том, что я выглядел как бы еще моложе, намного моложе, и потому ко мне относились очень гуманно.

Я уже говорил о том, что следователи... чувствовали, по крайней мере старшие начальники отдела, чувствовали какую-то неловкость, что вот им приходится заниматься таким вот... и становилось очевидным, что никакого взрослого за моей спиной не было, потому что они мне ставили неожиданные вопросы и получали неподготовленные ответы, которые удивляли...

* * *

Еще два эпитафия для главок: «Однажды счастье было от меня так близко, что я едва не попал в его мягкие теплые лапы», М. Горький (это к истории с Люсей-Галей – с дальнейшими не было мысли о счастье).

Я рисковал перестать быть собой.

Эпитекст: со мной это случалось не однажды. Даже неожиданная теоретическая-методологическая идея создавала иллюзию счастья, счастливой находки. Блок: «И вновь – порывы юных лет, / И взрывы сил, и крайность мнений... / Но счастья не было – и нет. / Хоть в этом больше нет сомнений!»

Если что-то написано черным по белому, то смысл его не в белом фоне и не в контурах черного (или их силуэтах, заслоняющих сплошность белизны), а в игре того и другого. Счастье – женская идея адаптации своей к обстоятельствам в силу *vice versa*.

Второй эпитафия Высоцкого: «Нет, ребята, все не так, все не так, ребята»: коммунист, ничего не получая, выходит теперь на деле

из товарно-денежных отношений в область натурального обмена милостями и поучениями.

* * *

Сорок лет прогрессирующего маразма и тревоги за человечество, из которого массы соотечественников с атомным оружием на руках, готовы вычесть себя добровольно в знак своей особливости по примеру иракцев и прочих ирокезов – из рабской приверженности к старшим товарищам, – на память приходят все риторические фигуры, которым учило меня наиподлейшее народное представительство – тюремное окружение. То, что шутит так, что весь психоанализ мира смутится: «Умер Максим – ну и хвост с ним. / Положили в гроб – / Мать его... (видел)... / Лежит милая в гробу – / Я пристроился... целую / Нравится-не нравится – / Спи, моя красавица».

Но когда там, в тюрьмах, я начинал пародировать народное красноречие, самые крутые ворюги орали мне: «Ты! Кончай! Тебе не личит!» (т.е. не «к лицу»). И я научился гордиться тем, как они выделяют меня из своей среды по эстетическим мотивам. На воле же меня не выделяли ни в каком смысле. В рядовой массе народа нет ни стыда, ни догадки... хотя бы о том, личит ли мне, и дальше жить впроголодь и почти бомжом.

* * *

Русскому люду всегда вольготно было разбежаться от толпы и скопища, от тесноты и духоты сборищ и толковищ – всегда свободно было бежать в меру бодрости, в две категории-меры. Одни шли в «гуляющие люди», составившие массу казачества. Другие же всю жизнь продолжали свой бег прочь от всяких скопищ, тяготеющих к новому тяглу, если не на Москву и вообще на москвитов, на царей, – то на свои локальные порубежные конвиксии и консорции, на своих атаманов и свой «круг». Сначала участие в тяготах жизни, а после – участие в самоуправствах и самосудах. Такие эксцентрики бежали так далеко, что им приходилось открывать Камчатку, Чу-

котки, Аляски и прочие выпуклости и околичности, прелести земного шара (говоря языком Джона Фальстафа, говорившего так в «Виндзорских проказницах»).

Замечательно, что человеческий люд, привычный к «расхристанному» виду юродивых, – не допустил бы ни в коем случае нагого юродствования женщин на какой-нибудь мавританский или латиноамериканский манер...

* * *

Для дальнейшей разработки: темы (1) я в Москве 59 г. – Окуджава в «Театральном кафе» – «в затылки наши круглые» и нить к «Свиданию с Бонапартом» и тема Л. Толстого – свобода всем безумствам: графы Растопчин (затейник Павла) и Безухов – выпускают на волю психов – торжество бесклассового общества – красный кремлевский кирпич в подсветке пожара всей Москвы.

(2) Кулигин все в той же «Грозе» Островского среди (в недрах) странных нравов трудится над загадкой Вечного Двигателя, чтобы продать англичанам за миллион, – *Regretuum mobile* окажется марксизм – идеей перманентной революции.

Симпатичнейший из героев античной литературы (пленивший Пушкина, не зря он «читал охотно Апулея» вместо Цицерона) – апулеевский Луций, на собственной участи узнавший, каково быть этим самым почтенным существом – народом (можно даже заподозрить Апулея в том, что его знаменитый роман – сплошная историческая аллегория).

(3) Сжатый очерк до 1963 г.

* * *

Теперь мне приходится дописывать мемуары из-за невозможности продолжать переписку с людьми, разбросанными по всем концам как Этого, так и Того Света.

* * *

(Я – Л. Бондаревскому)

Дорогой Лев!

Спасибо, что ты обязался внести в конец моих мемуаров абзацы о коте-Буремглое, хотя задача эта трудная. Красоту его бледно-зеленых глаз и симметричность всего его мехового костюма передать невозможно. В частности, белую полосу как грима на носу, удлиняющего всю его физиономию, понять нельзя. Сегодня Лена размораживала холодильник и плакала, что кот не может порадоваться ее хозяйственным заботам, которые составляли любимый театр кота-Буремглая. Когда Лена мыла пол, кот ползал по всей квартире на брюхе за ней, чтобы лучше разглядеть всю механику Лениных действий. Он очень гордился тем, что, в частности, Лена так ликвидирует всякие следы его собственной жизнедеятельности и приводит его жизненный мир в стерильное состояние. Меня он слегка презирал за бездействие, хотя и любил вместе слушать музыку.

Юрий Динабург

С Т И Х И

1945

* * *

Я вышел в ночь скликать бураны
С далеких снежных пустырей.
Пронзая золотом туманы,
Качались гроздьё фонарей,
Протяжно ветры пели песни,
И в их рыдания я проник.
Я вышел в ночь, чтоб перевесть их
На человеческий язык.

* * *

Холодным утром ранним,
Когда щемит тоска,
Холодным утром ранним,
Когда мне смерть близка,
Оттуда, из-за грани
Протянута рука.
Уже изжит заряд
Вседневной гордой боли,
Уже бежит заря
В пустом небесном поле,
Идёт заря, даря
Над болью одоленье.
Бегут за рядом ряд
Аллеи в отдаленье.
Холодным ранним утром,
Когда щемит тоска,

Нежнее перламутра
На небе облака
И тонкая кому-то
Протянута рука.
Я верую в торжественность
Таких простых минут
В ту красоту, в ту женственность
Что в жизнь они несут.
За рамами оконными
Знамёнами горя,
Кровавыми драконами
Рисуется заря.

* * *

Город коченеет в зимнем снежном сплине,
Грязной ватой виснут в небе облака,
На стенах синее смертно-бледный иней,
Город в саван втиснут, здания, река.
Ходят тихо люди воплощённой скукой,
Много странных звуков в памяти моей.
В этом мире буден время то застынет,
То летит лавиной, бешенства пьяней.
Эти дни беззвучные, полные тумана,
Мёртвы, все их лепеты чужды, далеки,
Как мельканье скучное теней киноэкрана.
Даже в смутном лепете ветра вздох тоски.
Тучами окутаны жёлтые закаты.
Бури бес крылатый, разметавший снег,
Пусть сожгут, сметут они этот бред угрюмый
И с победным шумом смерть придёт ко мне.

* * *

Тот ясный мир, что видим все мы,
Неизъяснимый мне предмет.
Во всех вещах я вижу схемы,

Ряды загадочных примет.
К вещам притрагиваясь с негой
Всё в том же сумеречном сне
Зову тебя влюблённо “снегой”,
Мой ласковый, холодный снег.
Берёзы белые с ногами
В густом снегу белым-белы,
Полузасыпаны снегами,
Полузавеяны былым.
На всех путях стоит немая
И торжествующая смерть.
О, если б вызов принимая,
Всё знать, всё чувствовать и сметь!
Но от трагических познаний
Увяла плоть и дух ослаб,
И наша жизнь бежит под нами
С тупой покорностью осла,
И в этой бездне иллюзорной
Уже я больше не пойму –
Что это: звёзды или зёрна
Идей, не явленных уму?

Осенние листья

Вот на дно придорожных канав
Облетели они, полегли.
Ветер гонит их в ночь, доконав,
Под откосы из илистых глин.
Собирает их ветер с утра,
Днём затопчут их в грязь сапоги,
Эти клочья увянувших трав,
Эти листья деревьев нагих.
И деревья скопились, воздев
К небосводу скелеты ветвей,
Мутный запах гниения везде,
Листья серые камня мертвей.

Что же, разве осеннюю грусть
Не прозрел я в улыбке весны?
Всю фатальную эту игру,
Нашей жизни печальные сны?
И несутся они в пустоту,
В глубину придорожных канав,
Всякой жизни изведав тщету,
Мимолётность цветенья познав.

* * *

Когда цветы утомлены
И лепестки устали,
Когда уста утолены
Горящими устами –
Благоуханно холодней
Прозрачной ночи воздух.
Вся ночь – она одна – над ней
Торжественные звёзды.
Полны леса в такую ночь
Чудесного звучанья,
Во всех цветах затаено
Высокое молчанье.
Откуда-то издалека
Летучий вальс доносится
И приплутавшая тоска
Обратно в сердце просится.
Луна летит сквозь облака
И всё не сходит с места.
– Как ты темна и глубока,
О, Ночь, моя невеста!

* * *

Накинув плащ в пурпурных коймах
И шляпу набекрень надев,
Пойду опять путём знакомых

Неоправдавшихся надежд.
В глубоком тинистом затоне,
Где ил и шелест камыша,
Вдруг всколыхнётся и застонет
Болота тёмная душа.
Пойду, оставивши надгробья.
Плащом размашисто плеща,
Широким взмахом наподобье
Крыла, нависшего с плеча.
Пойду, сбивая с неба звёзды
И осыпая синий снег
В холодный сумеречный воздух
В каком-то просветлённом сне.
Дышать широкими глотками
Туманом, ветром и рекой
И далее голубые ткани
Срывать стремительной рукой.
О, как таинственны, как робки
Вдали мерцают огоньки!
Дома – холодные коробки
Над тёмным берегом реки –
Там догорает и коптится
Мещанский будничный уют.
А я живу легко, как птицы
В привольном воздухе живут!
Под всяким соусом, без соуса
Мне яства жизни хороши,
И вдохновенное бесовство
Вступает в сумрачность души.

1980–2000

ВРЕМЯ

... пролетели-улетели
Стая лёгких времирей...
В. Хлебников

Кто время целовал в измученное темя
О. Мандельштам

/В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ/

(Посвящается жене Лене с правом переставлять все строфы)

* * *

Легко себе представить: столкновенье
На протяженностях тысячелетий
Машины времени и корабля ахейцев
Да существующее вовсе не обязано
Иметь всегда существованье и свободу
От человека независимые вещи
Как ни старайся ты увещевать
Свои желанья – из них вещей
Не возникает
И не имущие именованый вещи
Как раз и рвутся безымянно в наши жизни
И навещают наши сны и представленья
Что в грамматические формы
Язык отображает

* * *

Тому кто к адской вечности привык
Тому наверно как мгновенье – целый век
В одно мгновенье сокращается привычкой
И отупением внимания в страданиях
Смещением порога осязательных эмоций
Не многовато ли в твоей судьбе мгновений
Подобных

* * *

Сквозь кажимость как мякоть бытия
Взор мудреца прощупывает нечто
Находит в глубине ее скелет
Ту самую таинственную суть
Которая и служит сердцевинной
Упругой вещи. Пережив гниенье
Всех мякотей своих и оболочек
Становится скелетом каждый труп
Зловещим двойником своей душе
Субстанция которой – в царстве смерти
Где ждут давно
(Где ждут тебя давно...тебя давно)

* * *

Мы оказались в этом самом месте
Где время возвращается в свое
Давно когда-то пройденное русло
Отстойник времени и мысли – род искусства
Внутри Пруда стоит зеркально время
Остановившееся, чистой гладью
Пространство отразить в себе стремится
Мы как бы канули в пустой временеём
Пустотная страна – временеём
Блестит и только отражает те тревоги
Которыми мы некогда страдали

В конце пути материя устала.
При созерцании полета времирей

* * *

В потустороннем холодно наверно
И если ты назад начнешь проситься
То кто поймет тебя тогда и кто узнает
Кто догадается, что прошлые мгновенья
В небытии описывая петли
Пытаются вернуться к бытию
И в наше время на правах знакомых
И норовят ворваться в наши *deja vue*

* * *

Я говорю мгновенью: много вас
Любимых мной, когда-то стройных статных
Ушли куда-то в дали, не любя
Я говорю мгновенью: подмигни мне
Я может быть припомню век движенье
Одно движенье век порою целый век
Припоминаешь после, целый век
Живет потом и вспоминает человек
Я говорю воспоминанью: чем бы мог
Я вам служить теперь? Я одинок
Они врываются ордой орущей время
В кровавый хаос приводя
О кто поймет тогда и кто узнает
Твой голос в перевоплощенной сути
Плоть предложенья твоего для новой роли
В старой драме

* * *

Остановись мгновенье ты прекрасно
От взгляда недостойного прикройся

Преобразись мгновение в растенья
Стань одноногим и укоренись
Пусти корнями в почву глубоко
Все пальцы-пальчики! Скакавшие всегда
Вприпрыжку легкие мгновенья одноножки
Ты в детстве вдет в игольное ушко
Которым должен протащить себя как нить
Сквозь путь извилистый и гибкий, в этой точке
Детерминированный так сказать, зажатый
Я в детстве ненавидел приближенье время сна
Предписанного властью взрослых
Исполосованное сменой дня и ночи
Овременяется окрестное пространство
Оно уносит нас из Настоящего куда-то
Как говорится в Будущее мира
Сквозь всю поэзию проходит образ
На нас посевавшей темным задом ночи
Золотозвездным золотоордынским
(Как прокликает Иов эту ночь!)

* * *

Покуда светит златокудрый свет
Пока объемлет нас усталое пространство
Откуда нас овременяет Кронос?
Где, выше нас, наш времяоборот
Огромный циферблат созвездий и пустот
Струение времен неторопливых
Сменяется таким временепадом
Что шум соударения мгновений
Стоит в ушах как шорох жестких трав
А иногда временепад доходит
По грохоту – до горного обвала
С кремнистого пути, которым только дух
Ходил когда-то невозбранно, без
Скалотрясений, литокатастроф

Ведь время только лишь у Бога все едино
У нас же все рассыпано в крупичах
Нас боги временем как голубым зерном
Кормили некогда себе в забаву
Несбыточным каким-нибудь даря
Явление Слова обозначило начало
Конца пустых времен
Кронократического хаоса живым
Космическим порядком

* * *

Между ладонями наверно боги
Пересыпают в царство Персефоны
Воспоминания – бесплотные ладони
Плачевные заслышав причитанья,
При чем тут Персефона, спросишь ты?
Вот организм застигнутый врасплох
В момент преобразования природы
На нас идет кочевьем беспокойство
С козлиным дребезжащим голоском
Звенел вселенский хор далеких звезд
Казалось синий Гефсиманский сад
Нас обступил опять со всех сторон
Душа прощается с постылым пребываньем
Существ на прозябанье обреченных
Борьбе с потоком времени, подобной
Игре пловца который твердо знает
Что рано или поздно обречен
В потоке времени как в Лете захлебнуться

* * *

На влажных берегах очарований
Остановись мгновенье ты прекрасно!
Кричу звезде падучей и цветку
Ты вся моя ты вся моё – мгновенье

Как снег, в стихах моих меняя пол и род
Девичествуешь женствуешь меняясь
Я буду в этом спорить даже с языком
Язык неправ не отмечая женских сущностей в вещах
Таких как время или снег или мгновенье
И забывая мягкость окончанья
В таких словах как время или пламя
Ту женственную мягкость или гибкость этих слов
Ты вся – моё мгновенье
Но много ли ему мгновенью надо?

* * *

Всё чаще думал я: из тяжести недоброй
Куда уходят шум и свет? На Запад
Как фараон усталый шел на Запад
И это все идущее на Запад
Все эти вещи – не вернешь назад их
Как бы ни кликал, как ни называл их –
Они придут с Востока в свой черед
За январем – февраль – и так до января
Среди невзгод и радостей, в избытке
Свыкаясь, вчитываясь в эти свитки
Кричи молись пока не надоест
Всевышним слушать этот благовест
Тут новые плодятся времена

* * *

Кто из сирен поет в такой густой
В такой сиреновой дали пространства
Когда на горизонте вероятно
Пред нами море переходит в синеву небес
За нами море обретает меру боли
И веру всякую преодолагает боль
Вершины гор нацелены в зенит

Над нами вера превосходит меру
Воображенья превращаясь в правду
И достигает несуществованья
На мой смиренный вкус великолепно
Прекрасно все у Бога получилось
Над нами океан в котором только цвет
И время гонит цветковые волны

* * *

Как быть тому кто уместиться не умеет
Ни там – ни здесь, ни до ни после –
Не совмещающий всё сразу – акциденций
Объятых мыслью все же не хватает
Недостает душе и вот она уже
Поверх времен и всяческих пространств
Во временах, которые сданы
Воображением как бы в небытие
К тому что было, к месту, где не тает
Ни прошлогодний снег, ни наша память
Но я спрошу о временах минувших:
Где место сбережения былого
Закраина всемирного пространства
Куда складывается реквизит времен
Плоть объективного запоминанья
Я попрошу мне показать дорогу
Которой время убегает в бездну
Вмещающую прошлое и нас
В конце концов готовую вместить
Отлично было бы словно в часах песочных
С переворачиваньем времени, теченьем
Возвратное в клепсидре обустроить
Из одного вместилища в другое
Переливать порожнее в пустое
Переворачиваньем их поочерёдным
Попеременно нечто возвращать

Так опрокидывая времянакопитель
Мы заново пускаем в ход
Regretium mobile мировой
Сменились бы разграниченья в части
Различий между тем что невозможно
И тем что может совершаться в новом
Течение времени

* * *

Мое мимобегущее мгновенье
Желанье просто Время отрицать
И жить в неистоцимом настоящем
В Как-бы-Небытии забыться быть забытым
Не кем-нибудь не кем-то а собой
Не надо вовсе завтрашнего дня
Меж тем как день вчерашний через плечи
Подсвечивает будущее нам
Уйти в безвремяе – в негодование
В недовремение, недоуменье
В такую непогожую эпоху
Не ожидал такого от эпохи
Когда стоял на очереди в жизнь
Довоплотиться из жизнелюбивых
Зародышей существования

* * *

Но кто как Время легок на помине
Как наше время? наш тревожный век
Идет к концу. И как огонь в камине
В нас бьется время. Как напominанье
Как субъективное переживанье
Первично к опыту того что можем все мы
Согласовать между собой и наблюдать
Глагол времен металла звон
Будильника ворвавшегося в сон.

Какое милые у нас тысячелетье?
– Скажи куда собрался мой народ?
Скажи куда моя девалась жизнь?
Воспринимая время как озноб
Который злобно сотрясает нас в болезни
С испугом видя незнакомое бедняк
В бедламе пробуждаясь обознавшись
Неистовствует: что такое Время?
Неистошим ли у богов его ресурс?
При пробужденье думает: как Время
Ему коврами стелется под ноги
Беда ведет подсчет своим беднякам
Подведомственным мраку пациентам
Бедняк Поприщин и подобные ему
Храни нас Хронос, добрый бог Времен
Он вторит Мандельштаму – сохрани
Мои слова мои стихи как память дней
И долгих лет таких ужасных удержи
В своих ладонях как песчинки этой горсти
В такие горести грести душой пускаясь

* * *

Возможно ль о частичном бытии
О степенях существованья мыслить
Итак быть или быть отчасти
Или не быть совсем
Приду туда где все завершено
И только времени гудит веретено
Пустое. Что скажу тогда?

ГАМЛЕТ, ШЕКСПИР

* * *

Какие погоды, однако, стоят, господа театралы! Какие погоды!
Шекспир перемальывал образы речи и чувства на мельнице сцены
Используя бури страстей и природы на равных

* * *

Он не имеет право просто жить
Без напряжения ему как протеже
Божественного промысла
На протяженье целой жизни, жаль
Расстаться будет с ней, и потому
У Гамлета «То be or not to be»
А где-то предназначено пространство
Для жаждущих совоплощенья с нами
Существ сосущих жизнь из пустоты
– Из ничего и выйдет ничего
Кричат рассерженные персонажи
Шекспир рассаживает персонажей
Своих рассерженных бог знает по каким
Концептуальным клеткам по зверинцу
И гастробируют из века в век они
Совместно с нами в этом темном мире
Из ничего и выйдет ничего!
А вот поди ж ты, возникает все
Возможности из виртуальной плоти

* * *

Ну! Призрак близится а Гамлета все нету
Пейзаж на заднике – неужто Эльсинор
И окна в комнате к утру бледнеют точно
Как эти призраки – хотя прямоугольны
Зачем Офелия зовется нимфой

Заветным словом окликает Гамлет в ней
Им только памятное приключенье
То дикое еще воспоминанье
О детстве о лесных очарованьях
О книгах с греческим где несколько картинок
Рисует странную борьбу подруг
С рогатыми какими-то людьми
О них Офелиях в числе придворных нимф
Носящих фрейлинские шифры и банты
Для вольнодумца Генриха Восьмого
У коронованного вольнодумца
Снаружи тяжесть золотых узоров
И легкомысленная изнутри веселость
А этот принц как некий Актеон
Глядит в нее как в озеро где сердце
Нагим купается под взглядами его
И этот принц как наглый Актеон
Растерзан сворой собственных желаний
Вот почему он окликает нимфу
Глядит в нее как бы в ручей прозрачный
Где голой плещется ее душа

* * *

Так мыслил Гамлет некогда: безумье
Необходимо гению – впридачу
Как благодать, оно нисходит свыше
Как доля королевского наследья
Театр Шекспира как *Maison des aliéné*

Как будто там такое развлеченье
Бежать стремглав окраинам рассудка

* * *

На этом сквозняке ассоциаций
Догадкой схваченный как лихорадкой
Продутый этакой простудой
Дрожишь как трус стучишь зубами на ветру
И глад и хлад испытываешь также
Как тот бродяга бурной ночью вдруг
Примкнувший к Лиру-королю, Шекспиру
В упор примыслившийся и потому успевший
Спастись от полного забвения на дне
Зеленой бездны – жизни где друг друга
Грызут и пережевывают жабы
Терзают звери внутренность друг другу
Жучки да черви да еще микробы
Неробкие такие грызуны

* * *

А что такое мощь воображенья?
Оно одновременно и кита
И мышшь способно распознать в одном
И том же облаке поскольку этим
Снимается немедленно вопрос
О разнице масштабов и размеров
В свидетели Полония беру
И Гамлета и сорок тысяч братьев
Соперников по пламенной любви
К Офелии Корделии и прочим
И вот страна Шекспирия такая
В ней эмпирия интеллектуальных
Экспериментов
И жизнь сама в которой красота

* * *

Все чем сценически оригинален Гамлет:
Сплошная недосказанность при том что
Все, что он успевает произнести
Значительно без всякой связи с тем
Что он намеревался совершить
В не поспевающих за речью чувствах
Аподиктический диктат эмоций
Вот все что для протагонистов образует
Безумье Гамлета, для зрителя – загадку
Во всех его просчетах промедленьях
И уклоненья от естественности в чувствах
На сцене персонаж шекспировский был
первым, у кого

Герой имеет большее богатство
Духовное чем может речь вместить
Пренебрежительно махнет рукой поэт
Прощаясь утомленно, за кулисы
Существованья уходя куда-то
Уже не спрашивая что за сны
Нас будут волновать в потустороннем
Зачем спешить и спрашивать? Узнаем
В скорейшем времени уже. Увидим
Осталось времени куда как мало
И мелочиться стоит ли теперь
С опережением событий

* * *

В Прологе к «Укрощению строптивой»
Несчастный нищий просыпается в палатах
Вельможа позабавиться придумал
Вся жизнь окружена подобным сном
Проснемся ли в Аду или в Раю
Когда мы сбросим этот бранный бред

Очередного пребывания в мире
Помысли что за память мы оставим по себе

* * *

Литературные зрители кладбищ
Облаживают гамлетову ногу
Выглядывая из готовых ям
Попав в компанию подвыпивших шутов
Могильщиков – берут у Вия интервью
Какой ты принц? Ты возводящий в принцип
Провинциальный свой снобизм самолюбивый
Детский...

* * *

Отец в ночи блуждает как огромный
Полупрозрачный монумент героя
В котором образ каменного гостя
Доспех наполнен голосом отца
И ветер с факелом играет дымным

* * *

Мой Гамлет мой невероятный синтез
Ореста и Орфея и Эдипа
С Офелией как некой Эвридикой
Блуждая подземельями безумий

* * *

Принц и не думает о бунте против
Миропорядка. Как рассудок может
В Офелии восстать на море смут
На ограниченность существования
На справедливость в основаниях
Миропорядка созданного Богом
И не вполне устроившего нас

Как бы заказчиков по отношению
К изобретателю самой природы нашей
Вся мировая скорбь пяти (Шекспиром
Опровергаемых систематично)
Позиций гамлетовских монологов
Есть только разные попытки испытать
Чужие точки зренья, на себя
Их примеряя соответственно, берясь
Сперва приняв наивный образ горя
Протест против обидчицы природы
Не позволяющей ни вечно жить нам
Ни вечно помнить и любить того достойных
И останавливать мгновения навеки
На плоть и души восстающий дух
Вот Гамлет в первом монологе
Потом собою помыкающий вершитель долга
Сыновнего блюститель справедливости
Хранитель нравственных устоев бытия
И наконец в последнем монологе
Презреньем к плотской оболочке бытия
В себе монашеское что-то проявляет
Но все позиции сей принц сдает на деле
Затем что в них одни гипотезы – догадки
Принц не спешит ни как самоубийца
Потенциальный ни как честный мститель
Благочестивый сын отца и церкви
В двойном и множественном долге к ним ко всем
К отцу и отчиму покорный горе
Отмеривая по обрядам и обычаям
Он не спешит монахом затвориться

* * *

А кто там в «Гамлете» особенно коварен?
Неужто Клавдий простодушный враг
Родному брату только – больше никому

У братьев истинных особенные счёты
 И сложное распределение прав
 Наследнических брачных. Лично я
 Крушение на каждом шаге предвкушаю здесь
 Куда ни кинь повсюду клин и на пути
 Везде маячит братняя фигура
 Поскольку люди – все на свете – братья
 И бриться надо только самому
 Не доверяя шею брадобрею

* * *

В глаза заснувшему внезапно брошен свет
 Остановись Мгновенье не входя
 В безмерность Вечности столь перенаселенной
 Что сил душевных на общенье там не хватит
 Покуда в Эльсиноре шумный праздник
 И принц на эспланаде ждёт что призрак
 Появится

* * *

При чем тут принц Гамлет и прочие вещи высокого стиля?
 Я Гамлета ставлю на собственной шкуре как сцене
 Я Гамлета ставил на собственной жизни задолго до чтенья
 Шекспировских текстов задолго до всяких знакомств
 С тем самым героем который по имени только мне был
 Привычен как некий на памяти взрослых живущий
 Отбывший в далекое странствие родич которым
 гордится семья (Болинброк)
 Как родич, быть может в уродстве семейном повинный
 Мой Гамлет мгновенно подгонит под общую тему свою
 Любое событие мигнет мне мой Гамлет, в потемках
 Мой Гамлет не дремлет, опять ожидая свиданья с отцом
 Мой дух витает в Стратфорде меж тем
 Где черви потрошат бесценные останки
 Ты скажешь: эвон, где он оказался

Ну да на Эвоне далековато
От наших палестин
Эвон куда своим воображеньем

* * *

Наследный принц в любой стране, поэт
Подслеповат и Гамлету подобен
В необходимости разыгрывать безумца
И пребывать в активной обороне
Докапываясь бесконечной правды
Но уступать права на месть – не аз воздам
Не мне отмщенье, но тому кто движет
Спектаклем всеобъемлющим в котором
На небесах и под землей творится
Поэт, наследный принц всеобщий сын
Не может шпагу обнажать без крайней нужды
И расточать слова слова слова
Подобно деятелям пропаганды
Кто знает меру одаренности его
Тот вправе подстрекать его являясь
Ему в обличии его отца и жертвы
И фабулу навязывать ему
И устрашать трагической судьбой
И окликать его во мраке ночи
Вот для кого гуляет призрак по Европе
И по стенам твердыни Эльсинора
Язык, его усыновивший призрак
В любом обличии ему являться вправе
Для подстрекательства на родовую месть

* * *

Как некий плотник сплачивает плоть –
Сколачивает плот для переправы
Через стремнины времени – затем что
Помимо целостности человека

Двудольной плотской и духовной в мире
Есть только времени свободная стихия
Она – то самое глумление века
Несущая в своем колющем ветре
Кусающийся воздух полный стрел
Отравленных анчаром и камней
Пращей судьбы. Оно – свободная стихия
Приветливого моря – катит волны
И блещет гордою красой напропалую
Кому и как столкнуться с ним придется
В континуумы времени нырнуть
Нам не дано наверно выбирать самим
С какой скалы в какую глубину нырнуть
Погода тоже очень своенравна
То be or not to be – что нам с тобой
В таких вопросах? That is the question!
Краеугольный камень преткновений
То be or not to be – убийственный тебе
Вопрос в твоём убыстренном безмерно
Развитии и обостренном в бедстве

* * *

Как ловко разберется Фортинбрас
В тех ситуациях где нужен глаз да глаз
На берег гулкий выбегает Гамлет
Еще не скоро все придет к развязке
Ему навстречу рукоплещут волны
Игра не кончена . На гривах волн игриво
Виляют блики солнечного света
Плюются ветры, отрывая брызги
Их пенные вершины – как войска
Ему союзного царя морского – чайки
Кричат отчаянно, кружатся как чайники
В глубоко синей чашке поднебесья
А эти белопенные плюмажи

Поверх бурунных скал надетые – на шлемах
 Неистово воинственного войска
 Ему навстречу море шлёт в поддержку
 Разбрасывая по ветру знамена
 Превозмогает Гамлет гомон голосов
 Ему сулящих смерть бесславы сон

* * *

Офелия о нимфа с кем в обнимку
 Проводишь дни теперь в потустороннем
 А потому весьма литературном
 Существовании? Весь ад порнографичен
 И речь ее без всякого намека
 На грубую жестокость обнажает
 Такую подноготную ее

* * *

Узнал ли он действительно отца
 Отца ли он встречал ужасной ночью
 На эспланаде замка в Эльсиноре
 Он стать не хочет жертвой провокаций
 Смысл происшедшего мы догоняем
 Готовый ускользнуть глубинный смысл
 Как если б после исполненья мести
 Надеялся что по законам чести
 Отцу отсудят место в небесах!
 (Отлично роет крот, – воскликнул Гамлет
 Вслед уходящему в чистилище отцу)
 Не чуждый юмора ошеломленный принц
 Кричит: отлично роет крот
 Светлеет небо и петух пропел
 Карл Маркс четырежды цитировал Шекспира
 В различных сочинениях о том что
 Как юный Гамлет не терялся и острил, вот где

И набрался задора Карл Маркс
Другой в Европе бродит призрак как в Эребе
Не вечный жид еврейский подорожник
А всей истории душеприказчик Маркс
Клио-история скликает тени
... В Европе нынче словно в Эльсиноре
Неладно что-то, празднично не в меру
И чья-то неочищенная совесть
Здесь подвергалась обмолоту Божьим гневом
(А шелуха – полова) дожигались
В нагроможденье праведного дела
Огромный голос Гамлета гремит
В то так сказать небытие которым
Зовется нечто столь зловещее что мы
Готовы в здешней жизни все стерпеть
Но не спешить от нам знакомых бедствий
К неведомым совсем

* * *

Быть или же не быть – вопрос не в том
Что больше нравится а в том насколько
Свободен выбор быть или не быть
Не в том, что было благородней или
Достойней, легче и приятнее, а в том,
Имеем ли мы выбор из жизневорота
Наружу вырваться и оборвать
Свое участие в пищеваренье
В котором самопожирание Вселенной
Вершится. Гастрономия и пафос
Свободны ль, став причастны Бытию
Свободны ль мы ?
Пределы есть свободе, несвободе
И колебаниям между ними. Гамлет
Находит безусловную границу
Свободы сущего. Того, что бытию

Уже причастно. Не дано ему свободы
Не быть совсем.

* * *

Таинственное зеркало Шекспира
Откуда что берется в нем – Бог знает
Не каждому в нем зеркало дерзит
И на вопрос кто в мире всех белее
Навстречу страху отрастают космы
И волосы встают внезапно дыбом
Глаза от ужаса наружу лезут
Знаток Платона у Шекспира расширяет
Хитросплетенья текстов роковых
Искусно тканых мыслей, много раз
Раскроенных для новых королевских
Одежд великолепных театральных

* * *

Здесь у черты последней подле края
Черней чем ты себе представить можешь
У края бытия где плача но играя
Того слепого бытия, где
По заданным сценариям из рая
Изведенных изгнанников
Мы сами как бродячие сюжеты
Живем навешанные на скелеты
Характеров своих невидимых себе
Как персонажи из классических сюжетов
И жизнь вокруг – что некий водоем
Как зеркало вмещает нашу вечность
Перстами легкими как сон листая
Увековечивая и мгновенье
И все его тончайшие детали
Летальной участи не уступая им
Зовется это жизнью. Этжами

Встают воспоминанья. Целый город
Характеров согретых
Взаимным обладанием – и где-то
Однажды обретенным бытием
А жизнь вокруг – зеркальный водоем

* * *

Смерть – прохожденье мимо состояний
Едва ль доступных нашим восприятиям
Как переход от одного из наваждений
К другой системе ценностных иллюзий
Такое страшное размежеванье с прошлым
Ты там не будешь даже спрошен ни о чем

* * *

Что быть или не быть? Как знать или не знать
Между собой различны. Новизной
Небытия с изнанки бытия
Грозит нам смерть. Что может быть страшней
Оцепенелости и безразличья
Нас цепенящий ужас – побуждает
Лишь к промедлениям. Тем легче нам
Решенья подменяя размышленьем
Оттягивать развязку в новизну

* * *

Одним ударом опрокинуться за борт
Забот и бедствий – в голубую бездну
Утопленником этой тишины
Заоблачной. Когда грохочет гром
Там в глубине такой подножный хруст
Как гравий крошится – и под стопой
Уйти удрать оставить им один
Усталый труп приманку и муляж

Мишень для злобы ставши тотчас
Страшилищем укором, молчаливым
Свидетелем

* * *

Как неприкаянных самоубийц
Вдруг окликают старые привычки
К невинным радостям существования
И вызываются макбетовские ведьмы
В дела мешаться без особых целей
Забавы ради подстрекать на вздоры
Уже без памяти о том что должный смысл
Имеет у действительно живых

* * *

К Шексне наш поезд приближался и Шекспир
Дремал в моем вагонном изголовье
Изголодавшись по живому чтению
Я взял с собой опять его Шекспира
Спиралью вьется над Шекспиром Божий Дух
Все сотворивший безначальный
Горящих звезд лучистые кресты
Оспаривают простоту креста
Лучи смежаются в пучки крестообразно
Сияют звезды и гудит орган зимы
Над галактической гармонией вселенной

* * *

Отец для нас как призрак прежней славы
Тень всемогущества в котором он сперва
Нам представлялся до поры взросленья
Нам Ницше сообщит что Бог убит
Как датский Гамлет – и от самой детской
Идеи о единстве Бытия

Мы держим в памяти свое сыновство
И сызнава себя осознаем
Наследниками сказочной Вселенной
Мы – дети Божьи но убит Отец
Мистифицированы похороны Божьи
А мать-Материя – во власти Самозванца
Мы все подобно Гамлету бездомны
И бродит призрак нашего Отца
Чуждаясь всякого общенья с остальным
Ему когда-то подчинявшимся народом
Совсем недавно раболепным перед ним
По всем террасам мирового Эльсинора
Вот он каков шекспировский театр

ДУША-ЭВРИДИКА

(Из цикла стихов «Ад Данте»)

Плещут воды Флегетона,
Своды Таргара дрожат
Пушкин

* * *

По разным дальним берегам
Живут взаимо-мертвые друзья
И только ласточки перелетают Лету
И только звуки голосов знакомых
Перелетают с берега на берег
И что-то сберегаемое глухо в нас себя опознает
Припоминаемое

* * *

Листочки ласточками чертят в пустоте
Стремительные линии полетов
В прозрачном воздухе перелетая Лету
Здесь лето вечное уводит в осень мысли
И залетает в залетейский край ...

* * *

Здесь над тобой отдушина луны
В небесном куполе – как тот просвет
Который оставляешь за собою
Сходя Орфеем в мир Эреба, в подземелье
Посеребранный лунным светом мир ...

Просвет в потусторонние пространства
Не путь ли нисхожденья в наши сны
Не суть ли наши нисхожденья в сны
Ночные путешествия во тьме
К древнейшим ужасам в миры метаморфоз
Визиты к тем владыкам преисподней
Из коей каждым утром мы выходим
Как Эвридику, душу к жизни выводя?

* * *

Орфей-ревнивец слышит за собой
Шаги многокопытных провожатых
Бедняжки Эвридики – невредимки
Многокопытные стопы страшилищ
Ступают по известной мостовой
Почти беззвучные – дорогою мощенной
Благими пожеланьями – бредут
По гулким плитам здесь окаменевших
Намерений – ну до чего же плоски
Становятся намеренья благие
Орфей-ревнивец слышит за спиной
Безумное хихиканье жены
И чьи-то шёпоты и тихие шлепки
(А все нельзя бедняге обернуться) ...
Кто там шагает следом в темноте
В крошечной тьме
Как можно доверять богам Аида
Что там за розыгрыш у них затеян?

* * *

Нам встречный ветер освежает вечер
Вычеркивая из воспоминаний
Вчерашнего уже существованья
Все вычурное. Мы в коловерченье
Унылый бред порядка прирожденный

Лишь повседневной жизни, – прерывают
Метафорические дерзкие сближенья
Туда уходит прошлогодний снег
Вчерашний сон – туда срывает с нас
Листву случайных листьев
Свечение ауру воспоминаний
Нам встречный ветер освежает вечер
Горячей жизни прожитой в жару

* * *

Итак душа в тебе как Эвридика, невидимка
Как только к ней не оборачивайся ты
Возлюбленная телом антиподка
Неуловимая
Поверх тебя парящее виденье
Посмертно преданная Духу твоему
В потустороннем поджидающему душу
Его сверхличное в тебе
Веди ее не пробуя увидеть
Лицом к лицу её живую суть
Ты всякий к ней растратишь интерес
При первой же попытке обернувшись
В лицо ей заглянуть и убедиться –
Не в сходстве ли ее с лицом которым
Ты предстаешь перед самим собой
Заглядывая в зеркало внезапно...

* * *

Направимся по травам в первый раз
Не приминая их как могут только духи
Потом пройдем по комнатам пустым
Не затрудняясь больше темнотой
Не тяготясь заброшенностью мест
Мы на себе испытываем силу
Воображения поэтов адской масти

Воспоминания друзей

Игорь Кузьмин

**Памяти невостробованного филолога, поэта, философа и
невольного педагога Ю.С. Динабурга**

*У нас неиссякающий сквозняк
Воображенья. Спать бы вам в гробу,
А не дудеть в трубу эпохе на потребу –
Наемным плакальщиком надрываться –
Мы головы несем наизготовку. На эшафот
Андре Шенье взошел, а прочим очень стыдно.
Мы попросту отделались испугом,
Мы приближаемся к позору Смерти,
Совсем бессмысленной – подобно жизни,
Размолотой на множество событий...*

(Ю.С. Динабург. «Археология Санкт-Петербурга»)

19 апреля 2011 года по интернету среди правозащитников и журналистов распространилась трагическая новость: утром скончался Юрий Семенович Динабург. Для многих он просто легенда – «ранний» послевоенный школьник-политзэк, осужденный по 58-й статье в 1946 г. в возрасте 18 лет.

Незадолго до смерти Юрия Семеновича в журнале «Нева»¹ была опубликована статья, в которой автор анализирует необычную биографию интеллигента новой волны. Представления автора статьи, отрицательно относящегося к объекту своего исследования, ха-

¹ Черепанова Р. «Заведомый антигерой»: Русская интеллигенция в комплексах борьбы и подвижничества // Журнал «Нева», 2010 – № 11 (<http://magazines.russ.ru/neva/2010/11/ch5.html>).

рактизирующего его как «заведомого антигероя», формировались только на основе материалов, опубликованных в интернете. Однако в результате этой публикации многих читателей заинтересовала странная фигура подвижника, не нашедшего себя в современном обществе. И действительно, это был человек яркий, разносторонний, одаренный, творивший в чрезвычайно стесненных обстоятельствах. В трагические пасхальные дни 2011 г. у людей, знавших Юру по Челябинску, Перми и Санкт-Петербургу, невольно накаывают яркие воспоминания об этой парадоксальной личности...

После смерти Сталина многие ждали перемен. Постепенно менялась психология людей. Большую роль в формировании взглядов новых поколений молодежи стало играть новое искусство и реабилитированная интеллигенция, вернувшаяся из лагерей. В конце 1950-х годов на одной из центральных улиц Челябинска можно было встретить странного невысокого человека лет тридцати с бледным лицом, вздернутым небольшим носом и острым пронзительным взглядом, спрятанным за толстыми стеклами очков в простой темной оправе. Одежда отличалась некоторой небрежностью с легкими чертами аристократизма: поношенное старомодное пальто, наспех наброшенный шарф, растоптанные ботинки или галоши на босу ногу. Необычная манера одеваться сразу привлекала к себе внимание. Это был своего рода лагерный шик. Тут и пренебрежение к приличиям, и вместе с тем опрятность – всегда исключительно белые рубашки... Из кармана поношенного пальто торчит свернутый в трубку журнал или пачка густо исписанных потертых листков. Обычно его сопровождал какой-нибудь интеллигентного вида человек в неброской одежде или группа оживленных студентов. Если один из спутников оказывался вашим знакомым, могло состояться знакомство с Юрием Динабургом, челябинской знаменитостью. Вас представляли ему как специалиста в какой-то области знаний, для большей убедительности преувеличивая ваши достоинства. Новый знакомый сразу поражал вас яркими импровизациями на одно из ваших увлечений. Речь его была яркой, плавной, поэтичной и строго логичной вместе. Собеседник удивлял эрудицией и доско-

нальным знанием предмета. Излагая свою оригинальную точку зрения, он внимательно следил за вашей реакцией. При этом не чувствовалось никакого стремления показать свое превосходство. Устанавливалась приятная атмосфера дружелюбия и служения общей Великой Идее. Мало кто из окружающих мог открыть подробности жизни нестандартного человека. А расспрашивать о его судьбе не решались даже самые близкие к нему люди. И не только из деликатности... К концу жизни он опубликовал в интернете любопытные детали своей биографии. И это не прошло незамеченным среди нового поколения интеллигенции...

Более близкое знакомство с Юрой подтверждало уникальность его интеллекта. Сразу бросалось в глаза некоторое сходство с Дон Кихотом. Склонный к перемене мест, блестящий эрудит редко на улице появлялся один. Он всегда нуждался в Санчо Панса, иногда групповом.

Часы идут, меня глуша.

То ветер дует. В снежном шуме

Не перья белых лебедей –

Мне машет мельница безумий

Крылами спутанных идей.

(Из юношеских стихов Динабурга)

Обычно Юра не носил сумок или портфелей (влияние жизни в заключении?). Вся текущая информация помещалась у него в голове или в бумагах, торчавших из кармана. Юра всегда был в пути. Главной ценностью для него были бестелесность, идеи. Он всегда находил необычную точку зрения на знакомые предметы. Это часто приводило в замешательство собеседников-профессионалов в обсуждаемой проблеме. Юра всегда нуждался в диалоге. Это стимулировало его пылливый ум и наталкивало на новые идеи. Он не имел склонности к коллекционированию предметов, не стремился к украшательству одежды и интерьеров собственного жилья. Ни из кого он не делал кумиров. Высокая образованность не служила ему украшением, он нисколько не гордился ею. Это был инструмент для анализа окружающего мира. Не

всем окружающим нравилась его прямота в оценках, бескомпромиссность в суждениях. В большинстве случаев в быту он проявлял интеллигентскую мягкость и воспитанность. Несомненно, он был Личностью. Встретить такую на жизненном пути далеко не всем удастся. Трагическая судьба Динабурга как представителя российской творческой интеллигенции наводит на грустные размышления: «...И вдохновения зажатый рот, И праведность на службе у порока...». Некоторые факты его жизни заставят задуматься пытливого читателя...

Генеалогия и юные годы

*Они истомились любовью,
Но их разделяла вражда...*
(Г. Гейне)

Немецкая половина предков Юрия Семеновича пришла в Петербург в конце XVIII века из-за западных границ Германии. Из окрестностей Женевы эмигрировали садоводы, осевшие при дворце в Петергофе и обеспечившие ландшафтный дизайн. Из этой династии оказался и дед по матери Фридрих Бальтазар. Другая ветвь – прабабка и прадед-архитектор Адольф Вайнерт переехали в Петербург из Гамбурга (Шлезвиг).

Отец, Симон Менделевич Динабург, родом из Белоруссии, в 1926 году из Киевского Политехнического института направлен на практику в Ленинград, где познакомился с матерью, Ирмой Фридриховной Бальтазар. В конце 1927 г. они приехали в Киев, где и родился Юра 5 января 1928 г., то есть в 200-ю годовщину смерти Исаака Ньютона. По настоянию родственников и новорожденному дали имя Исаак. По требованию интеллигентной бабушки он получил и второе имя Вольфганг (в честь Моцарта и Гете).

Отец вскоре после рождения сына был направлен на строительство ферросплавного завода в Челябинске. Первое время он работал начальником проектного отдела, занимался монтажом оборудования. Потом заведовал кафедрой теоретической механики ЧИМЭСХа. В свободное время он преподавал малолетнему сыну математику,



1931-й год. Юра с няней Александрой Ивановной



Юра в возрасте 5 лет с родителями:
Ирмой Фридриховной Динабург (урожденной Бальтазар)
и Симоном Менделевичем Динабургом



Челябинск, 1956 г. Молодая супружеская пара:
Люся Захарова (Люка) и Юрий Динабург



Челябинск, 1944



Челябинск, 1958



Ленинград, 1976



Ленинград, 1978. Свадьба с Леной



С Леной в Новом Иерусалиме. 1981



Санкт-Петербург, 1992.
С Ольгой Старовойтовой и Еленой



Санкт-Петербург, 1996.
С Еленой и Никитой Елисеевым

геометрию, для наглядности строил целую систему зеркал, перископов и водил в «комнаты смеха» к кривым зеркалам. Кроме того, отец в раннем возрасте познакомил мальчика с Шекспиром (параллельно на двух языках) и, разумеется, с Пушкиным.

Воспитанием Исаака занимались также его русские няни, которые, по семейному преданию, спонтанно переименовали его в Юрия. Одна из них даже тайно от родителей крестила его в православие. Это вызвало возмущение бабок по матери, убежденных лютеранок. Интересно, что отец ребенка не высказывал особого недовольства этим событием. Видимо, его беспокоила будущая судьба его сына в формирующейся необычной социальной среде. В зрелые годы сам Исаак предпочитал именовать себя Юрием Семеновичем.

С детских лет по настоянию матери Юра упражнялся в репетиторстве. Среди знакомых родителей было много челябинцев из новой элиты с сыновьями, на которых школьные учителя жаловались в связи с низкой успеваемостью. Ирма Фридриховна давала адрес и говорила: «Иди, помоги там мальчику по геометрии или по географии». С сыном она разговаривала по-немецки, пока фашисты не напали на СССР. Тогда она потеряла права и амбиции. До 1949 года ей запрещали выезжать из Челябинска. Однако Ирма Федоровна продолжала ограничивать любознательность сына: «Советская школа научит всему, что нужно без всяких буржуазных излишеств!» К спорту и шумным играм вундеркинд был равнодушен. Беднее всего оказалось музыкальное воспитание. В юные годы привлекал Р. Вагнер. На его операх были сосредоточены основные музыкальные интересы Юры. Вероятно, это определилось литературно-философским развитием, где-то в основах своих укорененных в древнегерманских представлениях о радости, о пафосе бытия. Любимый герой детства Гайавата настойчиво ассоциировался с вагнеровскими персонажами (вельзунгами – Зигмундом, Зигфридом), а Миннегага – со слабыми героинями раннего Вагнера.

С 1930 года отец ютился в маленькой комнатухе барака спецпереселенцев у истоков речки Челябинки. Через три года семья по-

селилась напротив костела на углу, с которого начиналась дорога к вокзалу, от бывшей улицы Спартака. Этот храм на пути в Сибирь добротнo отстроили поляки. После нескольких лет жизни на той же Челябинке, на месте, где потом построили ЧИМЭСХ, Юру перевели в 1-ю образцовую школу (за Алое Поле). Всю войну семья прожила на ЧГРЭСе, прямо против здания театра Комедии (до того кинотеатра «Сталь»). Слева располагалась 50-я школа, а дальше тюрьма, в которой останавливался молодой Сталин в пути к Туруханской ссылке. По странному совпадению обстоятельств, в ней и арестованный десятиклассник провел один месяц (август 1946-го). В те времена у него сложилось представление о Челябинске как о городе, застроенном многоэтажными бараками.

Отец, доцент Челябинского института механизации сельского хозяйства, был осужден и сразу расстрелян в 1937 г. Мать в 1940-х гг. работала на кафедре иностранных языков в одном из вузов, а затем до конца жизни преподавала немецкий язык в Челябинском медицинском институте. В отличие от отца она была высокоинтеллектуальной убежденной коммунисткой, принципиальным членом партии. На идеологической почве в семье возникали острые конфликты.

В раннем возрасте ребенок получил блестящее по тем временам образование. Особые успехи показал в изучении иностранных языков. В старших классах стал писать лирические стихи:

*...там догорает и коптится
мещанский будничный уют,
а я живу легко, как птицы
в привольном воздухе живут...*

Кроме того, принципиальный юноша изучил Полное собрание сочинений В.И. Ленина, изданное в 1929 году. Из этого издания еще не были вычищены обширные примечания, разъясняющие детали программ сравнительно недавних партийных оппозиций 20-х годов. Особенно привлекали «профсоюзная оппозиция» и «децисты». «Пепел Клааса» стучал в его сердце. Не давала спокойно жить несправедливость властей по отношению к отцу:

Миры тоски, как небо, велики.

А я их взял на худенькие плечицы –

Я проглотил живого пса тоски,

И он в груди, кусая лапы, мечется...

В 1945 г. Юра заинтересовался одноклассниками – Г. Ченчиком и Г. Бондаревым, которые каждодневно вели разговоры о причинах поражений СССР в 1941–1942 годах. Им-то юный политик и подкинул оригинальные идеи на эту тему, в результате чего оказался в подвале местного Управления ГБ в Челябинске.

Параллельно в городе действовала и вторая группа более молодых оппозиционно настроенных подростков под руководством А. Полякова. Более активные и радикальные ученики другой школы принялись расклеивать листовки у входа в продуктовые магазины. Юные сторонники новых идей писали листовки печатными буквами на линованной бумаге из школьных тетрадей. Воззвание заканчивали оптимистическим прогнозом: «Падет произвол и восстанет народ!» Новоявленные правозащитники критиковали коррумпированную, «обуржуазившуюся» партийную верхушку «угнетенного рабочего класса», который прозябал в бесправии и неведенье... Челябинские школьники взяли на себя миссию открыть народу глаза: «...Товарищи!.. Правительство угнетает нас. Нас кормят пятилетками, а не хлебом. Нас не отпускают с заводов, за самовольный уход с предприятий судят как дезертиров. Нами помыкают как рабами. Но мы не рабы и не хотим быть рабами, мы протестуем против насилия и притеснения...» Антисоветскую группу быстро вычислили компетентные органы и арестовали. Активисты оказались в колонии для малолетних преступников.

В 1945 г. среди знакомых Динабурга сложилось что-то вроде политического кружка, в который входили Георгий Ченчик и Гений Бондарев. После ареста Юру рассматривали как главного идеолога группы. Считалось, что он создал «теоретическую базу» антисоветской организации, вначале в форме, разработанной им «теории монополии власти на информацию», а позднее в виде «Манифеста идейной коммунистической молодежи». Группа,

получившая условное название «бейбарабанцев», считала необходимым чистку партии и комсомола и проведение переворота в стране. Этот переворот мыслился мирным путем, посредством пропаганды. Из знаменитого стихотворения Генриха Гейне «Доктрина»:

*Бей в барабан и не бойся беды
И маркитантку целуй вольней.
Вот тебе смысл глубочайших книг,
Вот тебе суть науки всей.*
(Перевод Ю. Тынянова)

Забегая вперед, здесь важно упомянуть, что в последующие годы, уже после переезда в Питер, Юрий получил от «подельника» Г. Ченчика копию «Манифеста», который в декабре 1945 составил в течение двух дней. При чтении текста набравшийся жизненного опыта автор растерялся, потому что первые фразы в этом варианте начисто отсутствовали. В зрелом возрасте содержание этой тетрадки представлялось неуклюжим, написанным очень сухо и наспех. Юрия Семеновича довольно долго беспокоили упорные воспоминания: когда и как могло исчезнуть начало, за которое юного оппозиционера могли бы, пожалуй, и расстрелять. Кто же мог это начало убрать из важного вещественного доказательства? Челябинских «антисоветчиков» спасла корпоративность и взаимная выручка правящей партийной номенклатуры. Отец Г.И. Бондарева, Иосиф Яковлевич, был крупным советским чиновником, государственным контролером двух железных дорог. Его привечал сам Л. Каганович.

Удивительным образом в XX веке школьники узнали силу нищезанской воли к власти и вкуса к унижению чужого человеческого достоинства. Исторической миссией молодого поколения теперь становится выяснение возможности преобразования человеческой природы, которое позволило бы искоренить подобные тенденции. В чем должна бы состоять такая социальная гигиена? Никаких гипотез на этот счет тогда не было, а речь шла больше о практике борьбы с коррупцией в послевоенном обществе. В те годы Юра

гордился употреблением слова «коррупция». Этот термин советская печать в то время практически не знала. Автор решил, что начало «Манифеста» кто-то извлек из рукописи. Конечно, не на память, а чтобы «документик» утратил свой зловеющий характер. Молодого человека, по его словам, могли ненароком в расход послать. Важно подчеркнуть, что в материалах следствия не было ни слова о Сталине. Через много лет Юрий Семенович считал горбачевскую перестройку пародией на свои незрелые взгляды.

Даже на следствии арестованный продолжал настаивать: «...Я считал, что комсомол является организацией разлагающейся и почти совершенно бесполезной, не играющей серьезной роли в жизни нашей молодежи... Лидеры преследуют лишь карьеристские цели». Большинство из выпускников школы привлекала в высшие учебные заведения не жажда знаний, не желание служить Родине, а лишь стремление как можно лучше устроить свою карьеру. Юра считал, что в лице взрослых – своих отцов они имеют дурной пример морального разложения, карьеризма и бюрократизма (из протокола допроса).

Арест

*При сложившемся состоянии дел в России
сохранять здравый рассудок непатриотично.*

Ю. Динабург

За искренность и обстоятельность комментариев на следствии школьник-оппозиционер получил срок в два раза больше, чем его друзья Г.И. Бондарев и Ю.Ф. Ченчик, – 10 лет. Две вовлеченные девочки 18 лет получили свою «малость» преимущественно за то, что слишком хорошо отзывались о Юре. Одна, переписавшая «Манифест», получила всего 3 года условно (В.И. Бондарева), а другая отбыла и 3 года настоящих (Р. Гольвидис). А идейному вдохновителю «посчастливилось» попасть в Дубровлаг (п/я 385/18), ставший первым настоящим университетом. Он располагался вдоль железнодорожной ветки от станции Потьма Московско-рязанской железной дороги в направлении муромских лесов.

В тюрьме была очень хорошая библиотека, и в досугах, которые выпадали в 46-ом году, политзэк получил возможность очень внимательно изучить по нескольку томов сочинений Гегеля и Марселя Пруста. Дрезденский физик, доктор Пюшман, читал любознательному молодому человеку лекции по дифференциальной геометрии и топологии, иллюстрируя свою немецкую речь чертежами на сугробах. Москвич Диодор Дмитриевич Дебольский, большую часть жизни отбывавший сроки в разных концах страны за увлечение индийской философией, читал лекции о литературной жизни Москвы (в частности, о близком ему Михаиле Булгакове и романе «Мастер и Маргарита»). Позднее этот курс был продолжен В.А. Гроссманом, который в гимназии дружил с Таировым, поучаствовал в революции 1905 года, лет семь прожил в эмиграции, а позднее работал у Вахтангова и общался с Немировичем-Данченко. Кроме пушкинианы темами его лекций были разные эпизоды из истории театра. Необычное поведение политзэка привлекло внимание владыки Мануила (В.В. Лемешевского) тогда, когда он еще не был митрополитом. На робкие просьбы просветить в вере, он ограничился шутливыми разговорами о литературном наследии Н.С. Лескова. Впрочем, через некоторое время священник великодушно направил Юрия на обучение к знаменитому евразийцу П.Н. Савицкому, которому он же и рекомендовал его так убежденно, что старый больной Петр Николаевич без колебаний согласился им заняться. Несколько месяцев по вечерам рассказывал новому ученику о христианизации России и о разных внутренних проблемах, разногласиях иосифлян и заволжских старцев, о Ниле Сорском и о прп. Сергии Радонежском. Но это было только началом его дела. Лет семь или девять спустя он рассказал о любознательном соседе как своем студенте Л.Н. Гумилеву, а его рекомендация была вскоре дополнена отзывами профессора М.А. Гуковского. В результате с 1959 года установились со Львом Николаевичем весьма доверительные отношения, ограниченные лишь возрастной разницей в пятнадцать лет.

Приходилось много общаться и с уголовниками. Юного политзэка спасала удивительная память. Он помнил наизусть целые главы

из популярных литературных шедевров, мог часами цитировать захватывающую прозу и стихи. Среди заключенных эта способность ценилась очень высоко. В лагере это называлось «тискать роман». Перед сном в бараках регулярно проходили «литературные вечера». Юрий Семенович был среди уголовников «в законе» – как врач или прокурор. Таким образом, детство он провел в женском окружении, а юность в мужских казармах.

По всему Дубровлагу от Потьмы до Барашево пошла молва о мальчишке, который пристаёт к солидным профессорам с расспросами. Старое прозвище этого лагпункта «Академия сумасшедших наук» наполнилось вдруг новым содержанием. Разумеется, начальство, обозвав зэка «всесветным мозгокрутом», послало его кататься с этапа на этап почти по всем мужским лагерям и частенько по карцерам. От недоедания и отсутствия элементарных гигиенических условий на ногах периодически открывались язвы. Сравнивая свою судьбу с участью «отщепенцев» довоенных, в зрелые годы Юрий Семенович вспоминал эпитафию из пушкинской «Капитанской дочки»:

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.

«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?»

Спросил он ласково.

(А. Сумароков).

Только со слов других зэков удалось узнать о гибели массы людей, которых теперь ни по каким архивам не могут учесть и уточнить, сколько их было и какая им цена. В последующем Юрий Семенович писал: «... Их жизни сделались величинами переменными, пренебрежимо малыми... Даже через много лет после распада СССР уточняется только, в какие годы погибало больше, в какие меньше. Но проинтегрировать эти функции советского правосудия до сих пор никому не удается. Отец был реабилитирован посмертно через восемнадцать лет после расстрела. Математика теперь слаба, мышление оскудело. Россия, которую мы потеряли, – это не территории, не порядки и не нравы, а умственные способности и культурные традиции. Это способность чувствовать стыд, а не

стыдить кого-то по слухам. Это способность отличать подлость от прагматизма».

Освобождение и реабилитация

*И сад стоит скелетом веток,
Жизнь осыпается с дубов,
Где бродит нежность без ответа,
Неразделенная любовь.
В пустом саду гуляет ветер
И осыпается листва,
Мне машут брошенные ветви,
Роняя мертвые слова...*

Ю. Динабург

Освободился Юрий Семенович летом 54-го года как неподсудный в 1945-46 гг. по малолетству. Он вернулся в Челябинск и поступил на историко-филологический факультет педагогического института. В 1957 г. он женился на однокурснице Л. Захаровой, а в 1958 г. получил комнату в коммунальной квартире в районе тракторного завода. До этого они с женой снимали тесную комнатку в деревянной избе на улице Свердловской с западной стороны от Пединститута. В последующие годы это ностальгическое место было застроено многоэтажными современными домами. С ними жил огромный приبلудный черный кот с белой отметиной. Всю жизнь Юра питал слабость к котам, гулявшим, как и он, сами по себе. Относился к этим животным, как к людям. Посетителям кот представлялся членом семьи, которого хозяин наделял яркими человеческими достоинствами и пороками.

По настоятельному желанию невесты Юра принял православное крещение, поскольку не был уверен, что в детстве его действительно крестили. К Высшим силам он относился весьма уважительно, однако большинство обрядов ортодоксальной церкви считал избыточными. Вопросы веры он никогда не обсуждал с атеистами.

Освобождение принесло радость от простой возможности двигаться по городу, проходить большие расстояния среди совершенно

чужих людей, не носящих на одежде личных номеров, принятых в Дубравлаге (метка зэка № Ж-28); судя по этой нумерации, узников там было около 30 тысяч. На свободе у людей вокруг не было никаких «проблем», только мелкие заботы: «Где дают, как и где взять? Об остальном пусть начальство думает... или лошадь: у нее голова большая». Возможно, Юра чувствовал себя лошадю из «Четвертого путешествия Гулливера», аристократом среди йеху. Внутренне он чувствовал себя свободней в Дубравлаге. Но там была крайне ограниченной свобода передвижения. И не было свободы в выборе работы. Однако старался находить немного времени для работы над собой: всегда можно было чему-нибудь и как-нибудь учиться. На воле расширять кругозор приходилось только самостоятельно. В студенческие годы самообразование получило преподавательскую поддержку, да еще появилась возможность воспитывать в себе понимание нового поколения. Для освободившегося зэка жизнь молодежи с порывом в коммунизм и бодрыми песнями казалась фантастической. Тогда студенты пели на мотив хита «Черная стрелка проходит циферблат...»:

*Нам электричество ночную тьму разбудит,
Нам электричество пахать и сеять будет,
Нам электричество заменит тяжкий труд,
Нажал на кнопку – чик-чирик! – и ты уж тут как тут.*

*Не будем мы учиться, не будем заниматься,
Не будет мам и пап, мы будем так рождаться,
Не будет акушеров, не будет докторов:
Нажал на кнопку – чик-чирик, и человек готов!*

*Заходишь в ресторан, там все на электричестве:
Нажал на кнопку – чик, вино в любом количестве,
Нажал на кнопку – чик, закуска с колбасой,
Нажал на кнопку – чик-чирик, и ты уже косою.*

*И будем мыться мы тогда в электробане,
И будем мы летать тогда в электроплане,*

*И грабить будет нас тогда электровор,
И будет защищать электропрокурор!*

Одной из самых ярких радостей в жизни Юры было возвращение целой коллекции бумаг на фоне внезапного включения в обычную жизнь после восьми с половиной лет без книг и возможности писать. Не только мать Ирма Фридриховна, но даже адвокат Ремез не без риска для себя сберегли целые кипы рукописей и вернули их бывшему заключенному. В собственные записи пришлось заглянуть тогда со стороны – взглядом «внука их автора». Юра писал: «Я как бы дважды уже умер – сам себя усыновил и увнучил».

Жизнь в Челябинске постепенно налаживалась. В этот период Юра очень увлекался чтением Норберта Винера, У. Эшби, Л. Куфиньяля и других модных кибернетиков, ранее запрещенных. Продолжал развивать философские темы, осмысленные в Дубравлаге. Как оказалось впоследствии, за рубежом над ними работали в то же время А. Кожев, П. Клоссовски и потом Ж. Деррида. Но эти источники стали известны полвека спустя благодаря А. Грицанову – единственному русскоязычному автору, сумевшему рационально популяризировать их труды только в конце тысячелетия. Тогда же Юра изучил скудные публикации по математической логике и набросал революционный по тем временам научный реферат для поступления в аспирантуру Ленинградского университета.

Еще до женитьбы Юра перевелся на заочное отделение института и начал работать в Центральном бюро технической информации корректором и редактором. Это обеспечивало минимальную материальную поддержку и относительную независимость. Юра никогда и ни у кого не просил денег взаймы. О финансовых вопросах он всегда предпочитал умалчивать. Любые лишения выдерживал стоически. Первые годы после освобождения поддерживала материально и Ирма Федоровна. Однако отношения с ней все время были натянутыми из-за противоположных идеологических убеждений.

Юра принципиально не ходил на любые выборы, открыто издевался

над партийной номенклатурой и администрацией. Использовал любую возможность пропагандировать свои нестандартные идеи. Его возмущала любая несправедливость в быту. К примеру, с донкихотской несдержанностью он мог вступить в перепалку в ответ на хамство продавцов в гастрономе. Общественная атмосфера в Челябинске была напряженной. Компетентные органы вели двойной контроль за интеллигенцией с учетом усиленной работы над атомным проектом и первой катастрофой 1957 года.

В дальнейшем бывшего политэка все-таки поддержали некоторые руководители, в частности, заведующий кафедрой систем управления политехнического института С.А. Думлер, который приободрил молодого специалиста, обнаружив в нем перспективного научного работника, способного на практике применить законы математической логики. Он без колебаний пригласил Юру работать у него на кафедре организации производства в Политехе инженером-исследователем. Именно он и посылал его по Уралу в комиссиях по контролю за работой предприятий. Но в те времена логистика для советского инженера была закрытой книгой.

В период 1957-1962 гг. на квартире Динабургов 1-2 раза в неделю по вечерам собирались гости разных возрастов и убеждений. Как правило, хозяева предлагали крепкий чай с дешевыми баранками. Обменивались новостями. Все находили общий язык, много спорили. Основное свободное время Юра уделял изучению формальной и математической логики. Приобретение приличной пишущей машинки позволяло ему оформлять свои мысли и писать многочисленные письма знакомым. Его эпистолярные шедевры воплощались в философские произведения (оригинальные трактовки К. Маркса) в виде содержательного и непринужденного потока сознания. Взгляды непризнанного философа временами напоминали экзистенциалистские размышления Ж.-П. Сартра. Печатал заготовки своих трудов Юрий Семенович на папиросной бумаге в четырех-шести экземплярах. Это позволяло посылать текст сразу нескольким знакомым самого разного интеллектуального уровня и подготовки. Все это чем-то напоминало современные рассылки по электронной почте и современную блогерскую деятельность

в интернете. Цитаты из современных философов перемежались с обширными отступлениями и маргиналиями.

Одно время в Челябинске Юра увлекался научно-фантастической литературой. Особенно выделял «Трудно быть Богом» Стругацких. Он считал, что нужно воздействовать на подрастающую элиту общества. В этот период вокруг него сформировался кружок студентов и преподавателей, изучающих и совершенствующих французский язык. Хотя группа просуществовала недолго, участники научились воспринимать музыку языка и красоту французского стиха. Некоторые участники параллельно совершенствовали свой английский язык под руководством Евы Тросман, профессионального преподавателя, сестры известного челябинского адвоката Юрия Дмитриевича Тросмана. Кстати, Юра в окружении своих почитателей и знакомых периодически навещался в гости к адвокату. В его гостеприимной квартире обсуждались последние события, проходили споры о проблемах кино, театра, литературы и живописи. Между двумя Юрами существовало негласное соперничество и борьба за лидерство среди формирующейся новой челябинской интеллигенции. Нередко наиболее верные соратники Динабурга собирались в квартире преподавателя педагогического института Игоря Николаевича Осинковского, расположенной в центре Челябинска. Ученик академика С.Д. Сказкина принимал гостей в перегруженной книгами, коллекциями монет, марок и виниловых грампластинок квартире. На стенах висели оригиналы картин художников-нонконформистов. Игорь Николаевич – крупнейший специалист по Томасу Морю. Его работы по утопическому коммунизму и реформации известны за рубежом. Юра всегда был склонен к менторской опеке знакомых. В его круг попал и И.Н. Осиновский. Динабург был его студентом. Дружба началась с бесед после лекций. Преподавателя интересовал быт эков и личности, с которыми пришлось отбывать срок студенту-ровеснику. Игорь Николаевич с удовольствием слушал рассказы о лагерной жизни академиков-светил того времени. Очень любопытны и поучительны были споры Юры с профессиональным медиевистом об эволюции гуманизма

в Европе и корнях духовного кризиса современности. Красота и обаяние необыкновенной личности Т. Мора захватывали всех слушателей. В дискуссии обычно участвовал и библиограф публичной библиотеки А.В. Блюм, который впоследствии стал знаменитым историком отечественной цензуры. Как правило, такие собрания заканчивались совместным прослушиванием записей шедевров классической музыки в исполнении С. Рихтера и тогда еще мало известного Г. Гульда. Регулярное общение с Динабургом в определенной мере расширило кругозор преподавателя и в последующем способствовало изданию капитальных монографий И.Н. Осиновского о Томасе Море. Довольно эмоционально протекали споры об идеологическом значении Петра I в российской реформации. Юра снисходительно относился к зверствам царя и считал его великим преобразователем общественной и политической жизни. Для гуманиста Осиновского варварство и насилие были неприемлемы.

Спорщиков сближала также удивительно нежная любовь к животным, особенно к котам. Дружба продолжалась и после переезда И. Осиновского в Москву. Большинство писем Динабурга обычно начиналось так: «Милый Игорь, Игорь милый...». Возможно, это была пародия на послания Эразма Роттердамского: «Милый мой Мор...».

Принципиальные политики и пострадавшие «за веру», вернувшись из ГУЛАГа в период оттепели, воспринимались студенчеством как герои-мученики. Эта волна, поднятая Юрой и другими жертвами, разбудила поколение шестидесятников. В Челябинске они были для пытливой молодежи провозвестниками великих перемен.

В зрелые годы Юра часто бывал в Москве и приятельствовал с талантливыми инженерами, вырабатывая свое мнение о разных поколениях нашей интеллигенции без претензий к ним. Он считал, что технические кадры укомплектованы у нас людьми, просто ограниченными недосугом в самообразовании. А вот гуманитарные интеллигенты (или, как их в лагерях называли, «придурки») просто

паразитарны силой представления о себе как о сверхкомпетентной публике, уполномоченной на все дипломами и диссертациями.

В Питере

Вместо графов в литературе воцарились графоманы.

Повсеместно вместо хамов – профаны, а из них – паханы...

Ю. Динабург

Оригинальные идеи Юры увлекали всех знакомых и поражали смелостью и изяществом. После окончания аспирантуры при кафедре логики в Ленинградском университете он принципиально не стал защищать диссертацию. В последующие годы преподавал философию в Пермском политехническом институте, а с 1969 г. капитально перебазировался в Питер. Укорениться во второй столице удалось не сразу. Бывший политзэк, математик, историк, участник диссидентского и правозащитного движения в СССР, в последующем народный депутат РСФСР Револют Пименов выручал Юру во времена его бездомности. Сын Революта с благодарностью вспоминает о беседах отца с Юрой. Эти диалоги (или монологи) повлияли на формирование взглядов подростка. В беседах с окружающими Юре не было равных. Он фонтанировал идеями, разбрасывал их. Он остро нуждался в умных и талантливых людях. Их довольно много было тогда в северной столице. В Ленинграде и Москве он некоторое время вел богемную жизнь, общался с правозащитниками, философами и искусствоведами (А.С. Есенин-Вольпин, М.А. Гуковский, Л.Н. Гумилев, А.М. Панченко, Ю.С. Айхенвальд, Г.И. Подъяпольский и др.). Профессор М.А. Гуковский, представляя Юру, говорил: «Вот мы сидели за слова, а этот – за дело». Динабург принципиально не хотел внедряться в научный истеблишмент, хотя его старшие товарищи по отсидке уговаривали: защитись и занимайся, чем хочешь! Нет. Юру постоянно толкала вперед очень высокая самооценка. Он всегда стремился создать что-то новое, свежее и постоянно собирал информацию, знания из разных областей: математики, логики, кибернетики, литературоведения, искусствоведения, психологии. Чем он только не

занимался! Тому свидетельство – горы черновиков и выписок в его архиве.

После переезда в Питер Юре удалось устроиться рядовым экскурсоводом в Петропавловскую крепость. Многие посетители знаменитого музея и туристы наверняка помнят странного невысокого гида с интенсивной харизмой. Он всех поражал своей эрудицией и неожиданными аллюзиями. Динабург подавлял аудиторию своим авторитетом. Нередко во время экскурсии возникали жестокие споры на политические темы. У многих посетителей впечатление от экскурсовода сохранилось в памяти более прочно, чем исторические места, которые они посетили.

Последняя жена Юры Елена Дмитриевна приехала поступать в Ленинградский университет после школы из Серова, Свердловской области. Неожиданная встреча с экзотическим экскурсоводом в Петропавловской крепости резко изменила всю ее жизнь. Несмотря на разницу в возрасте, они понравились друг другу. Юра стал ее университетом. В 1978 году они поженились. Вся последующая жизнь Лены была привязана к Юре. Более того, в связи с ухудшением его здоровья жена стала основным связующим звеном с окружающим миром. Она стала при нём сиделкой и секретарём. Елена Дмитриевна перепечатала на машинке около 10 000 страниц его архива. Она быстро освоила компьютер и стала переводить в электронную форму его тексты.

В дискуссиях с видными диссидентами Юрий Семенович постоянно настаивал на том, что в большинстве своих действий инакомыслящие играют на руку карательным органам. На правительство и политику это не оказывает никакого влияния. Чтобы протесты и рекомендации стали значимы, надо добиться литературного мастерства А.И. Солженицына, а не только сравняться с ним в мужестве. Или достигнуть авторитета академика А.Д. Сахарова.

Прирожденный оратор, Ю.С. Динабург не мог рассчитывать в Питере на место преподавателя в учебных заведениях разных уровней. Его незаконченные труды окружающие воспринимали как

«неформат», а у официальных функционеров и академической элиты не вызывали интереса. Зато у него, как и в Челябинске и Перми, было много почитателей и учеников среди молодежи.

Неустроенный быт и лишения в ГУЛАГе в молодости дали о себе знать. Последние годы у Юры резко ухудшилось зрение. Присоединились возрастные болезни, хотя внешне он старался их не показывать. К этому времени у Юры появился компьютер и собственная электронная почта. Все это находилось в ведении Елены Дмитриевны. Только открывшаяся возможность публиковаться в интернете придала ему сил, несмотря на быстро прогрессирующую слепоту. С 2007 г. он работал над абсорбентностью, способностью воспринимать и перерабатывать информацию. В письмах сетовал, что сигналы проходят через нас насквозь, как нейтрино, не оставляя следа...

Научная и литературная продукция Юры оказалась невостребованной. На бумаге опубликован лишь один его текст – «Сайгон», воспоминания о ленинградской кофейне, знаменитой своей публикой. Это коллективный сборник мемуаров. Дружба с интернетом началось с публикации в 1998 году первых воспоминаний «О стране Арестань» в петербургском виртуальном литературно-философском журнале. К сожалению, в начале века сайт клуба исчез из Сети вместе с первыми интернет-материалами о Ю. Динабурге.

Ключевую роль в публикации произведений, написанных «в стол», сыграл челябинский близкий знакомый Юры, инженер-энергетик и поэт Лев Владимирович Бондаревский, во времена перестройки эмигрировавший в Израиль. В 2001 году он установил связь по интернету с друзьями Юры и получил электронный текст первой части «Археологии Петербурга». До настоящего времени Л. Бондаревский собирает и публикует в интернете на отдельном сайте все, написанное Динабургом, а также его иконографию. С 2004 г. сложилась весьма работоспособная команда. Юра отбирал материалы для публикации, Лена перепечатывала и присылала тексты, Лев их несколько упорядочивал, согласовывал с Юрой и помещал на собственный сайт. Под философские стихи и поэмы

была выделена отдельная директория, потом началась публикация мемуаров. В 2004 г., благодаря творческим усилиям Льва Бондаревского, отдельный сайт Юры закрепился в популярном портале «Яндекс» <http://le-bo.narod.ru/indexdinaburg2.html>. Сюда же перенесена с пропавшего сайта «Страна Арестань». На сегодня эта домашняя страница наиболее полно отражает творчество Ю.С. Динабурга.

А годы текли, все реже посещали Юрия Семеновича старые друзья и знакомые. Контакты с внешним миром удавалось поддерживать в основном через электронную почту. В таких условиях уже трудно активно участвовать в политической и социальной жизни, тем более ориентироваться в гигантских информационных потоках. Здоровье Юрия Семеновича резко ухудшилось в апреле 2011 года. В связи с быстро нарастающей почечной недостаточностью он был помещен в реанимацию урологической клиники. Лечение оказалось неэффективным, и утром 19 апреля 2011 года его сердце остановилось. После отпевания по православному обряду 22-го апреля совершена кремация, а 27 апреля прах захоронен на Смоленском кладбище Васильевского острова недалеко от часовни Ксении Блаженной. К ней Юра относился с особым уважением в отличие от других святых. Возможно, чувствовал в скиталице что-то родное... Сразу после похорон возникла серьезная проблема сохранения Юриного архива. Судьба объемного наследия беспокоит всех почитателей его таланта. Питерские друзья Динабурга обещали помочь его вдове и в этом.

Хочется надеяться на повышение интереса к наследию этого необыкновенного человека, к восстановлению уважения к здравому смыслу и нестандартному мышлению.

*Свежий ветер, в лицо моё дующий,
О далёком о чём-то поёт.
Я вернусь к вам обратно, приду ещё
В лучезарное завтра своё...*
(Ю. Динабург)

Елена Динабург

«... Покуда белое есть, и после»

Что мне сказать о том, как Юра писал свои заметки? Он писал их в основном на первом попавшемся листе, на оберточной бумаге из-под покупок, на бланках из читального зала Публички. Любой клочок он использовал, полностью заполняя все пространство, порой заканчивал письмо или заметку, продолжая строку по свободному периметру листа так, что, читая текст, надо было вертеть лист бумаги против часовой стрелки.

Однажды мы были в БДТ на спектакле, там в антракте он хватился, а листка бумаги не оказалось в карманах, он вытащил пачку «Беломора» и всю ее поверхность покрыл текстом, который захотел записать тут, в театре. Я тогда подумала, что, не будь этой пачки, он бы, наверное, стал писать на манжете.

Гуляя в парке Пушкина, он нередко садился на скамейку, доставал из кармана бумагу, сложенную аккуратно, и начинал что-нибудь писать. В эти минуты я гуляла или сидела рядом и молча ждала, когда он кончит, никогда не отвлекала. Это было у нас всю жизнь святое: когда он пишет – не мешать. А писал он много. Иногда я от этого страдала, потому что очень-очень часто дома, когда собирались садиться есть и еда была горячая и вкусная, он вдруг внезапно начинал что-нибудь писать, и случалось иногда ждать подолгу, когда он закончит. Еда остывала, приходилось ее не единожды разогреть, пока он придет к столу.

Любое передвижение в транспорте, будь то метро или автобус, сопровождалось у него или чтением книги с подчеркиванием важных фраз в тексте или писанием чего-нибудь своего на клочке бумаги. Почерк у него был красивый, летящий, стремительный.

Он держал лист на коленке и умудрялся при любой транспортной тряске писать разборчиво и четко. Раньше, пока у него была обширная переписка, он заранее подписывал конверты, много раз обводя каждое слово адреса, украшая каждую букву готическими вершинами. Это для него была своего рода медитация, он обдумывал при этом свои мысли. Марки он всегда покупал и наклеивал очень красивые. Думаю, его адресаты с удовольствием получали от него такие письма, они выглядели всегда нарядно и празднично.

Юра любил белое пространство бумаги, белый лист. Может быть, он поэтому любил белые крахмальные рубашки, цветных в его гардеробе не водилось, они появились только в конце жизни, когда прежние многие износились и я вынуждена была покупать что-то в сэконд-хенде. Раньше бы он мне цветную рубашку не позволил купить, но, по-видимому, когда стал плохо видеть, смирился с этим.

Писал он много – и своего, и конспектируя прочитанные книги. Придя из Публички, он всегда вынимал из карманов пиджака довольно толстую стопку сложенных вчетверо листов бумаги. Он был очень трудолюбивым читателем. Мне приходилось перепечатывать эти его выписки, я за свою жизнь перепечатала тысячи страниц, проконспектированных им. Из-за этого у меня складывалось иногда неверное представление о какой-нибудь книге. Дело в том, что Юра конспектировал лучшие места, он своего рода создавал книге рекламу. А я потом, читая весь текст, сталкивалась с тем, что книга полностью была не так увлекательна, как Юрины конспекты.

Юра любил белый лист, и почерк у него был очень уверенный, он мне говорил, что он сознательно выработывал его так, чтобы написание каждой буквы было четким и различимым. Глядя на его рукописи, теперь, когда его больше нет рядом, думаю порой, что «...кириллица, грешным делом, / разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли, / знает больше, чем та сивилла, / о грядущем. О том, как чернеть на белом, / откуда белое есть, и после».

Михаил Борщевский

Смотрящий внутрь

Смотрящий вовне – спит. Смотрящий внутрь – пробуждается.
Карл Густав Юнг.

Мне в жизни везло. В особенности на собеседников. Даже среди тех из них, с кем я беседовал вживую, то есть в форме диалога, Юрий Динабург – один из экстраординарных собеседников на моем пути.

Собственно говоря, с момента первой встречи (у лестничного окна на философском факультете ЛГУ, где нас познакомил тогда, как и Юра, – аспирант Анатолий Свенцицкий – позднее известный психолог) мы «завязались» на диалоге, быстро найдя сходство в манере вести его (по Юриному выражению – «без оглядки на непонятливость третьих лиц»). Потом не раз забавлялись мы подобным волейболом обмена реплик в компаниях. У Юры, с его фантастической эрудицией и темпераментом, диалог зачастую переходил в монолог, вокруг которого клубились слушатели.

Сейчас, когда я с наслаждением узнавания читаю рукописи его воспоминаний, я снова испытываю радость труда этого диалога. «Кем бы я ни пытался быть, в лучшем случае мне удалось стать памятником тех людей, которые приложили свою добрую волю... к тому, чтобы использовать меня как живой материал для реализации своих надежд». И еще: «... Я вообще не понимаю, что такое завершение мысли. Только очень мелкая мысль может казаться чем-то законченным». Вот именно в силу цитируемого беседы с Динабургом – это всегда было тем, к чему ближе всего подходит

определение «brain storming» – мозговой штурм, когда каждый из собеседников подхватывает и развивает мысль другого, даже опровергая ее.

Протянув сухую горячую узкую руку, посверкивая линзами, через которые светились до невероятия живые ироничные глаза, он, услышав от нашего общего собеседника о моих интересах – а в то время меня сильно интересовала история древнегреческой философии, в особенности – «досократики» (Демокрит, Зенон, Анаксагор), – Юра немедленно заговорил о том, насколько миры, выстроенные каждым из них, более цельны и синкретичны, нежели аристотелевское деление на физику и метафизику. Помнится, я тут же стал возражать, что без этого деления не возникло бы позднее аналитики как метода познания, с ее дисциплинарным разделением и междисциплинарными науками, которые, в сущности, и привели мир к сегодняшнему состоянию. Юру эта мысль заинтересовала, и мы плавно передвинулись в университетскую столовую, и потом долго шли по набережной, через Дворцовый мост по Невскому, свернув на Литейный, где я в то время обитал в десятиметровой комнате на последнем этаже. Комната располагалась за кухней в большой коммунальной квартире. Ее окна глядели вплотную на брандмауэр, обои были исписаны гостями, а главным предметом (в том числе – моей гордости) был студийный магнитофон, в записях на котором уже были голоса Вити Кривулина, Рида Грачева, Булата Окуджавы, Василия Аксенова, Андрея Алексева и многих других – в том числе там оказался потом и Юрин голос. Жаль, что жизнь ничего этого не сохранила (48 лет, однако, длинная дистанция).

Круг интересов Юрия Динабурга, а точнее я бы назвал «шар», поскольку интересы его были весьма объемны, был чрезвычайно разнообразен. Однако в центре этого «шара» – проблемы Человека, взаимоотношения в нем Природы и Культуры. Эту оппозицию мы неоднократно обсуждали. И далее протуберанцы, расходящиеся из центра, охватывали различные области – философию и ее историю, историю развития культур разных регионов и народов. Не последнее место в его размышлениях всегда занимали идеи,

развивавшиеся по линии «Россия и...» – Россия и Европа – и культуры Востока и т.п. То же самое можно сказать и о языке – язык в целом, в понимании его не как языка той или иной народности или культуры, а языка Человека во всех формах его жизнедеятельности – эта проблема одна из сложнейших, на всех этапах развития философии, особенно нового и новейшего времени. В то время только зарождалась Тартуская школа, уже работал семинар Ю.М. Лотмана, в котором мне позднее посчастливилось бывать, но впервые я услышал об этой проблеме от Юры. У него еще было множество машинописных текстов, которые он отстукивал на тяжелой дореволюционной машинке (следуя его примеру, я купил нечто подобное в «комиссионке»), посвященных логико-лингвистической проблематике. Далее, в этот «шар» входил и его обширный интерес к вопросам психологии (включая ее отдельные направления), логики, истории, а внутри последней особый интерес к истории российской. Разумеется, здесь я могу только фрагментарно упомянуть некоторые конкретные темы наших бесед, касавшихся разных сторон его, и в те годы – моего интереса. Особняком стояла группа проблем логики, в том числе и прежде всего ее математических разделов, связанных с теорией множеств, с булевой алгеброй, со структурами Дедекинда. Позднее (12 лет спустя) мне помогли его мысли об этом, когда я, будучи сотрудником ИСЭПа АН СССР, разрабатывал совместно с Владимиром Перекрестом социолого-математические модели на статистике пересекающихся множеств. Теме дедекиндовых структур должна была быть посвящена и его будущая диссертация, которая, к сожалению, никогда не была дописана. Здесь я возвращаюсь к одному из его высказываний, о том, что мысль, именно законченная мысль, не имеет дальнейшего развития. Поэтому то, о чем я буду говорить далее, – это попытка вспомнить некоторые из мыслей, высказанных Юрой по перечисленным мною темам.

В самом начале нашего общения обоюдным интересом была история философии. Как я уже отметил, меня, в тот период занимавшегося изучением «досократиков» и их последователей, включая Сократа, Платона, Аристотеля, очень интересовал вопрос о том, что при-

вело Аристотеля к разделению синкретичного сознания предшествующих философов на «физику» и «метафизику». Я помню Юрино высказывание о том, что предшествующие Аристотелю философы не знали никакой методической индукции и «у нее была лишь биография, а не история». Тогда же он высказал очень важную мысль о том, что великие метафизики – Прокл, Плотин, Аквинат и Николай Кузанский – предполагали, что они работают с идеями бесконечной отрицательности, как говорил Юра, «идеями-бритвами», «оккамовыми скальпелями, отрицательной толщины»...

Несколько позднее, уже в начале 1966 г., мы обсуждали с ним вопрос о том, как из аристотелевского разделения на физику и метафизику уже в новое и новейшее время возникла дифференциация наук, отдельных дисциплин, междисциплинарных переходов; как развивались методы анализа, почему они доминировали вплоть до середины XX века по отношению к методам синтеза. Мы много времени уделяли темам ответвлений в истории науки и культуры, вопросу о роли взаимодействия языков разных дисциплин между собой в процессе создания методов синтеза, который, на мой взгляд, и сегодня не продвинулся достаточно далеко.

Думается, что этой группе проблем в философии, лингвистике, методологии науки в целом до сих пор не сильно «везет» и, в частности, мне кажется, потому, что число людей, которых эти проблемы занимают, ничтожно мало даже внутри профессионального круга, а корпус текстов, насколько он мне знаком в русской и английской библиографии, тоже весьма невелик. Я думаю, что, если бы Юра сосредоточился на этой проблеме на более долгий срок, много неожиданно нового возникло бы вследствие его рассуждений в понимании методологии науки. Его эрудиция, мысли о механизмах мышления и понимания могли бы породить интереснейшие плоды, однако жизнь рассудила иначе.

Мы встретились, как я уже говорил, на исходе «хрущевской оттепели», а дальше всем нам довелось жить в эпоху так называемого «застоя», когда в общественном сознании движение мыслей и обмен ими стали рассматриваться как нечто, не заслуживающее

внимания вовсе; они стали предметом жизни той незначительной части интеллигенции, которая сосредоточилась в нескольких университетах и институтах Академии наук, а также в котельных, дворницких и на кухнях.

Я хотел бы здесь подчеркнуть, что для меня лично при формировании взгляда на науку в целом и те ее разделы, которыми я занимался (социология урбанистики, моделирование «больших» систем, воспроизводство человека и среды его обитания), большое влияние оказали Юрины воззрения на историю. И именно с тех пор я понял и сделал это постоянной практикой своих мыслительных упражнений – рассмотрение любых социальных, политических, экономических, экологических, психологических феноменов с точки зрения не только каждой из наук, изучающих их, но и с точки зрения междисциплинарных пересечений, переходов, а также взгляда на явления в различных временных масштабах.

Поскольку в те же годы одним из собеседников, с которым я имел честь периодически общаться на достаточной глубине, был Л.Н. Гумилев, то, возвращаясь от него к Юре в обсуждении вопросов российской и европейской истории, я часто находился как бы между Сциллой и Харибдой. Юра активно не воспринимал концепцию «пассионарности» Льва Николаевича. Я вспоминаю также, как Юра говорил о наших соотечественниках:

... они буквально развращены своим придорожным положением между частями Европы, даровым присвоением чужих духовных достижений, а это стимулировало присвоение материальных благ как единственно доступных, что в конечном итоге и создало среду, легко усвоившую марксизм в силу его аналогичных установок.

К сожалению, в 1966-67 годах между нами произошла размолвка, оборвавшая систематическое общение. Однако в период 1965-1967 годов благодаря Юре и через него я познакомился с большим кругом диссидентов того времени, что наложило нестираемую печать на мое сознание. Это были, в частности, в Москве – Григорий Подъяпольский, Юрий Айхенвальд; в Ленинграде – замеча-

тельный филолог и историк Александр Горфункель, поэт Геннадий Алексеев. Юра не раз говорил, что диссиденты борются не столько с правительством, сколько с природой своего народа и с его антиправовым сознанием. Он был для меня первым, кто сформулировал, что «наше византийское воспитание заповеди блаженства превратилось из религиозных заветов, обращенных к себе, в этически формальные императивы, направленные к другому, ко всякому, и только в последнюю очередь – к себе». То, что позднее у Бродского было сформулировано как первенство эстетики над или по отношению к этике, было мною услышано впервые из Юриных уст.

В последние полтора десятка лет мне приходится ежедневно читать массу текстов, поскольку я участвую в формировании Российского журнала «Вестник Европы» и Британского журнала «Herald of Europe» (Лондон). Однако очень редко возникает желание эти тексты цитировать. В отличие от этого, я хочу привести несколько цитат из Юриных записей, которые мне довелось прочитать уже сейчас. Они не нуждаются в комментариях, но весьма актуальны:

А у нас с конца XIX века была масса футуристов-самоучек вроде Льва Толстого, Н. Морозова и Н. Федорова, для которых, как в цыганском романсе, прошлого вовсе не жаль, в нем нет вечных ценностей, одни заблуждения от страстей и сентиментов, – так можно сердце или пятки пощекотать воспоминанием! Ямщик, погоняй лошадей! Мне прошлое кажется сном! – а сон область не страстей, а сентиментов. Даже если снится многократно и пугает: «Внизу народ на площади кипел. И на меня указывал со смехом». «Эй, ямщик, поедем к Яру... Да погоняй, брат, лошадей!» Но это уже что-то из И. Бунина.

Вместо уринотерапии народничества и аутогемотерапевтического вампиризма эсерства нужна была только маленькая Вальпургиева ночь, достаточно тотальная: с позиций Вальпургиевой ночи только и можно понять нашу судьбу. Учитывая, что не всякой культурой она ассимилируется широко и глубоко... Но там, где гунны и авары побывали...

Жизнь в рассрочку, одна человеческая на несколько из получеловеческих поколений.

Юрий Динабург был одним из важнейших людей в моей интеллектуальной жизни в период ее бурного развития. Меня поражала точность и метафоричность его формулировок. Например, когда он говорил о середине нашего века, что это сплошной «данс макабр» – при взгляде на мертвяческое государство и при уравнивании с человеком мертвяка. Он также был первым человеком для меня, который прочитал заново Максима Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают». А что делать, если уничтожить не могут? Тогда его запугивают, а с ним и всех вокруг обманывают и ждут удобного момента, когда все-таки можно будет уничтожить.

На философском факультете, где мы оба пребывали в том момент, было принято считать непреложным, что диалектика (от Гегеля и далее) – один из основных методов движения мысли в философии. Именно Юра обратил мое внимание на то, что диалектика – в то же время попытка столкнуть понятия истины и лжи с их привилегированного положения и подменить их чем-нибудь вроде авторитетного эталона (в том числе коллегиального).

До разговоров с ним я уже осознавал разные ступени религиозности: бытовую, которую, в частности, наблюдал в своей семье, и интеллектуальную, с которой впервые столкнулся, изучая Фому Аквината, а позднее, много лет спустя, изучая других религиозных философов (Владимира Соловьева, Сергея Франка, Сергея Булгакова и, наконец, Александра Меня). Так вот, Юра говорил, что самая большая проблема русского самосознания – это религиозный индифферентизм (симптом духовной неполноценности или интеллектуальной ущербности). То есть религиозность внеинтеллектуальная, фетишистская. Он говорил, что «она пропитана эмоциями так, что пахнет мочой и потом».

Огромный кусок Юриной жизни был связан с Петербургом, не только потому, что он прожил в нем большую и, вероятно, лучшую часть своей жизни, но и потому что, работая гидом, он, как

никто другой, осмысливал роль Петербурга в истории России и в мировой истории. Я приведу лишь одну цитату из его рассуждений о Петербурге:

... Пишут, что Свифт прототипом Гулливера вообразил Петра I. Правдоподобно, если считать, что прототипом летающего острова Ланутии он взял Петербург. Судьба петербуржцев это оправдывала. Если бы он знал остальную Россию, он мог бы увидеть и более гуманный прототип для Четвертого путешествия Гулливера – без слишком резкого противопоставления человека и лошади, а на уровне русских писателей, Лескова и Чехова. Здесь лошадь и человек друг друга облагораживали, как в Средние века: «Что ты ржешь, мой конь ретивый?» Толстой едва ли помнил Свифта, когда писал «Холстомера», – плохо, что еще меньше помнят наши режиссеры и критики, – с тех пор как истребление лошадей довело мужика до реализации образа безлошадного йеху, как у наших деревенчиков, проникнутых пафосом беззастенчивости и вседозволенности.

Все российские и советские утопии, говорил Юра, это утопии натурального хозяйства, которое думает поставить себе на службу науку. Говоря о присущем современности отрицании культуры, он в своей саркастической манере писал: «Лень просморкать мозги», т.е. отмечал распространенное свойство отрицать ценность разума. И сегодня это продолжает оставаться актуальным, как и наше «утопание в болоте всепрезрения». В рассуждениях Юры еще того времени, шестидесятых годов, было очень много о русской ментальности, о влиянии на нее «советскости», о том, как она связана с религиозностью и с той русской светской культурой, которая возникла начиная с 17 века и существовала до октябрьского переворота 1917 года. Я здесь только вскользь говорю об этой теме, которая мне кажется более глубоко раскрыта им самим в намечавшейся к дальнейшему изданию эссеистики (возможно, в следующей книге).

Последнее, что я хотел бы отметить в этом кратком и сумбурном воспоминании об общении с Юрием Динабургом, это то, что с

моей точки зрения, он был человеком из числа тех, кому любая «власть отвратительна, как руки брадобрея». Я думаю, что Юра был врожденным инакомыслящим, а его юность и ранняя молодость в «стране Арестань» усилили это качество. Когда я слышу от некоторых людей – «ах, он не реализовался», я не согласен с таким суждением. Юрий Динабург реализовался в гораздо большей степени, чем многие из нас. И сегодня именно Юрины тексты я читаю взахлеб – вот лучшее доказательство его реализации. Спасибо, Юра.

Револют Пименов

Танцующий логик России

О герменевтическом философе Ю.С. Динабурге и его наследии.

Ересь – это упрощение.

Культура – эксперимент по обнаружению Бога.

Ю.С. Динабург.

Юрий Семенович Динабург многих удивлял своей внутренней свободой. Меня же поразила дисциплина его ума, речи и даже жестов. Экзотичным эклектиком, «динозавриком» – как окликали его порой на улице друзья – останется он в памяти многих. Он и сам, подыгрывая приятелям, придумывал себе шуточные прозвища. Меня впечатляла цельность его личности. После его ухода, когда я, благодаря его вдове, Елене Динабург, познакомился с частью его архива, эта цельность стала мне еще очевидней, еще бесспорней.

В Челябинске, юношей, даже еще подростком, он составляет крамольный манифест о том, как улучшить жизнь в послевоенной России. Последние десятилетия своей долгой жизни он создавал и упорядочивал грандиозное полотно (тысячи страниц машинописи) духовной жизни Европы (частью которой он видел Россию), стремясь к тому же, к чему и в юности.

Юрий Семенович сравнивал себя с Гамлетом. Как датский принц, он прибегает к клоунаде, парадоксам и симуляции, дабы ослабить пресс враждебного окружения. И его цельность понятна только в свете первых строк Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».

Со значительными, нужными трудами случается, что они проходят мимо публики потому, что их непросто назвать и даже – указать жанр. Немногие люди, знающие о них, понимая, что столкнулись с чем-то выдающимся, не решаясь сделать ошибку, – трепетно молчат. Результат очевиден, обиден и печален – о трудах этих никто не узнает. Другие же легкомысленно доверяют Воланду, коварно бросившему: «Рукописи не горят». Юрий Семенович однажды прокомментировал эту фразу примерно так: «Разумеется, Сатане выгодно, чтобы люди не трудились сами, сохраняя рукописи, потому он и агитирует в пользу лени, мол, и делать ничего не надо, само сохранится». Я же лучше ошибусь, чем промолчу, и начинаю короткий рассказ о наследии Ю.С. Динабурга.

Чтобы дать представление о широте его познаний и творчества, я просто приведу названия папок его архива:

Арестань, Архитектура, Век XVI–XVIII, Век XX, Время, Гоголь, Гумилев, Девятнадцатый век, Дипломатия, Достоевский, Драматургия, ЕК (Европейская культура), Жанр, ИА (Историческая антропология), ИЕ (История Европы), ИК (История культуры), ИН (История науки), Ист. лит. (История литературы), История, ИФ (История философии), История логики, ИЭ (История эстетики), Кибернетика, Культура, Лермонтов, Литература, Литературная критика, Логика, Мат. логика, Математика, Метафора, Методология, Миф, Мракс, Наука, Новая литература, Новейшая философия, Персонология, Планы, Поэты, ППП (По поводу Платонова), Пространство, Психология, Пушкин, РИ (Русская история), РК (Русская культура), Русская литература, Семиотика, Словарь, Советская литература, Современность, Социология, СПб, Стихи, Теология.

Тексты Юрия Семеновича со сложной системой ассоциаций и перекрестных ссылок словно бы созданы для интернета и напоминают интернет-блог, хоть и писались за десятки лет до него.

Впрочем, он был одним из первых гуманитариев в СССР, обративших внимание на кибернетику.

А в наше время узких специализаций они становятся навигатором для междисциплинарных исследований и помогут аспирантам многих культурологических дисциплин. Но не для того он писал, чтобы помочь диссертацию защитить. А для чего? Я начну вкраплять в свой текст цитаты из его текстов, – быть может, мы с вами, читатель, и разберемся.

Бог был почти тысячу лет идеальным противовесом нашему тяготению перед силой – наглой властью завоевателя, или толпы, которую называли народом. На все это, готовое к насильничеству, было возражение: а Бог? Бог – не в силе, а в правде, которая любую силу одолеет незнамо как, в самом безнадежном положении. Когда славянофилы стали подменять Бога другим идеалом – народом-богоносцем (так что «Бог» стал чем-то вроде кокарды, украшением на челе богоносца), Достоевский мягко возразил: не творите себе кумира. Любите народ, не поклоняясь ему и не вымогая у него ни чудес, ни фокусов. Относитесь к нему лучше как к почве, которая уже до вас поистожила. Осознайте себя ее растением, и в верности ей не отказывайтесь зеленеть. Успеете вернуться в перегной – это само собой. Так возникло почвенничество. («Девятнадцатый век»)

В одном абзаце сочетается много тем, к которым Юрий Семенович возвращался всю свою жизнь. О его «Теологии» я скажу позже, а сейчас о его понимании «народа». Народ для каждого из нас начинается в общении: с соседями, сослуживцами, друзьями. Юрий Семенович шутя говаривал о своем «гиперкоммуникезе», то есть чрезвычайной потребности в общении. Но в своем общении он был очень избирателен.

Что могло бы быть пошлее в глазах Э. По или Ш. Бодлера, чем шиллеровский клич: «К нам в объятья, миллионы»? Свифта на него не было!...что не смел оспорить Достоевский в силу своей лояльности православию с его пафосом соборности; но едва ли не

отсюда концентрация его иронического внимания на культуре Шиллера...

Любовь к своему животному, скажем коту, – разве не защитная реакция от угрозы, что тебе навяжут моральными доводами – долг принять в объятия миллионы? («Деятнадцатый век»)

Да, чуткость к отдельным людям соседствовала в Юрии Семеновиче с подозрительностью к «народным массам» и отвращением к социальной демагогии.

«Народ» – межпартийная кличка главного угнетателя населения в каждой стране. Главная его привилегия – безответственность: во всем ответственны отдельные люди, а народ все создал, творит историю... какой с него спрос, с этого вечного недоросля, юродивого. Он обидчив до истерики... позволяет от его имени выступить любому психопату, садисту и шарлатану или утописту, как это будут называть в XX веке. По слухам он за все берется... успешно и только настоящим своим доволен не бывает ни в коей мере.

Интеллигенция – понятие специфически русское в той мере, в какой специфично русское понятие «народ». Любую европейскую нацию нельзя помыслить без ее интеллигенции; русский же патриот склонен заявлять словами царевича Алексея Петровича: «Да что мне они! по мне здорова была бы чернь!» А чернь, по определению, здорова не бывает... Популизм, или народничество, – это такое извращение русской грамматики, которое приучает человека мыслить от третьего лица единственного числа (ссылаясь на Его мнение, Его волю, Его интересы) во всех тех случаях, когда и своих-то личных мнений обдумывать некогда, а высказывать их стыдно. («XX век»)

Сто пятьдесят лет тому назад московские барчуки, до смерти не ставшие взрослыми, придумали еще одну эксплуататорскую затею: обложить народ духовным оброком, – брать с него не только рекрутами, деньгами и снедью, но еще и образцами святости и духовности. Вот отчего началось современное духовное изнемо-

жение... «В Россию надо только верить» – это красивым могло казаться только ленивым барчукам, которых трудолюбивый Достоевский так часто корил в лени.

Русская философия заразилась от немецкой раболопной высокопарностью, в которой все формулируется крайне извращенно. В Берлине, превращенном в пуп философствования, Гегель заявляет, что каждый народ заслуживает свое правительство. Это вместо того, чтобы прямо сказать: каждый народ ответствен за правительства, которые терпит, за политические традиции, которые эти правительства приводят к власти. («Девятнадцатый век»)

И в завершение темы народа:

...Пусть будет братство между народами, а конкретному человеку дайте же наконец настоящую свободу, т.е. право на более далекие, чем братство, отношения с людьми... Оставьте равенство сословиям и прочим объединениям по интересам, не то опять обзовут друг друга классами и начнут классифицировать друг друга насмерть.

...Право сказать очередному энтузиасту «общего дела», всеединства или толстовства (соборности и проч.): «Отойди, любезный, от тебя – курицей пахнет». («Девятнадцатый век»)

Но ни заключение в лагере, ни жизнь в общежитиях и коммуналках не сделали Юрия Семеновича приверженцем ни максимы Сартра «Ад – это другие», ни адептом «сумрачно-одинокой гениальности», ни «внутренним эмигрантом». Напротив, он автор самого оригинального доказательства существования души.

А если у тебя нет души – поверь хоть в чужую, и тебе легче станет. Если же тебе нечем верить в чужую душу, то уж точно нет собственной. Тогда ты религиозно невменяем, и тебе не грозит никакое бессмертие... («Теология»)

Общение – для него неотъемлемое свойство не только человека, но

даже и Бога, подтверждение чему он видел в христианском учении о Троице. И так же, как он настаивал на праве человека самому выбирать себе друзей, он признавал это право за Богом, что, если вдуматься, ведет к нетривиальным богословским выводам. О его теологии я и начну рассказывать теперь.

Христианство было первой религией, которая выводила человека в отношениях с Богом из положения придворного льстеца, добровольного раба или просто нищего попрошайки, который тщится заполучить хоть что-нибудь. Элементы добровольного служения ради понимания общего с Богом дела – и ради открываемого, в деле и в себе, чувства красоты (которое Богом констатировано было простейшим образом в 5 и 6 дней)... («Теология»)

Его личное богословие начинается с чувства благодарности: «За радость тихую дышать и жить кого, скажите, мне благодарить», – спрашивал О. Мандельштам. Я вспоминаю, как однажды пересказывал Юрию Семеновичу мысль Мандельштама о смерти Скрябина: «Смерть гения всегда открывает его жизнь в подлинном свете, только в смерти жизнь его становится понятной». «Как приятно и полезно иметь образованного друга, – немедленно отреагировал Динабург, – всегда узнаешь, кто из великих поэтов какую глупость сказал». Надеюсь, эта моя цитата из Мандельштама более удачна.

Вряд ли я или кто-либо может вменять себе в заслугу – своему какому-то высшему Я – свои достоинства и достижения. Все, что эта инстанция «имеет», – ей даровано. И абстрактное представление об этом дарителе и составляет идею Божества...

Логическая мотивированность моей религиозности мне проявилась. Всякое восхищение чем бы то ни было в человеке сродни чувству благодарности и без этой компоненты немислимо. И человек, привыкший к восхищению своими талантами или гением, должен эту компоненту (благодарность) переадресовывать кому-то находящемуся у него за спиной... («Теология»)

О «находящемся за спиной»:

Можно даже сказать, что «Бог» – это метаязыковое обозначение той реалии, которая может иметь разные репрезентации того «Слова», которое было Бог и было вначале, это слово, части которого ничего не означают, – а целое означает Совокупность Всего Доступного Разумению и Составляющее Наши Интересы во Вселенной – связывающего нас в себе друг с другом, – и наши рассуждения...

А как человек видит (или «представляет себе Бога») – характеризует его самого (а не Бога, который не имеет абсолютных спецификаций, кроме этой положительной свободы от них) – и он одновременно огненный столб в пустыне, или голос, или кроткий образ Христа (и никакой другой человеческий!) – Будда, убоившийся смерти и всех видов страдания – не конкурент Тому, Кто в Кане Галилейской или на пиру у Симона-фарисея так решительно отверг и аскетизм, и морализм, и просто буддийский пессимизм-нигилизм. Это у вечно больного желудком Эпикура могло возникнуть то эгоцентрическое умонастроение, в котором и боги утрачивают интерес к творимым ими мирам, уходя в между-мирья борьбы с проприоцепциями – и к солипсизму индийской метафизики... («Геология»)

Юрий Семенович протестует против распространенного взгляда, что «все религии об одном и том же и, в сущности, не отличаются друг от друга». На отличия христианства от иудаизма и ислама он указывает много раз, например:

Если человек не понимает, что преобладание в его духовной жизни отрицательных эмоций пагубно для него самого, – это его собственное несчастье и несчастье его близких, упустивших его воспитание. Во всяком случае, он не воспитан христианином, ибо все сказанное Христом касалось воспитания человеком собственных эмоций, потому что оно и не содержало никаких категорических предписаний действий, в отличие от израильской религии, либо от ислама, прямо культивирующего эмоции, разрушающие личность: ненависть.

Откуда берется ненависть, когда она становится «господствующей силой» общества?

Люди, отчужденные от своей культуры мыслить на молитве и в ее парадигме, вынуждены были всякое озлобление осмысливать в терминах не греха перед Богом, а ненависти ко всем.

Он отграничивает христианство не только от других религий, но и от некоторых популярных направлений современной мысли:

Христианство настаивает на иерархии мотивов поведения (таких, как эмоции, и т.п.) во имя сохранения понимания личности как минимума человечности в живом существе. В этом смысле оно защищает личность даже в образе трупа (уважение к мертвым). Противопоставившее себя христианству крыло демократии отличается своей трактовкой человеческого существа: все эмоции индивида трактуются здесь как равноправно-безответственные в естественности своего происхождения.

Юрий Семенович был демократом, но в мире он видел иерархии, и я, как математик, не могу удержаться от цитаты, где иерархию (упорядоченность) потребностей он связывает с высшей математикой. Лучшего объяснения высшей математики для гуманитариев я не встречал.

Рядового человека учат школьной математике – вычислению того, что каждый обязан платить во всех взаимных обменах и расчетах.

Высшая математика отличается как раз постановкой проблем целесообразности: типа что мне (нам) в данных условиях (заданных полипараметрически) – выгодней, доступней, адекватней сумме или – оптимально моих (наших) потребностей?

Это предполагает систему (упорядоченность) потребностей (интересов) очевидных, – дифференцирование по параметрам их взаимозависимостей: удовлетворяя одни запросы, удовлетворяешь или обостряешь другие. Мы уточняем, что именно составляет

наши потребности – здесь дифференциальное исчисление выполняет ту же работу, что и психоанализ – в интроспекциях, вплоть до уровня толкования слов. («Математика»)

Он подымает перчатку, брошенную Ницше, говоря о христианстве как о школе избавления от ненависти:

Чуткость к чужому состоянию как понимание не есть соперничество в смысле сострадания или сорадования, – оно есть именно то понимание, которым может, по Христу, быть отношение к своим гонителям и ненавистникам. Оно делает возможным избавление от ressentiment, от ненависти ответной, от зависти. Это даже возможность любви к тем, чьи чувства не разделяешь ни в коей мере, для этого их чувства надо только понять. То есть над клеветой дьявола можно даже посмеяться без злобы, без омрачения духа. («Теология»)

Для Юрия Семеновича, как уже ясно из приведенного, красота и эстетика тесно связаны с пониманием Бога. В разговорах он часто рассуждал о первородном грехе примерно так: «Не на зубок следовало пробовать плоды древа познания. Они были не для еды, а для любования...» Дистанция в человеческих отношениях, дистанция в отношениях человека и Бога была для него очень существенна. И снова он принимает вызов Ницше христианству:

... О милосердие к сильным! И к счастливым! И к одаренным! Пощадите их счастье, она (красота) так редкостна в жизни, особенно с тех пор, как ею править пытается Справедливость, рвущаяся к власти со всей ретивостью римского демагога, какого-нибудь Гракха, да не Бабефа, и не Гая, и не Тиберия, а просто Гришки-Гракха-Греха.

Один только поэт у нас вспомнил милосердие к тем, кто свыше одарен: «Дай передышку щедрому хоть до исхода дня!» Кто еще об этом? О милости не к падшим и убогим, о милости к милосердным, к взысканным всеми благами. К тем, кто вышел рано, до звезды, – едва ли вы найдете у Пушкина... – сострадая, будьте

милосердны и к тому, кто одержим Богом, это счастье отнюдь не в вашем реальном вкусе.

Я на месте Ницше взял бы и призвал всех – милосердия к Христу: он так ждал его себе. Разве не всем нужна красота, что ж вы так рветесь ее размельчить, чтобы раздать ее в качестве облаток от всяческих болячек, стереть в порошок для приема внутреннего всем страждущим человечеством? Неужели вы не видите, что эстетические ценности – это те, которые рассчитаны на дис-тантные восприятия. («Теология»)

Религию и Бога часто критикуют за всякое зло в мире. Есть потому целый жанр в богословской литературе: теодицея, или «бого-оправдание». Юрий Семенович, отвечая этим критикам, прибегает к идеям Достоевского, которого считает единственным после Пушкина российским автором, не поддавшимся влияниям немецкой мысли, а напротив, опережающим Ницше и Фрейда.

Ведь православие у Достоевского выступает подлинной альтернативой «научному коммунизму» Маркса. Если Маркс предполагает обобществление материальных благ, то есть уравнивание всех в доступе к ним, то Достоевский предполагает обобществление всех и всяческих ответственностей за зло, творящееся в мире. Это гениальная негативная теодицея, безусловно... («Достоевский»)

И еще о происхождении зла в мире:

Только фольклорная мудрость говорит о мертвом ребенке (или о разрушенном здоровье): «Бог дал – Бог взял». Это ведь только хочется верить, что Бог взял. А Бог-даритель на все вопли о том, что он допускает в мире зло, может перефразировать библейские речи: «Разве я сторож рабу моему? Разве я слуга тем нерадивым, что разорили жизнь, подаренную им?»

Вот вам и вся теодицея; все остальные ее варианты сводятся к покушениям на свободу Творца мира... предполагают свободу человека от ответственности, целиком переложенной на Творца. («Теология»)

О Боге и культуре:

Общества, склонные к отрицанию Божественной реальности, в истории маркированы явлениями распада их культуры. Как для представления об электрическом токе понадобилась мысль о мириадах однородных электронов, так и для представления об устойчивой культурной общности (точнее, ее самосознания) оказывалось неизменно необходимым представление о Едином Боге. Без этого представления сложную культуру строить так же бесплодно, как бесполезно создавать современную технику без использования физических представлений о частицах, недоступных восприятию... Культура – эксперимент по обнаружению Бога. («Теология»)

А жизнь человека – эксперимент по обнаружению личности?

Я уже приводил одну цитату Юрия Семеновича о почвенничестве. Он возвращается к этой метафоре не раз:

... Христианин вряд ли стал забывать о небе ради почвы, по которой он ходит пред Богом, и вряд ли уместно умять себя до меньших братьев и до существ растительных, какова бы ни была их кротость. Почва – это только наша опора, а не среда обитания – и это надо помнить интеллигенту, как бы ни было естественно для крестьянина смешивать верх и низ в раннебахтинском смысле. Ведь родина Достоевского все же не земледельческая территория, для него национальна прежде всего должна была быть и действительно была русская словесность, за понятием которой виделось и слово, в евангельском смысле Слово, бывшее в начале всего; а в истории русская словесность была уже и литературой, за которую ответственны были в тот момент двое – Ф.М. Достоевский и граф Л.Н. Толстой...

Сразу вспоминаешь, как часто у нас почва уходит из-под ног, ибо ходить приходится именно по поверхности, стараясь не увязать; но в распутицу наша равнинная и не каменистая почва если не болотиста, то часто очень осклизлая, а зимой становится совсем скользкой в гололед. Не отсюда ли и развитие в нас

всех тех склонностей к балансированию, которые могут перерасти и в грацию танца и в злоупотребление словесной игрой? («Достоевский»)

Во времена Достоевского не он один заботился о почве, которую заметно развезло уже от оттепели в 1860 г. Но если даже исполнить призыв «Россию подморозить», почва от этого менее скользкой не станет, даже если ее еще и подвыровнять, как при Александре III и Николае II. Вдруг через сто лет появилось представление, что Россию надо сделать не только Монолитом (подморазивать), но будто бы можно еще и фиксировать, как бы на одной идее (национальной идее), как бы вбить гвоздь-ось в нее и в какую-нибудь точку небосвода... («Достоевский»)

Труд Юрия Семеновича напоминает мне труд художника, оставившего после себя много огромных коробов с небольшими по размеру листами бумаги. На каждом листе – изящная гравюра, номер и четыре числа, показывающие, как соединить этот лист с другими. Всего таких листов – много тысяч и, сложенные вместе в верном порядке, они образуют огромную картину, которую лишь в пустыне и можно разложить целиком.

И, непонятным образом, отдельные фрагменты, части картины оказываются связанными с нашей жизнью, отвечают на вопросы, которые нам самим бы не пришло в голову задать, показывают новые дороги. Пожалуй, так и должно быть, если верить вместе с поэтом в то, что «слово важнее всего».

Прошлое он раскрывает через настоящее, настоящее – через прошлое, математику – через психологию, поэзию через социологию... но это колесо катится не для забавы ротозея и не для успеха и почета, а чтобы разъяснить и ободрить в следовании за Духом, как может постичь его человек в культуре. Танец метафор и сближений Юрия Семеновича никогда не бывает неистовым, или, как модно было говорить, «дионисийским» – а всегда что-то объясняет и подчинен цели. Его бурлеск и гротеск может эпатировать, но никогда не соблазняет, никогда он не говорит просто ради «красного словца».

Его образы порой напоминают мне Сальвадора Дали или Бунюэля.

Ну как тебе сказать, что такое Петербург? Есть только одна вещь, на которую он похож и которая лакирована, это большая вещь – рояль. Кто-то замечательно сказал, что рояль – это арфа, положенная в гроб. Русская история может звучать как арфа, если видеть ее в таком гробу и если не допускать до клавиатуры обезьян, вроде наших историков, не понимающих сослагательного наклонения. Я это понял через Мандельштама: «В Петербурге жить – словно спать в гробу». В других гробах я мог бы только знить...

Стук моей машинки весело перекликается сегодня со звоном наковальни из первого акта Вагнеровского «Зигфрида». («Мемуары»)

Суть философии Достоевского – диалектическая теодицея через оправдание греха (а не добра, как у В. Соловьева): суд над ним кончается без осуждения и оправдания – помилованием ввиду транзитивной ответственности.

Каковы же были толкования ФМД? Мелодраматическая сцена чтения Соней про Лазаря превратилась во всемирное восстание трупов (подготовленное двумя-тремя гоголевскими повестями: «Вий», «Страшная месть»). Но теперь мертвых вызывала не ведьма-шаманка, а фригидная святоша, назвавшая свою некромантию революцией... («Достоевский»)

Как читать наследие Юрия Семеновича? Мне помогла моя привычка читать математические книги: я открывал том, часто почти совершенно мне непонятный, находил в нем что-нибудь ясное, обдумывал, через пару дней открывал книгу снова, понятно было уже куда больше, я выбирал самое интересное. А через месяц – я усваивал материал.

Разумеется, «Мемуары» Динабурга лучше всего читать просто подряд. А многие другие его произведения, на мой взгляд, хорошо использовать для «сосредоточенного размышления» или, как принято говорить «медитаций». И то, что вначале покажется странным

и даже шокирующим – встанет на свое место, будет видно, что иначе-то и передать мысль было нельзя.

О том, что любил в философии и жизни Юрий Семенович, трудно сказать лучше него самого. Любовь для него была немислима без личного выбора и тайны – отсюда и герменевтичность его работ. А вовсе не в стремлении к таинственности или «коду». Он заботился, чтобы его мысли было трудно исказить. Попробую высказать, что он не любил, какие направления мысли были ему чужды.

Он не любил Гегеля. Диалектике Гегеля он противопоставлял диалектику Платона, Шекспира и Достоевского. Мировой дух Гегеля он сравнивал с шекспировским толстяком Фальстафом. Насколько я понимаю, марксизм он считал одной из разновидностей гегельянства. О его отношении к «диалектическому материализму» – не стоит и говорить.

Он не любил все формы нигилизма: Руссо, Писарева, Толстого – за их неблагодарность. Неблагодарность перед культурной работой, сделанной до них. Он чтит заповедь «не сотвори себе кумира». Идолы, из чего бы их ни пытались сотворить: поклонение народу, или сильной руке, идола, рожденные культурой, – всех их он или разбивал или высмеивал, не зная компромиссов. Всем буйствам идолов он противопоставлял слово.

Почему я так настаиваю на идее европеизма? Потому, что в ней целостность всего, чем славны были мы когда-то. Европа – это родина не только демократии, но и христианства и порядка как разума, способного контролировать страсти, слова – властного над стихиями толп и орд. Наши порывы к демократии, как и в Америке, даже больше, чем в Америке, уродливы по недостатку всех остальных условий европеизма; не хватает уважения к прошлому, культуре, к заслугам грешного, а не к тому, что он, цыпленок жареный, тоже хочет жить (что в лучшем случае признает азиат). («Девятнадцатый век»)

В начале этих заметок я говорил о цельности. Потоки информации,

идей, проносящиеся мимо нас, доступность всей мировой культуры сегодня – порой только ошарашивают нас или склоняют к ротозейству. Творчество Юрия Семеновича Динабурга помогает восстановить цельность. Искать и находить смысл, творить его. Тот, кто опубликует его во всей его неповторимости, – сделает славный вклад в духовную жизнь России, поможет нашему обществу понять себя и принять нашу общую историю не как проклятие, но как дар.

Никита Елисеев

Последний¹

Он был эксцентричен во всём. В одежде, в облике, в походке, в том, как он говорил, и в том, что он говорил. Однажды он заговорил о Гамлете: «Гамлет... он ... подросток ... он ... маленький ... нервный ... капризный ... да, балованный ... королевский отпрыск. Он ... и ведёт ... себя ... как подросток, – (он так говорил, речь его, его интонацию довольно трудно передать, для этого потребна или «лесенка» Маяковского или ритмизованная проза Андрея Белого. Он говорил одновременно и очень быстро, и очень запиночно, спотыкливо, там, где современный человек вставляет «как бы» или «так сказать», он просто замолкал, подыскивал нужные слова, а потом нёсся дальше по пашне разговора, как по шоссе, не снижая скорости), – все удивляются, почему он не мстит сразу же? А как он может мстить? Он – маленький, подросток, а вокруг него здоровенные, вооружённые до зубов, закованные в латы мужики. Как только он получает возможность пустить в ход оружие, он сразу её использует. Первый раз, когда закалывает Полония за занавеской; второй раз после боя с Лаэртом, когда наносит удар Клавдию...» – «Но позвольте, – возразил тогда я, – это очень эффектная трактовка, но она приходит в противоречие с текстом пьесы. Гамлет был в университете, в Виттенберге, какой же подросток?» «Э, – махнул рукой Юрий Семёнович Динабург, ибо речь я веду о нём, странном, интересном человеке, умершем в этом году в Петербурге, родившемся в 1928 году в Киеве, попавшем в советский концлагерь в 1946 в Челябинске, – принца могли и в очень

¹ Журнал «Звезда» № 9, 2011.

раннем возрасте отправить в университет. Такие случаи бывали. Приставить к нему двух старших товарищей и отправить».

Наверное, он и сам себя ощущал таким вот подростком Гамлетом... Лагерь (Шаламов прав) – отрицательная школа жизни, не прибавляет, а отнимает жизненный опыт. Юрий Семёнович Динабург, попавший в концлагерь 17 лет от роду, так и остался умным, лёгким, нервным подростком с огромной бородой, копной волос, толстыми очками. Маленький, худенький, быстрый, он вызывал порой жуткую ненависть. Помнится, топали мы с ним по Невскому, беседовали не то о низкой политике, не то о высокой поэзии. Спустились в подземный переход от Публички до Гостинки. Навстречу нам мчал разозлённый чем-то, здоровенный жлоб. Такой человекошкаф, аккуратно подстриженный, в дорогом костюме и с тупой наетой мордой. Раскормленная такая, арийская тварь. По всей видимости, кто-то эту тварь бортанул, то ли партнёр, то ли дама. Потому как человекошкаф был на стадии превращения в человекотанк. Не снижая скорости, он намеренно, сильно толкнул Динабурга в грудь так, что тот отлетел к застеклённому киоску. Я был настолько потрясён этой ничем не спровоцированной нами агрессией, что среагировал неправильно. Выкрикнул что-то оскорбительное. Жлоб остановился, вернулся и ещё раз толкнул Динабурга, уточнив: «Не нравится?» Что было делать? Я утёрся. Однако самое интересное было не то, как повёл себя я, и не то, как вёл себя жлоб, а то, как держал себя Динабург. Он стоял и совершенно спокойно смотрел так, как будто перед ним был не разъярённый жлоб, а оживший столб. Я не помню, сказал он что-то или промолчал, но и в самом молчании был вопрос: «Так. И что дальше?» Жлоб пофыркал, пофыркал, потоптался, даже поругался и устремился дальше избывать горе.

Мы двинулись к метро. По дороге Динабург как-то очень хорошо, окольно объяснил мою, не житейскую, именно что, а бытийственную ошибку. И на что я рассчитывал, крикнув в спину хаму ругательство? Что он поймёт, как не хорошо намеренно сильно толкать не понравившихся ему пожилых, слабых людей? Или что в ответ на его оскорбления я с лёгкостью Джеки Чана ударом пят-

ки в лоб отправлю великана в нокаут? Нет? Тогда зачем я кинулся в бой? Надо было стерпеть и промолчать. Он объяснил это не в лоб, как я сейчас, а (повторюсь) окольно. Он был вообще силён такими окольными, скользящими объяснениями. Как-то я вздумал посетовать на то, что в старших классах сейчас не читают статьи Ленина, и зря – яркий политический мыслитель, статьи его – пища уму. Динабург помолчал, прикидывая, как ответить: в конце концов, эта «пища уму» сунула его в концлагерь. Начитался, законспектировался в старших классах про то, с какой лёгкостью можно взять власть для проведения единственно верной политической линии, решил попробовать. Нет, жаловаться он не стал. Он рассказал притчу: «Знаете, – сказал он, – нас в лагере однажды отправили ремонтировать дом. Мы ободрали обои, а под ними оказались старые газеты. Так я эти газеты тоже ободрал, я их не то что прочёл – наизусть выучил. Пища уму». Он замолчал. Дальше нужно было самому достраивать рассуждение. Если никакой другой пищи уму нету, то и Ленин сойдёт; а если и Ленина нету – старая газета, чем не пища ... уму?

В этих заметках об умершем в 2011 году Юрии Семёновиче Динабурге я буду часто писать о себе, поскольку он стал очень важной частью моей жизни. Интеллектуальной, что ли? Скорее, пограничной между интеллектом и эмоциями. Помню, как первый раз пришёл к нему в гости в бывший Дом политкаторжан на набережной Невы, где он жил. Он выскочил к нам в белоснежном пышном жабо, в тренировочных штанах и... валенках. Мы переглянулись. Чаплин. Бродяга Чарли. По выходе мы так и решили. Ему не сказали. Он бы обиделся. Подобно Набокову и Ходасевичу, он терпеть не мог «идиотств Шарло», ему больше нравился Бастер Китон. Какой-то очень важный урок он мне преподавал. Может быть, неправильный, не знаю. Как все важные уроки, этот не так-то просто вербализовать. Только приблизительно. Может быть, так: надо жить, как хочешь. Самое важное в жизни – свобода. Не богатство, не слава, не успех и удача, но... свобода. Может быть, и так: в жизни совершенно неважна социальная реализация. Храм твой – внутри тебя. Весьма вероятно, что это – ошибка. Но это

было важно для Юрия Семёновича Динабурга. Он был напрочь, наотмашь лишён очень важного для современного российского человека стремления к социальной реализации. В нём этого стремления не было ни на грамм, ни на гран, ни на грош.

Я сам видел и слышал, как один интеллигентный человек уговаривал Динабурга: «Юрий Семёнович, вот то, что Вы мне рассказывали про архитектуру, запишите. Я издаю сборник. Обязательно помещу Ваш текст. Если тяжело, я пришлю девушку, Вы ей надиктуете, она запишет, Вы проверите, исправите, мы опубликуем...» Юрий Семёнович с откровенным, вежливым невниманием слушал, не в лад кивал, дескать, ну, конечно, напишу, разумеется, надиктую, но и мне, и интеллигенту, было ясно: ни черта он не напишет и не надиктует. Почему он упорно отталкивал от себя даже намёк на возможность какой-либо социальной реализации? Бог знает. Жизнь человеческая, с одной стороны, весьма простая штука, легко поддаётся простейшему разложению на атомы социально-психологических причинно-следственных связей. Даже какое-то поучение, какую-то мораль можно из неё вывести. Однако тут-то и скрывается главный секрет, главный парадокс: во всех этих разложениях и поучениях теряется главное... Получается не истина, а так – схема, муляж, нечто неживое и потому глубоко неинтересное.

Я бы мог, пожалуй, выстроить такой муляж, такую схему. Мне даже придётся это сделать, потому что без схемы никуда не денешься, если пишешь статью, мемуар или разрозненные заметки о таком сложном человеке, каковым был Юрий Семёнович Динабург. Здесь всё объяснение лежит в одном факте – в раннем лагерном опыте юного интеллигента, каковым был Юра Динабург. И даже эпиграф видится (я его уже, впрочем, использовал) из Шаламова: «Лагерь – отрицательная школа жизни». Там не получаешь опыт. Там опыт от тебя отнимается. Лагерь отучивает от труда. Труд – проклятие. Не маленькая пайка убивает, а большая. Это Динабург запомнил очень хорошо. Оговорюсь, кому-то лагерь в чём-то может и помочь, но только не тому психофизическому типу, к которому принадлежал Юрий Семёнович Динабург. Сын крупного челябинского инженера из команды Орджоникидзе, погибшего во время сталинского по-

грома квалифицированных кадров, Динабург не стеснялся говорить о том, что это гибель отца подтолкнула его к борьбе с Советской властью, к созданию в городе Челябинске в 1945-46 годах подпольной марксистской антисталинской молодёжной организации «Союз идейной коммунистической молодёжи». Это – к подростку Гамлету, который окружён вооружёнными до зубов убийцами своего отца. Когда мать Юры поняла, чем занимается её сын, она заметила: «Юра, это кончится очень плохо». Он спокойно возразил или подтвердил: «Это должно было кончиться плохо в тот момент, когда забрали отца».

Когда его везли в тюрьму, охранник весело сказал: «Ну, паря, света белого ты теперь не увидишь...» Юра Динабург пожал плечами: «А я и так белого света не вижу, один красный. Зато теперь я увижу своего отца, как Одиссей Лаэрта, как Гамлет Гамлета старшего...» Охранник крикнул и выдавил что-то вроде: «Ну, тебе с такими загибами совсем х... придётся... Гамлет, понимаешь, с Лаэртом...» Пришлось, конечно, х..., хотя именно в лагере Динабург пересёкся с самыми разными и более чем интересными людьми. Я обожаю его рассказ о встрече в Дубровлаге, знаменитом лагере, построенном ещё в годы первой мировой для пленных австрийцев, с московским буддологом, другом Михаила Булгакова. Динабурга перевели из первого его лагеря в этот. В прежнем ему удалось скрыть книжку «Витязь в тигровой шкуре». Он надеялся её почитать. Забрался на нары, засунул под матрас произведение Шота Руставели и услышал снизу: «Вы не знаете, который час?» – «Нет, – отвечал Юра Динабург, – не знаю, но я полагаю...» – «Подождите, – внизу заволновались, – Вы сказали: «Я полагаю»? Подождите, молодой человек, я сейчас надену очки. Я, со своей стороны, полагаю, что у нас ещё есть время до отбоя познакомиться и поговорить». Поговорили. Сначала о буддизме, потом о великом романе про дьявола, художника и Христа.

(Роман этот разлетелся, ещё не напечатанный, широким веером от пуза. Я, по крайней мере, несколько... присел, когда в руки мне попал роман Макса Брода о Христе, написанный в 1946 году в Иерусалиме. На обложке было чётко выведено «Der Meister». А

когда появился Понтий («weisse Mantel mit blutrötigem Umschlag», именно, именно, «белый плащ с кровавым подбоем»), я и вовсе потёр в потылице. Макс Брод был в Иерусалиме завлитом «Габимы», московского еврейского театра, выехавшего ещё в двадцатые годы в Палестину, но вокруг этого театра наверняка бродили и другие бывшие москвичи, а уж кому, как не Броду, не сжёншему рукописи Кафки, пересказать роман, главные слова которого «Рукописи не горят»? Короткое это отступление я делаю для того, чтобы показать, какое широкое ассоциативное поле будило общение с Динабургом. Он попытался схватиться за колесо истории в юности, и с той поры он жил в истории. У него была (по большому-то счёту) своя компания: Пушкин там, Шекспир, Гамлет. Ему с ними было интересно. Было о чём поговорить.)

Потом буддолога перевели в другой лагерь. В тот же день Динабург зашёл в лагерную каптёрку. Каптёрщиком в Дубровлаге тогда был Виктор Викторович Лемешевский, более известный, как епископ Мануил. Он не выходил из лагерей, начиная с 20-х годов. После Дубровлага ему предстояла долгая жизнь. Келейником у него служил будущий митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн (Снычёв). Сам епископ Мануил в начале шестидесятых составил первый, наиболее полный биографический словарь иерархов русской православной церкви. Но тогда он был каптёрщиком. И к нему в каптёрку как раз и зашёл вечером Юра Динабург. «Ну что, – спросил каптёрщик, – молодой человек, грустите? Угнали Вашего наставника?» – «Да, – отвечал Юра, – грущу, но тут понимаете, какое дело: благодаря ему в буддизме я более-менее разобрался, но есть у меня очень серьёзный пробел. Ничего не знаю о православии, о христианстве. Я, например, даже не знаю, как Вас называть по-настоящему, по-православному. Мирское имя Виктор Викторович, а настоящее, ну, православное?» Каптёрщик помолчал, подумал, потом сказал: «Отец Мануил, но это сейчас не важно...» – «Вот, вот, – воодушевился Юра, – а мне бы очень хотелось побольше узнать о христианстве, о православии». Отец Мануил, Виктор Викторович Лемешевский, снова подумал, помолчал и ответил: «А Вам ничего не надо узнавать о христианстве. Вы и так христианин».

Поди пойми, почему епископ Мануил ответил так? Может, потому, что принявший муки уже христианин и ничего особенного ему знать не надо? А может, старый лагерный волк чего-то заопасался, заосторожничал и решил сквозануть? Может, и так, и эдак, но что-то важное Виктор Викторович в Юрии Семёновиче заметил. Он был не от мира сего. Меньше всего я мог его себе представить выбивающим гранты, продавливающим диссер или протаскивающим публикацию в печать. Но «не от мира сего» не всё христианство, в том-то и парадокс этой самой странной религии мира, что «не от мира сего» всегда соединялось в ней с ясным, порой жестоким, порой циничным пониманием того, что в мире сём происходит. «Нераздельно и неслиянно» – это хорошо было сформулировано на Никейском соборе, потому что в христианстве всё «нераздельно и неслиянно». Вот и в Юрии Семёновиче Динабурге его «не от мира сего» неслиянно соседствовало с жёсткими, шокирующими, едва ли не циничными рассуждениями о сём мире. За несколько месяцев до чеченской войны он с испугавшим меня цинизмом её предсказал.

Ход рассуждений был приблизительно таков. Ельцин в октябре 1993 года сохранил власть благодаря армии. Значит, чтобы армия не приобрела чрезмерного влияния, надо её сунуть в такую ситуёвину, чтобы стало ясно: московское хулиганье она разгонит спроста, но если дело дойдёт до более или менее боеспособных единиц, вот тут начнутся сложности. Где у нас могут быть такие боеспособные единицы? В Чечне, каковая, как по заказу, волнуется, вот туда её и бросят.

Повторюсь, не от мира сего, безбытность, эксцентричность поведения, речи, одежды соединялись у него с поразительно ясным, жестоким умом. Ум, впрочем, всегда жесток. Это сердце – доброе, а ум – жестокий. Глупые и добрые, умные и злые – естественные пары. Таковым Юрий Динабург был всегда, даже тогда, когда вместе со своими друзьями Юрой Ченчиком и Гением Бондаревым создавал в Челябинске «Союз идейной коммунистической молодёжи». Здесь парадокс с «не от мира сего» и пониманием сего мира достигает вершины, апогея, зенита. Потому что это ведь безумие,

донкихотство и полное непонимание житейской ситуации – в 1945 году создавать антисталинскую организацию. Ведь это означает полное непонимание окружающей жизни в её простейших бытовых формах и абсолютно верное понимание того, что сталинский режим обречён, что сроку жизни ему десять лет, не больше. Дальше будет что-то другое... Что? Другой вопрос. Надо сказать, что молодёжные антисталинские организации возникали после войны по всей стране. Об одной из них написал поэт Анатолий Жигулин в повести «Чёрные камни». Самая трагическая история была с московской организацией. Трёх её руководителей во главе с тёзкой и однофамильцем будущего поэта «оттепели», Борисом Слуцким, расстреляли. Но вот что любопытно применительно к челябинской организации. Французская исследовательница этого движения с удивлением обнаружила: в программных документах этой организации минимум революционной, идейной риторики, максимум чёткого, совершенно верного анализа экономической ситуации и совершенно верных предложений, скорее реформистских, чем революционных, как эту ситуацию следует выправлять. Более того, во многом эти предложения были воплощены в жизнь Маленковым в 1953–1954 годах.

Программные документы «Союза идейной коммунистической молодёжи» разрабатывал Юра Динабург. Юному политологу вовсе не обязательно разбираться в бытовых проблемах, разберётся позднее, но если он за десять лет до ... угадывает путь, на который встанет страна, то после этих угадок его хорошо бы в Оксфорд отправить подучиться, а его отправляют в Дубровлаг. Нельзя сказать, что он там не подучился, но образование его получилось хаотичным, вспышкообразным, скорее ассоциативным, чем строго систематичным. Собственно, и речь его была такой же вспышкообразной. Повторюсь, при всей быстроте его речи у слушающего возникало физическое, едва ли не зримое ощущение: слово в его речи отстоит от другого слова на уважительном расстоянии. Эту особенность многоточиями можно передать только приблизительно: «На допросе ... я стал ... объяснять ... что на мою концепцию ... оказали ... огромное влияние ... книги ... Анатоля

Франса «Восстание ангелов» и «Боги жаждут». (Кстати, Никита, я проверял. С 1946 по 1956 годы эти книги в Советском Союзе не переиздавались), – (позвольте теперь мне обойтись без много-точий), – стал объяснять, в чём сходство моей концепции с концепцией Франса и где различия. Сейчас это не важно. И так далее (единственное словосочетание-паразит в речи Динабурга). Мне протянули протокол допроса. Там чушь какая-то. Стенографистка – дура, ничего не поняла. Написала какую-то безграмотную отсебятину. Я говорю: я это не подпишу. Не мои слова. Я буду говорить медленнее, пусть записывает. Говорил медленнее, почти диктовал, снова – чушь. Я говорю: «Не могу с этой вашей дурой работать. Давайте я лучше сам напишу». Мне говорят: «Пожалуйста, пишите!» Вообще, были на редкость вежливы...» Ещё бы нет! Они стараются, липовые дела выдумывают, чтобы на погоны новые звёздочки прикрепить, а тут и стараться не надо! Организация, манифест, программа, сейчас сам концепцию напишет. Молодец какой!

Безумец? Ему 25 лет светит (в лучше случае), а он уточняет свои историософские взгляды. И где? В кабинете следователя. Он же антисоветскую организацию создавал; он что, не понимал, где живёт, с кем имеет дело? Отца у него в 1937 году на его глазах не арестовывали? А раз понимал, то почему он себя так вёл? Давайте приведём пример другого поведения. Вот видный советский философ, крупнейший знаток немецкой классической философии, Игорь Нарский. Он социально и профессионально реализовался по полной. Он был чуть старше Юры Динабурга. И в то время как Юру Динабурга вели на допрос, сам вёл допросы. Он служил в органах НКВД, тогда уже МГБ на территории Польши. Знаток и ценитель Канта, он что, не понимал, что происходит в Восточной Европе? Не понимал, кому и чему он служит? Прекрасно понимал, не хуже, а может быть, лучше Юры Динабурга, но он думал о семье, о жене, детях и благодарных учениках. Он не собирался хвататься рукой за колесо истории. А Юра Динабург схватился. Сказалась марксистская закваска. Он ведь, кроме Анатоля Франса, ещё кое-что читал. В выпускном своём сочинении за 10 класс он при-

вёл огромную цитацию из предисловия Генриха Гейне к «Лютеции». Мне эта цитата тоже очень нравится. Однажды при Динабурге я принялся её декламировать, ибо проза Гейне – проза поэта, ритмизированная, красивая, умная, недаром её так любил Фридрих Ницше. Динабург с лёгкостью подхватил цитату и продолжил: «Я намалевал чёрта на стене. Я сделал ему прекрасную рекламу. Коммунисты, рассеянные одиночками по всему свету, узнали из моих статей, что они существуют на самом деле. Из моих статей рассеянные по всем странам общины коммунистов, к великому своему удивлению, узнали, что они вовсе не маленькая, слабая секта, что они самая сильная партия в мире и что спокойное ожидание – не потеря времени для людей, которым принадлежит будущее. Это признание, что будущее принадлежит коммунистам, я делаю с бесконечным страхом и тоской. Только с отвращением и ужасом думаю я о времени, когда эти мрачные фанатики достигнут власти. И всё же два голоса в моей груди говорят в пользу коммунизма. И первый из этих голосов – голос логики. Ибо если не опровергнуть посылку, что «все люди имеют право есть», то я вынужден подчиниться и всем выводам из неё. И второй из этих голосов – голос ненависти, возбуждаемой во мне партией, страшнейшим противником которой является коммунизм. Я говорю о партии националистов Германии, этих обломков и потомков тевтономанов. Я всегда боролся с ними, и теперь, когда меч падает из моих рук, меня утешает сознание, что коммунизм, которому они попадутся на дороге, нанесёт им последний удар. И, конечно, не ударом палицы уничтожит их этот гигант, – нет, он просто раздавит их ногой, как давят жабу».

Я был потрясён. Вот тут Динабург мне и сказал, что этой цитатой он закончил своё выпускное сочинение в 10 классе, как раз тогда, когда всю разрабатывал программные документы «Союза идейной коммунистической молодёжи». Надо признать, что марксистская закваска была весьма сильна в нём, уже давно расплевавшегoся и расставшегoся с коммунизмом в любых его формах, да и с любой «идейностью», то есть «идеологичностью». Впрочем, это не кто-нибудь, а Карл Маркс сформулировал: «Идеология – ложное

сознание», так что даже и в этом отношении Юрий Семёнович Динабург был верен марксизму в большей степени, чем современные российские коммунисты, в которых он не без основания видел обломков и потомков даже не славянофилов, но черносотенцев. Помню поразившие меня его рассуждения об отмене крепостного права: «Железные дороги, – сказал он. – Александру II не было дела до всяких там свобод. Ему надо было выиграть ту войну, которую проиграл его отец. А проиграл он её из-за отсутствия железных дорог. Подвоза к Севастополю нормального не было. А что нужно для строительства железных дорог? Свободные рабочие руки. А где их взять в стране, где крестьяне – рабы помещиков? Значит, нужно освободить крестьян...» Любопытно, что нигде больше я не встречал такого сугубо материалистического, марксистского объяснения причин великих реформ. Даже марксистский ортодокс Михаил Покровский так именно в лоб не формулировал. Между тем я бы затруднился обозначить идеологическую составляющую мира Юрия Динабурга. Похоже, её и вовсе не было. Она исчезла после Дубровлага. Слишком уж с разными людьми он там общался. Слишком много истин обрушивалось на его молодую, умную голову.

«В Дубровлаге, – сказал он мне, – мы ждали войны с американцами. Мы знали о войне в Корее и со стопроцентной точностью предполагали, что она не может не привести к крупномасштабному столкновению США и СССР. Такого удара СССР не выдержит. Тогда – свобода. И как-то один украинский националист сказал мне: «А вы-то русские, чему радуетесь? России же не будет...» Я удивился: «Почему это не будет?» Он начертил на песке карту СССР. Все союзные республики отвалятся сразу, а дальше цепь автономий. Вот она – Кавказ, Волга, Урал, Сибирь. Цепная реакция. Они тоже будут отваливаться. И останетесь вы, русские, на комариной плечи размером с княжество Ивана Калиты». Юра Динабург много чего наслушался в Дубровлаге. Там он встретился и подружился с одним из основателей эмигрантского движения евразийцев, с пражским учёным Савицким, из патриотических соображений готовым пойти на союз со Сталиным. Ему это не помогло. Всё равно отравили

в Дубровлаг. Случайно Динабург выяснил, что Савицкий был в Риме. «В Риме? – поразился Юра Динабург, которому так и не удалось побывать за границей. – Вы были в Риме? Вы видели Сикстинскую капеллу и фрески Микеланджело?» – «Да, – отвечал Савицкий, – я видел это вопиющее безобразие, эту бесстыжую порнографию, этот труп великой средневековой европейской культуры я видел...»

Одну вещь из сшибки, из столкновения разных ментальных систем Динабург вынес. Он никогда о ней не говорил. Но было видно, что это прочно забито в нём. Истины не знает и не может знать никто. У каждого есть своя доля истины и своя доля ошибки: и у Савицкого, и у украинского националиста, и у отца Мануила... Истина – у всех и ни у кого. Пойди-ка её поймай.

Хотел ли он после лагеря схватиться за колесо истории? Нет. Его переехало, его хорошо, убедительно переехало. Блок неплохо сформулировал: «Но право, может только хам / Над русской жизнью издеваться». Это как раз к Динабургу, к его жизни, к его социальной нереализованности. Его многие любили и столь же многие ненавидели. И любовь, и ненависть были подлинные, мучительные, ибо совершенно бескорыстные. Ненавидели Динабурга как раз вполне социально реализовавшиеся люди. В Динабурге их дико раздражал вирус асоциальности. Разумеется, можно перевернуть ситуацию и заметить, что в других условиях Динабург вполне бы реализовался. Был бы эксцентричным профессором политологии, социологии, может, филологии. Но история вообще, история жизни, в частности, не знает сослагательного наклонения. Он остался тем, кем остался. От него остались обломки и осколки, которые и вспоминаются. Например, его рассказ о том, как его бабушка, тогда питерская гимназистка, шла домой по Екатерининскому каналу – вдруг грохот, люди бегут, кто-то кричит: «Царя убили!» Пришла домой и вместо хрестоматийного: «Из латыни – пять, из математики – пять!», с порога: «Царя убили!» Взрослые руками машут, ну, что ты глупости болтаешь! А оказалось, правда, убили... Все рассказы Динабурга были пронизаны таким вот странноватым, жутковатым юмором.

Он был весел – вот что в нём поражало; вот что к нему привлекало и что от него отталкивало. Я очень любил его устный рассказ о возвращении отца с Украины, оправляющейся от последствий «великого перелома». Четырёхлетний Юра только что научился читать и уже одолел «Робинзона Крузо». Он обратил внимание на то, что самое интересное начинается в книге тогда, когда Робинзон обнаруживает след голой человеческой ступни на песке своего острова и понимает: «Людоеды!» Итак, отец вернулся в Челябинск из командировки. Юру отправили спать, а отец остался поговорить с матерью. Юра ловко проник в родительскую комнату и спрятался под стол. Отец что-то тихо рассказывал матери, а потом чуть повысил голос, и Юра услышал: «Появились людоеды...» С криком: «Ура! Людоеды идут!» – он выскочил из-под стола к ужасу папы и мамы. Через четыре года его отца арестовали. Через 12 лет он был и сам арестован.

Я сознательно себя ограничиваю. Не лезу в интернет, не читаю его воспоминаний, выволакиваю только то, что осталось в моей памяти. То, что чиркнуло моментально, быстро, но оставило след. Как-то мы говорили с ним о прозе Мандельштама, о «Египетской марке». «Джойс, – сказал Юрий Семёнович, – это – русский Джойс». Я подумал и с некоторой запинкой, пожалуй, что ... согласился. Типологическое сходство имеется. Юрий Семёнович заговорил снова. Нет, нет, сходство вовсе не типологическое. «Египетская марка» – первый сознательный отклик на «Улисса» Джойса в русской литературе. Злоключения Парнока с его визиткой, попытки спасти бедолагу-карманника от утопления в Фонтанке впрямую переключаются с путешествием Леопольда Блума по Дублину 16 июня 1904 года. Что же до Стивена Дедала, то здесь он вынесен за рамки повествования и в то же время он в этих рамках обретается – это автор «Египетской марки», тот самый, что восклицает: «Господи, не дай мне стать похожим на Парнока!» Я возразил: «Откуда было знать Мандельштаму об «Улиссе» Джойса?» Динабург махнул рукой, отсекая возражения: «Знал, знал, не мог не знать. Общался со Стеничем, переводчиком «Улисса», железный занавес никогда

не был таким уж непроницаемым, а в двадцатые годы дырок в нём было побольше».

С Динабургом было интересно. Он интонировал, с лёгкостью подхватывал чужую мысль, чужое наблюдение, если они казались ему достойными перехвата. Как раз тогда, когда он рассказал мне о Гамлете-подростке, я заметил, что мне-то всегда был интересен комизм Гамлета. Это же... комическая роль. Все твердят «печальный принц, юноша в чёрном», а он всю пьесу острит, язвит, издевается. Единственный человек, с кем он говорит вполне свободно, с удовольствием, – шут-могильщик: «И на какой же почве принц сошёл с ума?» – «Известно, на какой, на нашей, на датской...» В этом смысле Гамлет изумительно похож на Швейка. «На Швейка?» – переспросил Динабург. Ну, да, на Швейка. Ведь главный вопрос, который возникает у читателя «Похождений храброго солдата...», – такой же, какой возникает у читателя и зрителя трагедии датского принца. Швейк, он и в самом деле идиот? Или он прикидывается? Или он до того доприкидывается, что и впрямь делается идиотом? Разве это не тот же вопрос, что возникает в случае с Гамлетом? А насколько сыграно, разыграно безумие юноши в чёрном? Ведь поставил же Михаил Чехов пьесу, в которой Гамлет был безумцем, в бреду прозревающим истину об убийстве своего отца? Может, Гамлет, как и Швейк, просто выгрывается в своё безумие? Динабург кивнул: «Тонкое замечание. Именно выгрывается. Знаете, в какой-то момент я понял, что здесь так не прожить. Нужна маска, роль. Роль безумца самая подходящая» – «Гамлето-швейковская?» – «Именно. Мне эта роль очень понравилась. А потом я испугался, потому что понял, что вырываюсь. Очень опасно, очень».

Это был важный разговор. После него я понял, что самыми близкими героями для Юрия Семёновича Динабурга были Швейк и Гамлет. Потому и рассказы его были такими странно-весёлыми. Это были рассказы гамлето-швейковского пошиба. Конечно, он моделировал себя. Выстраивал роль, как Гамлет, как Швейк. Ему не нравился взгляд на себя со стороны, потому что он сам привык смотреть на себя со стороны. Один раз я стал причиной его раздражения, даже ярости. Была у меня одна теорийка. Да она и сейчас у меня осталась.

Взрыв ярости Юрия Семёновича меня не убедил, скорее напротив... Теория эта касается самоубийства Фадеева. Одной из его причин. Повторюсь, количество подпольных, марксистских молодёжных антисталинских организаций после войны было весьма велико. Ребят хватало, лепили им срока, в Москве расстреляли. Вопрос: что могло подтолкнуть ребят к такой аванюре? Ответ: «Молодая гвардия» Александра Фадеева – гимн молодёжи, сунувшейся к чёрту в зубы, погибшей, но ведь победившей же, победившей! Мощная провокация: вперёд, молодая гвардия, по стопам Ульяны Громовой и Олега Кошевого. Вот этого стыда Фадееву было не осилить. Возвращающиеся из ссылки и лагерей писатели – это бы ладно. Он мог и сам туда загреметь. Но поломанные судьбы подростков и юношей, соблазнённых художественной риторикой, вот этот стыд, эта боль посильнее будут...

Динабург, когда услышал эти мои рассуждения, пришёл в настоящую ярость: «Что? «Молодая гвардия»? Да мы отродясь эту гадость пропагандистскую в руки не брали. Читать? Вдохновляться? Мы Маркса читали, Гейне, Анатоля Франса. Джованьоли «Спартак» нам казался слишком пропагандистским, слишком примитивным. Читать откровенную пропаганду? Да за кого Вы нас принимаете?» Я не удержался и почти съязвил: «За идейную коммунистическую молодёжь образца 1945 года». Динабург помолчал и принялся рассказывать об одном из руководителей их союза – о Гении Бондареве. Собственно, организация и состояла только из трёх руководителей: Юра Ченчик, сын директора высоковольтной сети Челябинско-энерго; Гений Бондарев, сын уполномоченного министерства госконтроля по Южно-Уральской ж.д., и Юра Динабург, сын казнённого начальника проектного отдела ферросплавного завода, завкафедрой теоретической механики ЧИМЭСХа. Это была провинция. Нравы там были несколько иные, чем в пуганых столицах. Никто не отвернулся от вдовы и сына Симона Динабурга. Юра был вхож в дома элиты. Учился в хорошей школе. Сидел за одной партией с красивой девочкой, дочкой следователя, который потом вёл дело «Союза идейной...». Так вот, Гений Бондарев. В 1944 году он пошёл поступать в офицерское училище. Его не приня-

ли. Слишком физически истощён. Порядочные люди есть и были везде. В том числе и среди членов обкома. Отец Геня Бондарева и сам не жировал, и сын его не жировал. «После Хиросимы и Нагасаки, – рассказывал Юрий Динабург, – мы было уже собрались распускать нашу организацию. Наша программа – развитие группы «Б» в промышленности за счёт группы «А» – входила в явное противоречие с необходимостью наращивать оборонный потенциал после появления атомной бомбы. Но после дискуссий мы всё же решили продолжить борьбу. Мы не могли не видеть катастрофическое положение страны». Вопрос с «Молодой гвардией» остался открытым.

Я не слишком хорошо разобрался с послелагерной жизнью Динабурга. Из юноши, пытавшегося схватиться за колесо истории, он превратился (превратил себя) в принципиального, идейного маргинала. Может быть, он воочию увидел результаты поворота этого колеса? Поломаные человеческие судьбы и жизни... Не получится – тебе переломают хребет. Получится – ты переломаешь хребты другим. Лучше постоять в сторонке, подумать, понаблюдать.

Он был жаден до доставшейся ему после лагеря жизни. Разбрасывался. Если и попадались в его устных новеллах истории не гротескные, эксцентричные, а скорее печальные, лирические, то в них-то как раз чудом каким-то просвечивала та самая жажда жизни. Но для начала – новелла, смешная. Эксцентричная. После лагеря он вернулся в Челябинск. Мать повела его в городскую баню. Он был худущий, маленький, в очках с огромными линзами. Очки он снял, взял шайку и, запутавшись, сбившись, вошёл в женское отделение. Сначала сослепу ничего не понял, ничего не увидел, а когда рассмотрел, куда попал, то удивился не скоплению распаренных голых женских тел, а реакции женщин. Ни взвизгов, ни смеха. Сочувственное внимание. Вошёл худущий заморыш. Кожа да кости и бритая голова. Челябинские бабы сразу поняли, с каких курортов прибывают такие... nudисты. Спокойно объяснили ему его ошибку.

А вот теперь лирическая новелла. Встреча с женщиной. Здесь,

в Питере. Целый день проговорили. И ночь проговорили. Вы не ошиблись. Про-го-во-ри-ли. Женщины, как известно, любят ушами. Циник Шоу очень верно заметил, что вот то самое (о чём вы сейчас подумали) часто происходит ещё и потому, что ему и ей просто не о чем разговаривать, оставшись наедине. Но делать-то что-то надо? Вот тогда и происходит «то самое». Чаще всего «тем самым» всё и кончается. «Трахнулись и разбежались» – так это, кажется, теперь называется. А Динабург с той женщиной не разбежались. Поутру поехали к ней на дачу. Она заснула в электричке у него на плече. А он, чтобы солнце не било ей в глаза, держал над её лицом ладонь. И вот эта ладонь, по которой скользят тень и свет, ладонь над лицом любимой – в ней было столько жизни и жажды жизни.

Он зацепился в Питере благодаря фиктивному браку, ставшему браком настоящим, сменил довольно много работ и жён, общался с ребятами из андерграунда, дружил с поэтом Кривулиным, философом Гройсом; последняя его работа перед крохотной пенсией была экскурсовод в Петропавловке. Экскурсанты ходили за ним табунами, раскрыв рты и уши. Один раз его увидел Ролан Быков, снимавший в Петропавловке гоголевский «Нос», и предложил поучаствовать в съёмках. «В качестве кого?» – поинтересовался Динабург. Ролан Антонович охотно объяснил: «В качестве трупа. У Вас такое выразительное лицо. Вам ничего не надо будет делать. Будете лежать в гробу в сцене погребения, а мы Вас будем снимать». Динабург засмеялся: «Н-е-е-ет, в роли трупа я даже в Вашем фильме не захочу сниматься».

Жизнь удивительно располагала его в пространстве. Кому же ещё и рассказывать о царской политической тюрьме, как не тому, кто 10 лет провёл в советской? В Питере в последние годы жизни он жил в бывшем Доме политкаторжан. Этот дом специально построили для революционеров, прошедших через царскую каторгу. В 1937 году их всех повыдёргивали в Большой Дом. Динабург случайно оказался в этом доме. Но случайность – логика фортуны. Кому же ещё, как не бывшему политкаторжанину, жить в Доме политкаторжан? Был ли он слаб? Был ли он сломан? Всё не те, не те вопросы. Тем более, что на них есть неприятный ответ. Если он

и оказался сломлен, то это не его вина, а беда того общества, где бывший политкаторжанин выгравается в роль Швейка, чтобы не загребли по второму разу.

Его любили женщины. Безбытного, нищего, эксцентричного, его очень любили женщины. Это – лакмусовая бумажка. Женщины так просто не любят. Что-то они чувствуют настоящее, если любят. Последняя его жена Лена вышла за него замуж, когда ей было 18 лет. Они были женаты тридцать лет и три года, и разница в возрасте между ними была такая же. Она приехала в Ленинград из уральского города Серова на речке Какве. (В этот город был эвакуирован театр Ленком во время войны. Там ленкомовцы сыграли «Сирано де Бержерака» Эдмона Ростана. Моментально родилась эпиграмма: «В Серове на Какве был дан «Сирано», серовцы сказали, что это ...»). Лена приехала поступать в университет. И не поступила, даже не поступала, потому что познакомилась в Петропавловской крепости на экскурсии с Юрием Семеновичем. Она стала его женой. В последние годы его жизни стала его глазами. Он почти ослеп, мог различать только яркие цвета и резкие контуры. Лена читала ему вслух Канта, Достоевского; всё, что он просил.

Динабург чиркнул спичкой по Питеру, оставил в нём след, странный, прихотливый, эксцентричный, как он сам, как его речь, быстрая, умная и странно запиночная. Теперь таких нет. И больше не будет. Почву России хорошо пропахали, чтобы никогда, никогда здесь не появлялись странные чудачки, быстрые и лёгкие, способные всю ночь проговорить с женщиной о Гамлете и Шекспире, а наутро в электричке держать над её лицом ладонь, чтобы свет солнца не бил ей в глаза.

Павел Елохин

Трава идей

Когда я думаю о Юрии Динабурге, передо мной возникает искажённый, неправильный, и оттого ещё более любимый образ давно покинутого города, где я родился, в который никогда больше не смогу вернуться: образ Челябинска конца пятидесятых и начала шестидесятых.

Юрий Динабург – одно из сооружений этого образа-города. Человек, пришедший ночью в гости к моим родителям с котом за пазухой. Часть мира детства, канувшего в чёрную воду прошедшего времени.

Очнувшись от тягостного кошмара начала пятидесятых, люди зашевелились вольнее, заулыбались, появились какие-то надежды непонятно на что. И Юрий Динабург оказался в редакции научно-технического журнала в недрах придуманного Хрущёвым совнархоза.

Думаю, это челябинское время, пока что-то брезжило впереди, а надежды ещё не успели выйти гноем полных безнадёги политических анекдотов, было не самым плохим в жизни Юрия Динабурга.

Много, много позже я узнал его тексты. Бесчисленные мысли растут на его страницах, как трава, – всюду. Но мы привыкли, вернее, прижились к чуду травы, каждой травинки, и всё чаще, и всё больших из нас интересует условная ценность единичек, и чем длиннее очередь бредущих за ней нулей, тем кажется лучше.

Он не оформил свои мысли в некий капитальный труд, наподобие «Феноменологии духа», да, может, оно и лучше. Рядом с ним, как и рядом с Сократом, часто оказывались собеседники, и, кто знает, вдруг и есть среди них такой Платон, который соберёт, тщательно откомментирует, по сути, выстроит заново тексты, и я верю, что ему непременно удастся сохранить своеобразную интонацию Динабурга: как всё настоящее, она неистребима.

Юрий Динабург сформировался в бесконечных разговорах с интереснейшими людьми, которых власть бестрепетно и механически отбрасывала на широкий дуршлаг своих тюрем. И поэтому излюбленная им форма изложения – беседа с внимательным и умным визави, до сих пор, наверное, самый живой способ изложения мыслей любого направления и степени сложности.

А мыслит Юрий Динабург в своих текстах непрерывно, и неважно, что вы не согласитесь с какими-то из его утверждений, а некоторые его построения покажутся вам возмутительными, шокирующими, даже хулиганскими. Так и должно быть с травой, без спроса выпирающей из каждого клочка пространства. Мысли Юрия Динабурга существуют, как бы вы к ним ни отнеслись, они, как всякое живое существо, не насилуют восприятие, а просто живут, нравится это кому-то или нет.

Вот есть у людей дурная привычка: читать только имена авторов. Скажешь «Толстой» или «Ибсен» – и тут же готов исчерпывающий образ всего, на что отважился именуемый автор, и неважно, жив ли он пока и надеется написать что-нибудь ещё, возможно, совсем не похожее на то, что писал раньше, или умер, но оставил такое разнообразие, которое трудно целиком уместить под короткую вывеску имени. Вот как, например, Иннокентий Анненский. И как Юрий Динабург.

А хорошо бы в длинный дождливый вечерок засесть с томиком Динабурга: то-то случится путешествие, авантюрно-внезапное, с поворотами в каждой фразе, и мир перед читающим откроется неожиданный, незнакомый, и слезавшиеся пласты восприятия

разойдутся на составные части, и заново сложит из них Юрий Динабург свои сочетания мыслей, эмоций и чувств.

Они существуют, как арка того дома, где я, маленький, однажды ночью, проснувшись, увидел гостя с котом, они живы, как лепестки странных больших ромашек, которые раскачивались в палисадниках нашего двора, пахнувшие солнцем, а его я видел так редко, что помню об этом и сейчас, и оттого любовь к солнцу и фиолетовым ромам с жёлтенькой серединкой была и осталась такой же вещной и отчётливой, как мысли Юрия Динабурга, рассыпанные по его листам.

Лев Бондаревский

О наших «Разговорах»

Речь о серии публикаций на сайте библиотеки Максима Мошкова (Журнал Самиздат. Динабург Юрий Семёнович. Поэзия, воспоминания. http://samlib.ru/d/dinaburg_j_s/) под общим названием «Разговоры», всего их было 40.

Но прежде о моей переписке с Юрием, которая началась с его отъездом из Челябинска и продолжалась до середины 80-х годов. Вновь мы стали переписываться уже по электронной почте, в новом веке.

А до этого я получал еженедельно, а то и чаще, истёртые по бокам пухлые конверты с рукописным письмом и с напечатанными на папиросной бумаге самиздатовскими текстами, стихами, выписками из книг и копиями переписки с другими его адресатами.

О чём я писал Юрию? Конечно, посылал ему свои стихи, которые он до 80-х годов хвалил, потом как-то охладел к моей «метеорологической лирике».

Благодаря присылкам Юрия я познакомился – стихами – с Иосифом Бродским, Геннадием Алексеевым, Еленой Шварц, Еленой Игнатовой, Сергеем Стратановским и другими ленинградскими поэтами. В основном я и писал ему на темы поэзии, что раздражало его – он хотел информации о культурной жизни Челябинска, но я тогда уже погрузился в семейные заботы, учился, работал и в культурной тусовке не появлялся. К тому же с отъездом Юрия кружок его почитателей разбежался. Люся Динабург оставалась

связующей ниткой с ним, у неё ещё собирались иногда старые знакомые.

Когда в мае 1999 года я оказался в Израиле, в один из дней рождения Юры (5 января) я ему позвонил, и узнал, что он подключился к интернету, тут у нас началась электронная переписка. Я давно намекал ему, и довольно навязчиво, что надо писать мемуары. Не знаю, это ли сработало, но он стал пересылать мне главы воспоминаний. Мы обсуждали их композицию, и в результате большой корпус текстов оказался на странице Юрия в «народе.ру» (<http://le-bo.narod.ru/indexdinaburg2.html>).

Тогда же он сообщил, что написал большое количество стихов. Когда он мне прислал их для ознакомления, пошла наша совместная работа для публикации их в сети. Неоценимую роль в этой работе сыграла Елена Динабург, не только переписчик его рукописей в цифру, но и в большой мере соавтор и редактор публикаций.

Переписка наша продолжалась не только по поводу этих публикаций. Юрий писал о разных вещах, я иногда ввязывался в споры, из-за чего называвший меня Вергилием (как проводника по кругам его воспоминаний), он стал именовать меня Извергилием. Эти письма и споры и составили серию «Разговоров». До последних дней Юрий был интеллектуально светлым, острым в мыслях и словах.

Здесь предлагается первый из «Разговоров» (июнь 2008 г.).

Юрий Динабург. Разговоры

Дорогой Лев! У меня накопилось уже большое количество разных мысленных диалогов с тобой. В общем мысленный диалог предполагает общение двух лиц, одно из которых играет роль по меньшей мере артефакта или симулякра, то есть провокатора на продолжение диалога. Я бы очень хотел, чтобы наш с тобой диалог был сверхмыслимый, то есть предполагающий взаимопонимание

обоих участников без оглядок на непонятливость третьих и четвертых лиц.

Ты, наверно, ему (*речь о чьей-то газетной статье о Гоголе – прим. ред.*) заказал сочинить пародию на советскую литературную критику, а я от чтения только самого начала завял и приуныл. В его пародии о «Мертвых душах» упущена прежде всего догма о бессмертии всякой души. По гегелевской диалектике все противоречиво и мертвые души тоже в точном смысле живы, а живые в полной мере мертвы. Так оно происходит – раздвоение единого и познание его в единстве противоположностей всяческих атрибутов – это было мукой моей юности чтение всего этого в гегелевской «Науке логики».

А у Гоголя речь не о смерти и бессмертии, а только о временных разлуках тела и души. Если, мол, душа мертва, то тело живо, а потом наоборот; и можно то и другое отправлять на оброк. Не ясно только остается, чем Чичикову кормить своих мертвых, расселив их по бумагам. А другу своему, если это реальная фигура, скажи, что русский мужик-вжик-вжик от своего статуса крепостного лица никуда не уйдет – даже в рай небесный, а так и пребудет на земле как в Чистилище, о котором Гоголь ничего толком не знал и потому все изобразил в Российской империи, а не в пургатории Данте, от чего все приобрело бóльшую занимательность, чем у Данте.

Когда это я сообщал тебе о, так сказать, «проекте» «Кора и декор»? Действительно, было у нас такое экспериментирование, действительно, почему-то прервавшееся, в котором фактура моего демисезонного пальто обыгрывалась мотивами древесной коры и тех самых узоров чугунных, которые полюбились когда-то и Пушкину, а между ними гулял и я.

Как там у Лермонтова? «И смерть пришла: наступило за гробом свиданье... / Но в мире новом друг друга они не узнали». Я тебя очень не узнал в новом тысячелетии сначала, видимо, мой отъезд из Челябинска, действительно, имел пагубные для города

последствия. Говорю, получив от тебя разрешение на взаимное раздражение.

Я от души поздравляю тебя с тем, что ты обратил внимание на мои соображения на близко и далеко фокусные акты внимания и метонимические либо метафорические усилия воли в наших предикативных формах речи. Более 40 лет тому назад эти мысли сохранились в набросках моей диссертации, но в те времена казалось непреложным, что мы под видом суждений истинных должны оперировать исключительно равенствами, как в таблицах умножения или логарифмов. Между тем движение мысли должно было улавливать прохождение ее через нули, как резюмировал это мой ученик: понятие мгновенной скорости непременно оксюморонно. Мгновенная скорость – это оксюморон даже у Галилея или Ньютона, отождествляется состояние равномерного прямолинейного движения и покоя; как выразился Фауст, «когда воскликну я: «Мгновенье, прекрасно ты! Остановись, стой!» – Тогда готовь мне цепь пленения» – что можно было видеть мне и на Урале. Если не топтание в покое, то вращение вокруг собственной оси.

Ты сам мне напоминаешь бодливость азиатов, как выразался мой отец, в нашей полифемской волости, где никак не отличали клопов от циклопов.

Если ты хочешь посмотреть на меня снисходительно, то я протягиваю тебе ладонь, как мне кажется, пустую, как со мной бывает днем, когда с работы возвращается Лена. Слегка сотрясается конструкция переборки простенков и я прошу со вздохом: «Ох, переведи меня через Майдан». И мы совершаем прогулку недолгую мимо сплошных исторических памятников, которых я уже не вижу и вспоминаю о них через Лермонтова: как бы

*Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснились кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня – но спал я мертвым сном.
И снился мне сияющий огнями*

*Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жён, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.
Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна...*
и т.д. и т.д.

Короче, что я уже прошел свое обнуление и каждый может мне врать всякую чепуху. И мне хочется вернуться на старинный русский язык и проскакать малость, матерясь и чертыхаясь, вместо того, чтобы оперировать англицизмами и бюрократизмами, а то я уж не знаю, что у вас там за речевки такие развелись по поводу моего якобы стороннего наблюдения над русской историей XX века. Как это я наблюдал что-то со стороны? Когда я жил всю жизнь, погружаясь в эту грязь 60 лет до выворачивания всенародной портянки наизнанку, якобы не видя, что так называемая советская интеллигенция – придурня, не хочет трудиться, а хочет только руководить, то есть жестикулировать.

Что вопиет сейчас народ? Что у него очень много врагов нажито, а ведь «враг народа» было словечком эсеровским 100 лет тому назад. Но пришел Ильич и растабуировал весь народ зараз и слово «враг» стало применимо к кому угодно, как слово «брак». Правда, еще Каин показал, что человек человеку и брат и враг, а не только друг. Это было в его время очень даже «вдруг» и не о каждом говорилось, как-то различались ближние, дальние...

Ты меня сделал против моей природы политиканом, вовлекая в разговоры об уральских впечатлениях, в которых нет никакого юмора. Трудно с человечеством все-таки, оно невыносимо разнообразным стало благодаря приумножению своему. И вот идет расцвет педофилии и просто зверства в нашем Змее Горыныче, чудище облом, озорном и прочее и прочее. Конечно, еще со Стеньки Разина дело начиналось, и не в Стеньке вина, он назавтра всегда готов был покаяться и повиниться, а в народном вкусе, который знает, кого воспевать: «Из-за острова на стрежень...» прямо в воду покидать. Такие вкусы разве что где-нибудь в Африке доминируют. Такие

вот у него анаморфизмы при разнообразии мужского и женского, короткофокусного и дальнефокусного сознания, которое легко в речи выражается метонимией и метафорией. Замученный арифметикой первых классов, человек начинает верить у нас в абсолютные истины как разновидность выражения равенства: дважды два равно четырем, и в прочие таблицы умножения и размножения, логарифмов и прочего.

Между тем собственно мышление подразумевает выражение метонимии и метафоры как волевых актов. Не утверждение тождеств «розы-морозы» или «где любовь, там и кровь», а как раз выражение чего-то более предикативного и футурологичного, вроде «это очень хорошо, что пока нам плохо» или «то, что было хорошо, скоро будет плохо».

Насчет своего понимания новейших литературоедов – у них-то и понимать нечего, как и у Мамардашвили. Не заметно, чтобы он ходил кругом да около, как тебе показалось, он всегда говорит о чем попало – не оборачиваясь на то, с чего начал, в сказуемом забывая, что было в подлежащем. Может быть это заложено в глубинных структурах грузинского языка, кто его знает? Яфетический, говорят, язык по своей укорененности. В конце большого текста Ильина ты найдешь изложение идей Лиотара, непосредственно касающееся твоего интеллектуального «загиба». Мне, например, все время кажется, что ты все время ловчишь обойтись без собственно литературы, заменяя ее мета-металитературой. Лиотар заметил, что это мода последних десятилетий во всем мире. Любой московский телезритель дошел даже до замены чтения телезрением: что ему показывают, то он и глотает наскоро под девизом «People все схавает».

Такую цитату (в конце письма) из Ильина я предлагаю тебе в эпиграф предполагаемого на ближайшее будущее эссе «О философии и поэтах». Дело не в одном Хайдеггере, а в сути философствования и непереводаемости поэтической речи. Может быть, для того и пишут некоторые вещи стихами, чтобы было иным людям наказание имманентное за их нелюбовь к иноязычию.

Во время войны нас учили немецкому, чтобы круче фрицев ненавидеть, и это было понятно. Но в некоторых случаях их есть даже за что любить, как Хайдеггера, автора книги «Holzwege» – коротко и ясно и совсем непеременно, хотя и понятно по-русски, но многосложно как в песне «Я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят как половицы», а по-немецки в два слога, означающее точнее «Поленчатые (Коленчатые?) лестницы», «Древесные ступеньки» или «Лесные без асфальта тротуары». Книга, декларирующая любовь к культурной архаике, как у меня в строке, подаренной Кривулину: «Пью вино архаизмов – под солнцем горевшим когда-то...».

А Хайдеггер переживает, то есть обитает за пределами здешней жизни в своих текстовых обитаниях, за пределами французских реминисценций о нем. Я же, читая Ильина, думаю только: когда же это кончится, такое перемирование французских текстов, навеки невразумительных в своем фортепианном французском звоне? Только по-французски можно так брэнчать, не допуская скрипов и скрежетов (скажем, британской или итальянской) речи – одно удовольствие! Только в многоязычном разнозвучии можно, не исчерпав абсолютной истины, полупознать ее философски, по-русски плюя в бороду тому, кто берется объять ее, необъятную.

Итак, цитата из Ильина (П.И. Ильин, Постструктурализм – прим. ред):

Особую роль в «сказывании» играет поэтический язык художественного произведения, восстанавливающий своими намекающими ассоциациями «подлинный» смысл слова. Поэтому Хайдеггер прибегает к технике «намека», т. е. к помощи не логически обоснованной аргументации, а литературных, художественных средств, восходящих к платоновским диалогам и диалогам восточной дидактики, как они применяются в индуизме, буддизме и прежде всего в чаньских текстах, где раскрытие смысла понятия идет (например, в дзэновских диалогах-коанах) поэтически-ассоциативным путем.

Не взыщи за то, что несколько дней я медлил с ответом. Ты накормил меня челябинской милицейской риторикой по поводу снежновинцев, а риторика покаяния за испорченные ихние жизни все равно сбивается на пафос полицейского разбирательства участников на тему: безупречны ли были эти пацаны в своей любви к советской России? А никогда ничего безупречного в ней не бывало, кстати сказать, даже для тех, кто в ней разверз еённые ложесна, как обидчиво отмечал Смердяков. Такой уж церковно-бытовой жаргон у нас со времен Салтыкова-Щедрина и Островского.

Вот я, наемшись этой стилистики, отплевывался несколько дней и чихал, так что на стене мой портрет (практически мне мной невидимый) весь перекосялся и обвис от сочувствия. А портрету этому уже тоже 40 лет и он такой сочувственный. Когда мне удавалось заснуть, мне снилась ваша Челяба, распинающая своих потомков. А проснувшись, я вспоминал здание ЧГПИ, у меня на моих детских глазах построенное с великолепнейшей в Челябине колоннадой, какой не удостоился позднее даже Политехнический институт. Истинный храм ликбезу! Не было в Челябинске лучшего виду, чем от левого угла этого здания и в сторону Алого Поля и Первой образцовой школы. И вот на этом Поле (сообщаешь ты) произошло посмертное чествование пацанов-снежновинцев – это да! По силе моего знакомства и даже причастности к ним могу сказать, что из них двое назывались Освальдами, и когда познакомились, то очень удивились, что нашлось у них два отца, увлекавшиеся «Закатом Европы», соответственно О. Шпенглером. А между тем я им в этом позавидовал, что не назвали меня в честь этого публициста. Кроме двух О., литературно одарен был еще Левицкий. /.../

Спасибо нашему товарищу Сталину и службам безопасности за хлеб и воду, и за свободу, более того – спасибо нашему советскому народу, на глазах у которого хоть сейчас можно насиловать деток и даже пожирать сырыми. А чего ждать, начиная с расстрела царских дочек, кому они нужны были, кстати? Только пытливому духу народа. Тяга земная, как говорил кто-то из наших классиков вроде

Успенского, земное тяготение, с нее я хотел бы начать свое веселое предисловие к истории нашей классики.

Первые большие русские поэты четко обозначились втроем в петровские годы, это А. Кантемир, послом в Париже писавший в стиле Буало: «Уме незрелый, плод недолгой науки! Покойся, не побуждай к перу мои руки». Также в Париже начал формировать классическую нашу ритмику (хорей) Василий Тредьяковский, писавший потом: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайяй», вспоминая свой страх перед перспективой возвращаться в отечество. И, наконец, Ломоносов, который и повернул нас к отличию ямба от хорей в Оде «На взятие Хотина». И этот тоже обретался тогда на Западе.

С тех пор русский мужик не был склонен сыновей баловать наукой, чтобы из остолопа не вырос Ломонос, поскольку против лома нет приема – и родного отца, небось, зашибет.

Настала, было, большая пауза после Ломоносова до Пушкина, и чтобы Пушкин стал тем, чем он стал, понадобилось достроить Царское Село Камероной галереей и поместить туда на все школьные годы пачку смысленных мальчиков, а не снежновинцев, побывавших на войне и не успевших еще дозреть. Ведь Царское Село было тогда именно тем зарубежным Парадизом, которого на Западе нельзя было тогда найти, разве что в Англии тогда же росли Байрона, да и то всего только Байрона, а Гете уже был стар.

Да, чтобы не забыть: к 200-летию рождения Пушкина была издана одна книжка, так и озаглавленная: «Как Пушкин сделался гением?», кажется, там рассуждалось о хитрости и ловкости Пушкина и его спонсоров зачем-то. Потому что сначала он сочинял простые пошлые вирши на темы: «Так и мне узнать случилось, / Что за птица Купидон». А рядом серьезные темы развивали переводчики Байрона. А что Пушкин? Он пишет чуть не пародии на Карамзина: «Не скоро ели предки наши...» – и дальше героическая поэма, в которой псевдорусский Руслан, упившийся на свадебном пиру, из брачной опочивальни в форточку выпускает свою новобрачную по зовам

колдуна – улетает Людмила как птичка в форточку, и начинаются шалости и фокусы в духе Ариосто. Так что даже современные властители дум превозносят у Пушкина превыше всего его первую поэму.

Приношу серьезные извинения в том, что не отвечал несколько дней кряду. Основная причина – в твоём тексте о Евреинове. Ты возвратил меня к давним намерениям собрать как можно больше информации о нём, о Николае Николаевиче.

Журнальные же тексты пишутся очень плохо у нас, все пытаются выдать в советских обобщениях, привычных для журналистов. Как и в случае с французским как бы литературоведением от Ролана Барта и до Кристевой, становится все антиязычно. В русском языке очень существенна интуиция категории одушевленности, исключаящей всяческие гипостазии немецкого философского жаргона, на котором разглагольствуют если не боги и вещи, то местоименные, местоязыковые сущности. Как со смехом отмечали это позитивисты Карнап и другие. Со времен Гегеля «ничто ничтожит себя ничтожески», а бытие отождествляет себя с бытием на первой странице науки Логики.

На досуге продолжу текст о Сайгоне и красной собаке Джеки. Я был приживальщиком при ней в квартире мне неизвестных людей, знавших обо мне невесть от кого. Старшие из этого дома уехали куда-то далеко отдохнуть, оставив со мной двух дочек-школьниц с мутноватыми глазами, брюнеток, мне совершенно неинтересных. Так что дома ничего занятного не произошло. С собакой мы уходили на весь день. Собака меня восхищала своим послушанием. Мы приходили к больному профессору Гуковскому, который пытался Джеки угощать деликатесами птичьими, но она его восхищала охотничьим воспитанием – она отказывалась от всякой дичи.

Рассуждать о юморе – это больше по твоей компетенции, чем по моей; тем боле я удивился, что не встретил у тебя ни одного упоминания об Аристофане, который мне кажется самым веселым человеком во всей истории человечества. Юмор, по-мое-

му, это чистая веселость, ты же его определяешь, кажется, благополучием и благодушием сытых людей. Тем ты, кажется, отгораживаешь юмор от попсовых субкультур. Я же считаю, что русский менталитет складывался полтысячи лет тому назад на почве матерной субкультуры нашего юродства, заквашенной на сексопатической фобии мужика, дошедшего до полной утраты всякого либидо или до лени поддерживать свой статус мужицкого мачо. Итак, отказываясь от осужденной тобой затеи ранжировать великих юмористов, кажется, ты так сказал что-то о классиках и гениях, я вспоминаю, что в скандинавской мифологии был некий юморист по имени Локки, интриган и провокатор. А потом был молодой Шекспир, а потом был в самом деле Лоренс Стерн и нидерландские живописцы.

«Загон» Лескова я прочел с огромным удовольствием и обещаю как-нибудь дополнить этот текст своими воспоминаниями, как я в Потье полгода числился инженером по производству сажи, пока чуть не погорел. Но это все интересно в подробном изложении со множеством анекдотических нюансов, то есть при условии, что ты дополнишь вторую главу моих мемуаров серией моих вставок. Я составлял эту главу очень второпях в самом конце прошлого тысячелетия.

Григорий Каганов

Экскурсовод по ландшафтам памяти

В ленинградской Публичной библиотеке ко мне подошел небольшой и легкий, как подросток, человек с разметанной седой шевелюрой и бородой и сказал: «Я Юра Динабург. Вы меня, наверное, не узнали. Это немудрено, мне уже за семьдесят, и меня можно не узнавать». Нет, не узнать его было нельзя. Не виделись мы, конечно, давно, потому что я жил тогда в Москве, но узнавался он мгновенно. И не столько по чертам лица, сколько по стройной посадке и еще по голосу, точнее, даже не по голосу, а по идеальной правильности речи и ровной петербургской интонации. В Москве, наверное, никогда так не говорили. Недаром в «Докторе Живаго» по этому поводу сказано: «Послышался четкий петербургский выговор полковника Штрезе» (прошу прощения, цитирую по памяти). Правда, вряд ли деревенские ребята, прячась в овине от вербовки в белую армию и слыша полковничий голос, смогли бы столь точно идентифицировать речевую манеру столичного офицера. За них это сделал писатель-москвич.

И еще одно свойство позволяло сразу узнать Юру – это его симпатичная не-совсем-взрослость, его слегка удивленный взгляд на все, который он сумел сохранить на протяжении своей довольно долгой жизни. Не буду вдаваться в объяснения, что я имею в виду. Думаю, что все, кто знал Юру, не просто чувствовали, но и высоко ценили эту его особенность, редкую и драгоценную, хотя отнюдь не всегда облегчавшую жизнь его ближних. Мне кажется, что с этой недозрелостью, с этим отсутствием жизненной заматерелости была связана вся его жизненная статья, включая непринужденный

и неосознанный аристократизм обыденного поведения. Юра все время казался, и не только мне, существом не совсем отсюда. Он словно бывал здесь лишь в силу необходимости, а истинная его среда оставалась где-то «там».

Впрочем, «там» не означало «не поймешь где». Понять оказывалось не так уж трудно. Достаточно было предоставить Юре свободу разговора, а повод годился любой. Ну, скажем, ремонт в их подъезде. Юра охотно включался в обсуждение этого насущного дела, и тут важно было его не перебивать. Тогда минут через пять речь уже шла, например, о таком-то по счету графе Саутгемптоне, покровителе Шекспира и страстном театрале, в молодости угодившем в Тауэр пожизненно, но квартировавшем там с удобствами, как подобает джентльмену, и даже с собственным котом. Добавлю от себя, что этого кота я потом нечаянно встретил в интернете – он позирует, сидя на подоконнике, в отличном портрете графа, написанном в Тауэре в 1603 г., не помню кем. Кажется, в этом же году, как только королева Елизавета I умерла, графа выпустили на свободу и осыпали милостями. Он воспользовался тем и другим и сумел присоединить к британской короне немалые земли в Новом Свете, именуемые штатом Вирджиния в честь той самой Елизаветы Тюдор, «Королевы-Девы», которая и засадила графа в тюрьму. А его именем стали звать кусочек штата – графство Саутгемптон. Цепь Юриных ассоциаций бежала по местностям истории безостановочно и самозабвенно. Но мне почему-то припомнился именно провинившийся елизаветинец, может быть, просто потому, что довелось писать этот текст в Вирджинии. В другом месте могло бы вспомниться что-то другое.

Мне кажется, вот такие пространства культурной истории, прежде всего европейской, и были для Юриной души родной стихией. Там она жила настоящей жизнью и туда старалась увлечь интерес всякого собеседника, с такой же бескорыстной страстью – все показать! всем поделиться! – с какой ребенок увлекает любого гостя в свою комнату. Надо сказать, что преимущественное обитание в такого рода местностях требует совершенно особой памяти, имеющей не только огромный объем, но и способность эффективно сор-

тировать и укладывать факты, чтобы при случае с удобством ими воспользоваться. Как раз такая память и была у Юры.

Поэтому он оказался идеальным экскурсоводом. Все, кому довелось побывать на его экскурсиях, в один голос утверждают, что забыть их невозможно. Мне, к сожалению, не довелось. Нет, минутку, как это не довелось? А многочисленные и увлекательнейшие его рассказы, насыщенные подробным знанием любого предмета – это что? Это ведь те же экскурсии, но не привязанные к хрестоматийным маршрутам, объектам и событиям, а уникальные, импровизированные, однократные. И не просто рассказы, а настоящие ученые экскурсии, если угодно, исследования на заданную тему. Исследования, имевшие вид свободных прогулок с остановками в неких избранных точках. Из одних открывались широкие, захватывающие дух культурно-исторические картины, в других, наоборот, можно было разглядывать крупным планом какие-нибудь поразительные детали. Не могу удержаться и не пересказать хотя бы одну из них.

Речь как-то зашла о Саламинском морском сражении, знаменитом не только кровопролитным героизмом противников – греков и персов, но и жуткой неразберихой, возникшей на персидской стороне оттого, что командование старалось ввести как можно больше своих мощных и крупных судов в узкий Саламинский пролив. Воспользовавшись этой сумятицей, жена царя Ксеркса, царица Аместрида, командовавшая собственной боевой триерой, решила свести счеты с одним из персидских адмиралов, который чем-то ей не угодил. Она приказала снять со своего корабля все опознавательные знаки, внезапно протаранила адмиральскую триеру и пустила ее ко дну, причем запретила спасать тонущих, чтобы не оставлять свидетелей. Царь, сидя на прибрежной скале, с удовольствием наблюдал за морским побоищем и, наверное, видел все это. Но насколько помню, все – и персы, и греки – решили, что адмирала потопил греческий корабль, прорвавшийся в персидские боевые порядки (ведь суда обоих флотов были одного типа).

Тут самое время отметить вот какую особенность удивительных

Юриных экскурсов: в них исторические обстоятельства излагались в форме, максимально удобной для запоминания. В этом, наверное, и состоит искусство настоящего экскурсовода. Ведь если о том же самом рассказывал бы профессиональный историк, то обычный слушатель не в состоянии был бы запомнить практически ничего. Историк излагал бы факты во всех версиях, взаимосвязях и противоречиях, с какими имеет дело современная историческая наука. Сведения о давно минувших событиях он приводил бы из разных источников (часто не совпадающих друг с другом), а затем излагал бы разные интерпретации этих сведений наиболее авторитетными специалистами или школами. Получалась бы стереоскопическая картина нынешнего состояния знаний об этих событиях, но картина столь многосложная, что рядовой потребитель истории не знал бы, что с нею делать. Он, я думаю, запомнил бы только, что все очень мудрено и толком ничего не поймешь. И в общем был бы прав.

В самом деле похоже, что чем строже и основательнее изучается история, тем виртуальнее становятся ее события. Приведу пример. Как известно, царь Петр Алексеевич свой первый вояж в Европу в 1697-98 гг. намеревался закончить очень важным для него посещением Венецианской республики. Но, находясь уже в Вене и договариваясь с правительством Венеции о визите, он получил известия о стрелецком бунте и должен был как можно скорее вернуться в Москву. Поэтому экстренно были закончены затянувшиеся переговоры с австрийским императором. Из вполне достоверных венских источников известно, что царь лично, хотя и инкогнито (это был секрет Полишенеля хотя бы из-за роста Петра), присутствовал на последнем переговорном раунде в Вене. Но из столь же достоверных венецианских источников известно, что он в эти же самые дни тайно, под чужим именем находился в Венеции и осматривал ее. Побывать и там и там он просто не успел бы: одна только дорога между Веной и Венецией, даже при самой спешной езде, занимала тогда не менее полутора суток в один конец. А венецианские спецслужбы сообщали, что царь провел в столице Адриатики минимум два дня. Где же он был на самом деле? – этим вопросом лучшие российские историки вплотную занимаются

уже больше ста лет. Особенно трудно дается решение как раз потому, что вопрос на редкость полно и надежно документирован. Доскональное изучение всех этих документов приводило одних историков к твердому убеждению, что в Венеции Петр не был, а других к столь же твердому убеждению, что был. В итоге весь эпизод теперь напоминает существование виртуальных частиц, о которых нельзя сказать с определенностью, есть они или нет.

Юра, конечно, прекрасно знал о новейших методах исторической науки, но в своих замечательных импровизированных экскурсах он не взваливал на слушателей необходимость самим пробираться через густые историографические заросли, увлекательные только для знатока. Нет, он вел их по одному ему известным дорожкам, вел так, чтобы они не спотыкались и могли без лишнего напряжения, с наслаждением погружаться в окружающие их и уходящие в бесконечность мысленные пространства лиц и событий. Он вел их по ландшафтам своей необозримой памяти, всегда готовой к их услугам.

Виктор Кучинский

Размышление об Учителе

Писать о Юрии Семеновиче в прошедшем времени – неверно. Он по призванию своему, по своей сущности – был Учителем. Учил культуре мышления. Пока живы те, кто соприкасался с ним, его старания перешагнуть ограниченность человеческой логики всегда будут тревожить людей.

Мы знаем, что одним из труднопреодолимых препятствий на пути общения людей с представителями более высоких цивилизаций является наша дубовая двухзначная логика. Либо – да, либо – нет, третьего не дано. Космическая логика многозначна, и она породила структуру мышления, совершенно отличную от нашей. Сдержанные попытки выдающихся людей ввести многозначную логику успеха в масштабах планеты не принесли. Но структура мышления определяет, в частности, структуру средств передачи информации. Прямой перевод с языка космического на язык земной невозможен. Необходим логический перевод, что, по-видимому, пока недостижимо.

Юрий Семенович изначально предполагал в собеседнике умение видеть многослойность привычных понятий и их связь с множеством других структур, явлений, признаков. Стиль его речи и ее сложность определялись уровнем его уважения и знания собеседников. За простейшей фразой в его речи мог следовать каскад труднейших ассоциаций и аналогий, поданных с великолепным юмором. Одно время Юрий Семенович любил писать длиннейшие письма, которые дополняли или развивали высказанное им в недавней беседе.

У него было множество учеников, и в каждой беседе Юрий Семенович сохранял свой неповторимый стиль. При этом он старался поднять собеседника на более высокий уровень мышления. Когда этот подъем был уже (или изначально) невозможен, он иногда переходил на сугубо неинтеллектуальные темы, а чаще – сердился, становился резок.

Как и все мы, Юрий Семенович многое прощал людям, которые были ему приятны. Его абсолютное критическое чутье мгновенно притуплялось, речь становилась более простой, почти светской. И поэтому его так любили даже те, кто его абсолютно не понимал.

Александр Раннапорт

Энергия взгляда

Есть люди с горящим взглядом.

Глаза Юры Динабурга горели столь сильным пламенем, что едва ли не обжигали. Меня они согревали. О чем бы Юра ни заговорил, глаза, как какие-то индикаторы искренности душевной и накала духовной жизни, вспыхивали и свидетельствовали, что перед вами человек в полном смысле слова.

Юра был философом, или мыслителем. Все, что попадало ему на глаза, немедленно превращалось в объект пристального внимания, анализа и оценки по критериям высшей справедливости и ценности.

Удивительная независимость его суждений и слов говорила о том, что этот человек абсолютно автономное существо и никакие попытки превратить его в элемент ряда не достигнут цели. С ним приходилось считаться как с космическим явлением.

Юра был человеком страсти. Он либо любил, либо ненавидел, среднее состояние тепловатости ему было чуждо. В его присутствии я испытывал что-то подобное испытанию, – а что же, спрашивал себя я сам, как живу, что люблю, что ненавижу? Юра возвращал человека к самому себе, не навязывая ему своих взглядов, но всем существом своим призывая к полноте существования.

Точно так же он относился к текстам, в его руках они превращались в документы свидетельских показаний о себе – представляли перед судом, но не перед прокурором.

Юра был человеком беззлобным и доброжелательным – он во всем искал лучшее.

Его существование становилось поневоле чем-то, очищающим нашу сырую, пыльную и темную жизнь.

Этот дар очищения атмосферы с лихвой компенсировал возможные претензии к его творческой продуктивности. Более того. Сама эта творческая продуктивность в его присутствии теряла свой абсолютный смысл.

Кризис нашей культуры и современности, на мой взгляд, состоит в том, что таких, как Юра Динабург, становится все меньше и меньше.

И судьбы нашей культуры, страны, детей зависят от того, как часто в мир будут приходить люди с такими же горячими глазами и сердцем.

Ольга Старовойтова

Вольтова дуга

Может быть, Юра был самым свободным человеком из всех, кого я встречала, хотя мне доводилось общаться со многими интересными людьми. Внутренняя свобода, независимость от чьих-либо мнений, стандартов поведения.

Когда мы познакомились, я была ребенком. Сопоставляя даты и события, понимаю, что было мне лет пятнадцать, пожалуй. Но по оставшемуся впечатлению – скорее, двенадцать... Долго была инфантильной. То ли возраст подошел, то ли так сложилось – в это время я встретила очень много интересных людей, умных, необычных, оригинальных. Они изменили мою жизнь радикально.

Юра был, пожалуй, самым необычным. Он появился в нашем доме как странный, стремительный человек, с очень внимательным и зорким взглядом, хотя позже, с возрастом, я поняла, что он видел не всё, а замечал сразу и точно только то, что его интересовало. Чеширский кот не совпадал по времени и пространству со своей улыбкой. Когда входил Юра Динабург, его появление тоже не совпадало с явным его физическим приходом, появлением в поле зрения. Его опережало что-то трудно определимое, какой-то сгусток энергии, какой-то рой мыслей и идей, и это всегда было необычно. Энергия эта появлялась раньше, чем Юра. Недавно одна общая знакомая, вспоминая Юру, сказала, что прежде чем они повстречались, она слышала о нем от разных людей, и она ощущала его присутствие заранее, в разных местах, семьях, домах; он как бы уже был в ее жизни до реального знакомства...

Видимо, Юрина энергия мысли была такой, что если бы он задался подобной целью, то мог бы влиять на людей и на расстоянии...

Позже, когда я была знакома с Юрой уже много лет, мне пришла в голову ассоциация с «вольтовой дугой». Иногда, встречая его на каких-то конференциях самого разного рода, можно было определить по некоторой наэлектризованности помещения и участников присутствие Юры прежде, чем его увидишь...

Это был первый человек в моей жизни, который отбыл срок в сталинских лагерях. Я слышала об этом, конечно, хоть и не понимала ни масштаба репрессий, ни длительности их, ни сути... Совсем другое дело – реальный человек. И вот он, Юра, прошедший такие ужасы, вот он – живой и веселый, умный и необычный... Какой же он эзк? Он свободный и веселый...

Сначала я совершенно не в состоянии была понять, о чем он говорит. Однако он хотел со мной разговаривать. Ему было интересно – возможно, любопытно, как эта девочкаотреагирует... Он много шутил, подсмеивался надо мной. Иногда Юра, как мне кажется, проверял – понимаю ли я то или иное. Например, он пел мне старые советские песни, которых я никогда не слышала. Запомнилась такая:

*На аллеях центрального парка
Пышным цветом цветет резеда.
Можно галстук носить очень яркий
И быть в шахте Героем труда.
Как же так – резеда
И Героем труда?
Почему, растолкуйте вы мне?
Да потому, что у нас
Каждый молод сейчас,
В нашей юной прекрасной стране!*

Я понимала, что текст идиотический, но думала, что это шутка или что это он сам придумал. И вот это-то было Юре интересно – как я воспринимаю? Он сказал, что это передавали по радио всерьез,

и очень даже часто, и что таких песен было много... И мама подтвердила, когда я спросила ее. Пел Юра с наигранным восторгом, похоже копируя манеру исполнения тех лет... Пятидесятых, как потом выяснилось.

А для меня – уже странно. Всё же это была вторая половина шестидесятых. Такая песня, такие слова казались уже почти невозможными...

Он спрашивал: а какие песни мы поем в школе? Почему-то мы тогда пели нечто в своем роде тоже невообразимое:

*Буду ли снова я дома?
Край мой, о край мой родной...
Пройду ль тропой я знакомой,
Трону ли землю рукой?
О, Ядран, славный ты мой,
О, Ядран, синее море...
Лазурный Ядран ты мой...*

(далее не помню).

Почему Ядран? Тогда я даже не понимала, что это Адриатическое море. Да и не было привычки брать в голову, что там в школе надо петь на уроках... Школу вообще нужно было «отбыть», не вникая. Важно было только то, как там складываются отношения с девочками и, главное, с мальчиками.

Юра ужасно развеселился, узнав, что поют нынче в школе. Он взрывался смехом и иногда громко хохотал, на всю катушку. Пытался выспросить у меня, а как я думаю, почему такая песня, зачем? Я не знала, что ответить, но благодаря ему мне становилось сразу очевидно, что это чушь, о чем я прежде и не задумывалась... И мы хохотали вместе.

Мне хотелось перед ним выглядеть поумнее... В том возрасте юности, почти детства, это было очень важно, необычно. Это давало совершенно новый взгляд на мир, на жизнь, на то, что

смешно, – смешно, потому что нелепо. И встреча с Юрой как-то помогла мне повзрослеть. Впервые я поняла абсурдность очень многих сторон жизни. Необычные люди занимают во взрослении важное место, его не замерить... Но я точно знала уже тогда, что произошла важная встреча. Возможно, благодаря Юре я начала думать иначе. Да и вообще – думать.

Потом мы почти не встречались некоторое время. Я слышала о нем иногда, изредка видела где-то. И вот уже в конце 70-х Юра познакомился с Леной.

Он очень красиво сделал ей предложение выйти за него замуж. Жить Юре вечно как-то было негде, подробностей я не знала. И предложила им пожить у нас. Несколько месяцев мы прожили в одной квартире, на Ленинском, в четырехкомнатной «хрущевке». В октябре их расписали наконец; мне запомнилось, что Лена была робкой и деликатной, а также, что Юра нервничал при регистрации брака. Возможно, он опасался, что откажут: ведь им отказывали несколько месяцев...

Встречи с Юрой в течение почти четырех десятков лет были, к сожалению, довольно редкими. Но мне казалось, что он не менялся. Разве что седины в его густоющей гриве прибавлялось. Всегда искрили мысли, совершенно неожиданные ассоциации, а внутри них – еще другие ассоциации; его мысли, казалось, не помещались в слова, он постоянно говорил и еще больше писал. Порой, когда читаешь его тексты, создается впечатление, что Юрина мысль перескакивает с одной темы на другую, совсем другую, внешне не связанную с прежней. Во время разговора тоже постоянно были моментальные переходы-перескоки... Это мог быть почти бытовой разговор, «треп» о ком-то, и тут же цитата, зачастую и цитата внутри цитаты – от античности до чего угодно... Видимо, у него был такой тип ума, который вмещал сразу всё, и всё это было связано. Связи эти могли быть другому человеку далеко не очевидны. Глубоко и верно понимать его мог только человек подобного масштаба интеллекта. Молниеносная скорость реакций, когда в этой талантливой голове одномоментно возникали сотни

ассоциаций, восхищала. Мне напоминает это прочитанную где-то версию, будто у Моцарта все его произведения возникали одновременно, а потом надо было только записывать сложнейшую партитуру.

Я могу гордиться, что хотя бы видела мощь этого ума, свободу этой личности, совершенно необычный объем знаний, редчайшей силы память. Широчайшее поле интересов – от логики и теологии до литературы и поэзии, от математики до знания и ощущения многих языков. Богатство личности, неизмеримый кладезь совершенно нестандартных ассоциаций, при почти аскетичности и безбытности в жизни...

А еще он всю жизнь писал стихи, возможно, и не считая их настоящей поэзией. Никогда я не слышала, чтобы он ценил свое наследие, хотя себя оценивал, наверное, высоко, только не говорил об этом.

Всю жизнь я не знала, да и теперь не могу определенно сказать, всегда ли Юра всерьез относился к тому, что он говорит, пишет, диктует. С шуток начиналось наше общение. И в последний раз, за год до его смерти, когда я навещала Юру и Лену, мы опять много смеялись...

Кто-то называет его учителем. Я не уверена, что Юра ставил себе целью кого-то учить. Просто эти разговоры, тексты, шутки, стихи и были его жизнью. Необычайно богатой и свободной жизнью. Назвать человека, получившего в семнадцать лет лагерный срок – «десятку» – счастливым, конечно, трудно. Но мне представляется, что Юра прожил долгую и счастливую жизнь. Он ведь всегда занимался только тем, чем хотел. Это мало кому удается.

... Зависеть от царя, зависеть от народа –

Не всё ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать; для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;

*По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
– Вот счастье! вот права...*

Вряд ли Юра соотносил свою жизнь с этими словами Пушкина, однако мне представляется, что сходство есть.

Юра оставил значительный архив, сохраненный и даже созданный благодаря Лене. Привести его в «полный» порядок – почти невозможно. Как невозможно свести Юру Динабурга к какой-то одной сфере науки или культуры...

Однако Лена структурировала Юрины тексты, отсканировала рукописи и машинопись и продолжает этим заниматься. У нас есть надежда, что архивом Юрия Динабурга заинтересуются будущие исследователи.

Я могу теперь только сожалеть о том, что недостаточно часто с ним общалась.

Александр Товбин

ШТРИХИ

Штрихи – разрозненные, выхваченные из вроде бы случайных, относящихся к разным годам картинок, которые сейчас почему-то всплывают в памяти...

Итак.

Юрий Семенович Динабург появился в Ленинграде лет пятьдесят назад в ореоле легенд.

– Будет интересный гость, Юра Динабург, редкостный эрудит, приходи, – сказал Геннадий Иванович Алексеев, тогда – попросту Гена, – и добавил: Юра из Челябинска, он еще в школе был арестован и отсидел в лагерях за написание антисталинского Манифеста, теперь он аспирант нашего университета, занимается математической логикой, сделал в этой таинственной сфере какое-то мало кому понятное открытие.

Назавтра, когда я входил в комнату Гены на Васильевском острове, позабыв, по правде сказать, об интеллектуальной приманке, на встречу мне легко прыгнул с дивана и, широко улыбаясь, резко протянул руку человек среднего роста и среднего возраста, без ботинок, – ботинки стояли рядом с диваном, – но в аккуратном черном костюме и круглых черных очках, из-за стекол которых внимательно смотрели круглые кошачьи глаза; и вот он уже будто бы безо всяких усилий, – ладонь его, помнится, была до странности расслабленной, невесомой, – тряс мою руку, словно мы с ним давно знакомы, но неожиданно встретились после долгой-долгой разлуки.

Сколько молодой энергии было в нем!

Или какая-то пружина в нем без усталости сжималась и разжималась...

Вот он в сопровождении златокудрой спутницы, – юной Гали Старовойтовой, – приезжает в Невский район, на день рождения моей дочери, в самый удаленный от центра дом в городе! Разве не подвиг? – поздняя осень, ураган с холодным дождем; по тем временам, – более двух часов тряски в набитом автобусе, объезжающем по ухабам-колдобинам лужи, превосходящие миргородскую, и горы щебня меж чадающими заводиками на правом берегу Невы...

Вот он в день танкового вторжения в Чехословакию у Гены Алексеева: сбросив ботинки, мечется между стеллажом и стенкой с крупной фотокопией «Сикстинской Мадонны», – все подавлены и будто бы онемели, а Юра с отчаянной жестикуляцией делится безумными планами по спасению Дубчека...

Вот лестничная клетка крупнопанельной девятиэтажки в Лигове, где жил художник Элинсон, наш с Юрой друг, очередь торопливо докуривавших девиц у двери... – за Юрой частенько тянулся шлейф заглядывавших ему в рот университетских поклонниц-филозофинь, – ждали на ступенях доступа к вешалке в тесной прихожей...

А вот последняя свадьба Юры, довольно экзотичная, с застольем, разбитым на две части: первая часть речений и возлияний была у Оли Старовойтовой, вторая – у Гали... помню Лену в белом платье, замерзшую, в накинутой на плечи куртке... гости, жених с невестой, вздымая блюда с недоеденными закусками над головами, торжественно пересекали Ленинский (!) проспект; не буду перечислять замечательных, – тогда думалось, бессмертных, – участников той эпохальной процессии...

Давно это было.

Юра быстро и легко, казалось вприпрыжку, перемещался по городу, – вылетал на тротуар Невского из почтового отделения Д-11,

куда ему до востребования слали письма, перебежал Невский и несся к Публичной библиотеке, а через несколько часов с ним можно было столкнуться на Троицком мосту, ветер трепал длинные легкие волосы... и в разных оттепельных компаниях он сходу становился своим, он был исключительно контактен, и всем было интересно с ним, он нес в себе удивительный страшный опыт, а уже после лагеря успел прочесть и законспектировать такое множество умных и редких книг... – пьяный гам стихал, когда он принимался что-то рассказывать...

Впрочем, о годах заключения я слышал от него не так уж много: что-то о лагерных учителях, в частности о соседе по нарам, историке-евразийце Савицком... но зацепила меня простенькая сценка: арестованного выпускника школы «забрасывают» в переполненную камеру, именно, – как, похохатывая, говорил Юра, продолжая внимательно смотреть в глаза, – забрасывают на головы арестантов, и те, отчаянно матерясь, принимают его, упавшего сверху, бить, отталкивать, перекидывать из стороны в сторону...

Что еще?

Читал стихи Витя Кривулин, – где, у кого, не вспомнить, – причем, после своих стихов, полвечера читал Ходасевича... изредка Кривулин спотыкался, забыв строчку, слово, но Юра неизменно-точно подсказывал, как если бы всего Ходасевича он знал наизусть... да так, наверное, и было.

А как он знал, как понимал, – всегда по-своему! – философию: в ответ на какое-то мое неосторожное замечание он, помню, разволновался, распотрошил Декарта... разящие, блестящие аргументы.

Знания его, как, впрочем, и уровень мышления, меня поражали.

Однажды, в семидесятые, до переезда в маленькую квартиру в «доме политкаторжан», – бытовая ирония судьбы! – он мне дал «на хранение» несколько объемных папок со своими бумагами; я получил также разрешение их читать...

В бумагах были выписки из книг, преимущественно – из книг

неизвестных мне, советскому «образованцу», авторов, – недаром столько времени проводил Юра в Публичной библиотеке; бельгийский психолог девятнадцатого века остроумно трактовал приверженность к социализму как религиозное сумасшествие, немецкий искусствовед... и пр. и пр. Но главным в тех папках были, конечно, тексты самого Юры, которые назывались «Мумификациями»; в каждой папке – толстая стопа листков папиросной бумаги с тесно-тесно набранными строчками.

Жанр «мумификаций» не поддавался определению – это была густая смесь старых писем, воспоминаний, реплик из давних споров, цитат, эссе, психологических этюдов, личных обид, упреков, адресованных каким-то челябинским друзьям, философских соображений, впечатлений от живописных полотен, книг, кинофильмов... Однако тексты ничуть не походили на мутный поток сознания! Удивляла не только оригинальность, но, прежде всего, напряженность, плотность мышления... да, отчетливо помню, что поразили меня тогда не какие-то выводы, не итоговые продукты Юриных мыслей, их неожиданные, обнаруживавшиеся в новом свете, грани, а – само мышление как процесс.

Впрочем, «Мумификации» уже сканированы, хочется верить, будут опубликованы.

В последние годы мы встречались редко. Юра старел, болел, он уже плохо видел; нервно ворошил пепельные длинные, почти до плеч, волосы... правда, похохатывал он, как прежде.

Но горечь пропитывала ту слегка наигранную веселость. И, возможно, поэтому – форма самозащиты? – я вижу Юру теперь, чаще всего, в обратной перспективе.

Строится подземный переход под Садовой, половина ширины Невского отгорожена забором, а Юра, подбитый ветром, в разлетающемся пиджаке, кажется, одним прыжком одолевает перед троллейбусом узкую горловину...

Марина Елисеева

Звучит ли рог в лесу глухом?

...Если бы у нас не было знакомых, мы не писали бы им писем и не наслаждались бы психологической свежестью и новизной, свойственной этому занятию.

О. Мандельштам. О собеседнике

Я познакомилась с Юрием Семеновичем лет пятнадцать назад, или даже меньше, – в Публичной библиотеке. Мне запомнился странный, растрепанный седой человек без возраста, кажется, в свитере и с длинным шарфом, находящийся в постоянном движении. «Мое хождение по комнате как разматывание катушки...» – разматывание катушки «ассоциаций и цитаций» по «принципу неточного цитирования». И думать ему было легче на ходу, в движении.

Потом Юрий Семенович бывал несколько раз у меня в гостях вместе с женой Леной, но чаще – я у них. В последние годы он был очень болен и почти не выходил из дома. Человек, отличавшийся жгучим интересом к жизни, страстный наблюдатель, яростный созерцатель, почти утратил зрение.

«Еще одним детским увлечением было «фланирование» – хождение по улицам с единственной целью рассматривать лица прохожих. Я ни у кого не наблюдал подобной страсти к таким перлюстрациям толпы. Следы вскрылись даже во внезапном моем вкусе к нынешней работе: она дает находить интересные лица в толпе... уносить домой впечатления – как работники всех прочих производств несут домой что случится стащить – кто гайку, кто болт или винт, – таскать им не перетаскать по камушку? по кирпичику пресловутый

весь этот завод. Но мое мальчишеское увлечение перлюстрацией лиц на улице в толпе не вызывало у меня тогда никаких моральных проблем: этично ли это в отношении живого человека...»

Думаю, что еще и поэтому он не хотел гулять в последние годы – физически это было возможно. Но ему было больно не видеть тот мир, который он так любил. Иногда он старался разглядеть что-то. Ему были интересны фотографии. Помню три случая такого пристального разглядывания: фотография любимого кота на экране компьютера, ярко-красные яблоки и я, стоящая перед студентами...

Человек, отличавшийся, как он сам о себе писал, «гиперкоммуникозом», вдруг оказался лишенным возможности живого общения со многими людьми. Были, правда, телефонные разговоры, и всегда оставалась возможность прийти к нему. А еще – писать... Письма позволяли сохранить связь с друзьями, особенно с теми, кто жил в других городах и странах. Но и не только, поскольку жизнь в одном городе совсем не предполагает частые встречи...

«Моя переписка много лет держится на иллюзии, что друзья сохраняются не только в моей памяти и привычках общения, не измышлены мной».

«После того как боги заберут меня к себе, я снова стану среди них богом дружбы. А мое брненное тело сожгут на костре из моих писем».

Он всегда очень радовался моему приходу. Был галантен, внимательно слушал и замечательно рассказывал. В нем подкупал живой интерес к собеседнику: он интересовался не только предметом разговора – ему был интересен именно сам говорящий, при этом обходительность сочеталась в нем с откровенностью. Деликатная и нежная Лена нередко волновалась, не обижает ли меня Юрий Семенович, устно и письменно. Но меня только радовала экспрессивность и яростность, с которой Юрий Семенович выражал свои мысли и чувства... Я понимала, что являюсь для него катализатором, ускорителем мыслительного процесса, и поэтому мне

было очень приятно бывать в их доме. Ведь человека не может не радовать отклик, им вызываемый. Юрий Семенович говорил мне, что я чистой воды холерик. Думаю, что не все, знающие меня, с этим согласятся. Но с ним я действительно становилась холериком: «И жить торопится, и чувствовать спешит». Меня привлекала также эмоциональность и одновременно неспешность речи Юрия Семеновича – неспешность речи темпераментного человека, умеющего сдерживать и контролировать себя. Мне, как лингвисту, не могла не imponировать любовь Юрия Семеновича к словам и использование книжных, не всегда знакомых мне слов – таких, например, как проприоцепция, которая оказалась не больше не меньше, как седьмым чувством человека – после зрения, слуха, обоняния, осязания, ощущения вкуса и чувства равновесия... Это глубокая чувствительность – ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга. Или квинтер – самопроизвольно появляющаяся на фотографии, некая, обычным образом не видимая структура, в том числе и человеческое лицо. Новые слова не просто входили в лексикон – они цеплялись за прежнее знание: «Я наконец раскопал, что теперь называется квинтером и вспомнил многих персонажей ранних гоголевских повестей...» Особость речи, изысканность языка когда-то сыграла в судьбе Юрия Семеновича решающую роль, когда в сентябре 1949 года в бараке Дубровлага Юра услышал вопрос «Не скажете ли вы, который час?» Он рассеянно ответил: «Полагаю, что около девяти...» Спросивший вытащил пенсне, чтобы взглянуть в лицо ответившего: «Как, как вы сказали, молодой человек?..» Это оказался Диодор Дмитриевич Дебольский... Впрочем, об этом вы уже прочитали в мемуарах, опубликованных в этой книге.

Я фотографировала Лену и Юрия Семеновича в последние годы и несколько раз сняла на видео – в 2008 и 2009 году. В 2008 году он беседовал с доктором филологических наук Еленой Валерьевной Маркасовой, по сути дела – давал ей интервью для научного исследования, но в свободной, естественно, форме – за столом, рассказывая о своем чтении в детстве и о том, как учился в школе. Воспоминания детства переходят в размышления о дне сего-

дняшнем. Записи 2009 года – это просто короткие фрагменты наших застольных бесед. В одной записи Юрий Семенович рассуждает об Алиеноре Аквитанской, в другой – об одном эпизоде из «Зеркала» Андрея Тарковского. К этому коротенькому лирическому отступлению подтолкнул Юрия Семеновича любимый кот – Марсик. Второй, после первого, очень любимого, – Ромы, или Буремглюя. Лена долго не хотела заводить другого после смерти первого, но мы с Юрием Семеновичем ее уговорили. Запись, около полутора минут, такая. Лена держит на руках Марсика, Юрий Семенович гладит и называет его двоечником. Я спрашиваю почему, и он вспоминает: «... А на дворе их потомок раскладывает... какие-то горючие материалы. Складывает во дворе дома костер. И поджигает... И получается такая композиция – костер, горящий во дворе городского дома... И он говорит жене примерно так: «Ты посмотри на нашего двоечника...» (В этот момент Юрий Семенович гладит кота и смеется) ... Предполагается, видимо, что зритель фильма узнает самого Арсения. Двоечник – это, наверно, сам режиссер фильма глазами его родителей...» В этих любительских видеозаписях тем не менее очевидна уникальная личность собеседника, «разматывающего катушку ассоциаций и цитаций».

Но потом Юрий Семенович послушал себя, и, как это обычно бывает, когда человек впервые слышит свой голос извне, ему не понравилось, и поэтому больше я его не снимала. Читая те несколько писем, которые я выбрала, следует не забывать о том, что печатала их Лена: Юрий Семенович диктовал ей, наговаривал... И, естественно, письма были электронные – то есть приходили сразу же, сразу же читались, и сразу же я на них отвечала. В письмах нередко упоминается моя дочь Лиза, с которой мы приходили к Юрию Семеновичу и Лене. Я старалась приходиться не реже, чем раз в две недели. А в промежутках между встречами мы переписывались.

«Все надо успеть при жизни. На «после-смерти» можно отложить только общественное признание своих достижений – это скорее общественная забота, чем моя. Пусть я буду использован посмертно: мой труп, я полагаю, не будет столь брезглив, сколь я стал в ре-

зультате своего казарменного воспитания. Можно отложить свои общественные успехи. На сто лет как Стендаль. Менее всего терпит отлагательства фиксация мимотекущих мыслей. Что такое метод? Удачная метафора. Что такое личность? Тот уникальный метод – который нам не дано выбирать».

4 марта я получила последнее письмо от Юрия Семеновича, обращенное ко мне. После этого мы переписывались уже только с Леной. Лена писала о разном, но в том числе – о том, что они читают (например, «Бедных людей» и статью о Шекспире, которую так и не успели дочитать...). Замечательно, что именно в самые последние месяцы своей жизни, когда Юрий Семенович испытывал очень сильные боли и чувствовал приближение смерти, он стал отпускать Лену не только на работу, но и в музеи. Она побывала в Комендантском доме Петропавловки; описывала, как посетила Эрмитаж – выставку шедевров из Прадо, а придя домой, рассказала Юрию Семеновичу, что ей особенно запомнилось, – и с каким интересом он слушал... Уже сейчас, после смерти Юрия Семеновича, Лена рассказала мне о том, как они познакомились и как он делал ей предложение. Она пришла на экскурсию в Петропавловскую крепость и увидела человека в зеленом свитере до колен и с летящими волосами. Он шел быстрой шаркающей походкой, потому что был в вельветовых туфлях. Она посмотрела на него и подумала, что это инопланетянин... Во время экскурсии он ее заметил, вытянул вперед и потом все время рассказывал только для нее. Потом она спросила, не ведет ли он где-то еще экскурсии. Он сказал: нет, но давайте я покажу вам город. И они стали встречаться. Он почти всегда опаздывал. Она ждала его в метро – иногда по часу... Через некоторое время, когда они гуляли, он купил все тюльпаны, которые были у продавца, встал перед ней на одно колено и сказал, что просит ее руки... А она ответила: хорошо, я подумаю...

Один из мемуаристов назвал Юрия Семеновича востребованным филологом. И я задумалась: а что значит – востребованный? Защитивший диссертацию? Опубликованный не только в интернете? Да, это имеет значение, иначе мы не делали бы эту книгу... И все же это не главное.

... Только вкус к хорошему обществу пробуждает во мне нечто подобное честолюбию (при полном отсутствии тщеславия). С самых ранних лет брошенный на руки няnek, я главной своей страстью вырастил в себе стремление к освобождению от случайного окружения и желание самому культивировать свое окружение – отбирать его. В качестве такого селекционера я и отказался от эмиграции: я почувствовал, что в этом здесь больше свободен, чем там (где мое окружение будет более случайно). Это было важнее лингвистических мотивов. В конце концов все это культивирование обнаружило, что больше всего мне придется иметь дело с самим собой, и себя-то и нужно тянуть вверх за шиворот. Тут и помечталось обнаружить в себе гений – чтобы не было сомнений, что мне повезло проводить время в обществе интереснейшего человека века – и не о чем было мечтать (о большем)...

В этих словах, кроме правды, есть и доля иронической горечи. Общество интереснейшего человека, то есть свое собственное, то есть одиночество, – это то, к чему все мы в конце концов придем... Кто-то это переживет легче, кто-то тяжелее. Юрию Семеновичу были важны собеседники, и они у него все же были. Он не писал «в стол»; точнее, он писал не «в стол»: если бы не существовало хоть какой-то возможности общаться, иметь отклик, он бы, может, и не стал бы писать, – не смог бы.

«Письма без адреса? – на деревню дедушке? – неблагодарному потомству? – «Звучит ли рог в лесу глухом?»

А количество читателей – это уже не так важно. И именно из-за интереса к людям, из-за равнодушия возникало высокомерное презрение к «скукарям», и мизантропия даже:

Я ненавижу последовательно не каких-то людей отдельных, а расточение времени, которое интуицией воспринимается в «чувствах», называемых у нас скукой...

Главный же собеседник, и слушатель, и исполнитель текстов – звено, связующее с внешним миром, у него был всегда рядом.

На похоронах Юрия Семеновича Никита Елисеев сказал, что его отличали два главных качества – ум и свобода. И еще, что он был бесплотен. А я подумала тогда: да, он мог быть бесплотен, когда рядом с ним почти полжизни был ангел во плоти...

И я уверенно могу сказать настоящей жене своей: спокойно, Лодочка, ты несешь на лоне своем не Цезаря и его судьбу, а нечто большее...

Из писем Юрия Семеновича Динабурга 2011 года

6 января

Милая Марина!

Мы с котом шлем вам самые ласковые приветы. Мы оба были вчера не в очень хорошей форме, по крайней мере, я очень давно не спал и, может быть, кот мне споспешествовал в этом, потому что вообще следил за моим сном – дежурил вторую половину ночи.

Ваша стойкость в разговорах со мной меня просто очаровала. [...] Мне очень захотелось вчера ввести ваш образ в мою прозу, раз уж эта проза имеет успех. Пришел очередной большой комплимент моей стилистике от совершенно незнакомого человека. Может быть, позволите говорить о вас, называя только ваши инициалы? И, конечно, очерчивая ваш портрет эскизно отдельными росчерками пера? Вы же напечатали свои фото, с меня снятые.

Мой издатель в интернете держит еще такой немемуарный жанр эссе под названием «Разговоры». Я не буду сочинять для вас никаких деклараций, а просто как бы отвечать вам на какие-то ваши нераскрытые замечания такого рода: «Милая М.Б., мне кажется, что вы того мнения, что...» Я с вами не совсем согласен, но думаю, что хорошо понимаю ваши мотивации. Я не разделяю многих ваших вкусов, но ценю вашу стойкость во мнениях.

Я сейчас даже не знаю, что имею в виду, но просто переживать ваше присутствие будет приятно, о чем бы я ни говорил, ну, как бы прогуливаться с вами где попало...

«По эолийским полям мы проходим теперь, по воздушным странствам...»

Я хочу, кстати, именно сейчас вспомнить тексты, которые России помогли кое-как пережить прошлое столетие, это прежде всего самый веселый русский текст, подсвечивающий «Дон Кихота» и отчасти шекспировского Фальстафа. У нас вдруг появился Остап Бендер, но не жирный, а молодой и совсем беспечального образа и всех очень веселил 3 десятка лет, пожалуй, еще после войны. Вся литература той поры была у нас безумно скучная, за исключением, может быть, того, что писал Михаил Булгаков. Давеча мы с вами говорили о Кандиде из «Улитки на склоне», так вот: чтобы пояснить эту книгу без всякого ложного пафоса, надо вспомнить хотя бы донкихота из Стругацких – их несколько, и они не из Ламанчи, а из фантастических аналогов нашей страны, какой она оказалась под конец, – в частности, Кандид, мой маленький близнец.

Вот так-то, милая М.Б.! Я это все могу развить очень широко. И мои «Разговоры» читают с бóльшим успехом, чем мои воспоминания, потому что я в них пока говорю о самых простых вещах, пока только о верхушках европейской литературы.

... Мое завещание: поскольку я умру наверняка, запомните твердо, что утешителей Лене не надо будет подбирать – ее огорчение должно быть безутешно, оно не смертельно, и она его вполне заслуживает. А пока она способна оставить меня без всякого наследия, сняв все мои достижения из интернета. Она достойна такого пьедестала безутешного горя, вспомните хотя бы как хорошо продолжала свою жизнь более сильная женщина, вдова Мандельштама. Лучшего примера в нашей истории не было – куда до нее всем вдовам-поэтессам мировой литературы, за исключением разве что Элоизы.

С нетерпением жду вашего разрешения как можно скорее.

P.S. Лена протестует против моей мании величия, а я ей отвечаю, что получить больше того, чем заслуживаешь, мечтает каждый человек. Даже великие мученики. Но в лучшем случае получателями становятся их (мучеников) дети. Кто это сознавал? Только у

Окуджавы, как в песне «Молитва Фрайнсуа Вийона»: насчет того, чтобы получить больше заслуженного – «Дай счастливому денег и не забудь про меня».

Ваш Ю.С.

8 января

Милая Марина!

Очень рад нашему согласию. Этот мой ответ почему-то Лена сбивала какими-то всякими пустяками.

Лизе скажите, что мои мысли были заняты последнее время очень долго ее сочинением о казаках Гоголя. Я бы побил ее преподавательниц за то, что они ей навязывают такие темы. У Гоголя были полные основания невзлюбить украинскую историю. Принято говорить, что все люди – братья, но лучше было бы, чтобы многих из них вовсе никогда не было. Я наконец раскопал, что теперь называется квинтером и вспомнил многих персонажей ранних гоголевских повестей. Не сердитесь, если опять в чем-то мои суждения не согласуются с вашими. Спасибо за цитирование вами отдельных моих фраз – я этим польщен.

Ваш Ю.С.

13 января

(Ответ на мой вопрос, какие еще донкихоты есть у Стругацких)

Милая Марина!

Во-первых, Кандид и Перец в «Улитке», во-вторых, пожалуй, сталкер, вероятно, такой, каким он снят у Тарковского. Я забыл, как звали героя «Обитаемого острова». Наконец, Тойво Глумов в позднем романе «Волны гасят ветер». Их всех можно счесть донкихотами, и их представлению у Стругацких не хватает только юмора, которого в избытке у Остапа Бендера. Сравните юмор, вывернутый наизнанку, черный юмор у Андрея Платонова.

Ваш Ю.С.

24 января

(Я писала о бытовых трудностях, связанных с получением Лизой паспорта по достижении 14 лет)

Милая Марина!

Зло не столь большой руки (о паспорте), лишь стоит завести такие очки, как я. У моего приятеля был ученик по настольному теннису, который озадачил меня тем, что звали его Адик с русской фамилией на С. Если б мне прямо сказали, что он родился в 38-ом году, я бы все понял тотчас. Его отец, видимо, был лицом, сопровождавшим Риббентропа в Москву, и в разгар тогдашней дружбы мальчика назвали Адольфом. Я могу только догадываться, что он пережил во время войны, когда каждое русское сердце вздрагивало при слове Адольф, которое ему переносили из документа в документ в школе.

А у Лизы нормальное имя английской королевы, ныне властвующей, и оформлять на нее документы – одно удовольствие. Затяните эту игру, и все инстанции капитулируют.

Я разглядел фотографию, на которой вы стоите перед своими студентами, подняв ладони над головой. Эта поза напомнила мне классическую античную лиру, хотя в другой (мужской) экспозиции одного из Лениных корреспондентов у меня возникла сразу ассоциация согнутых в локтях рук с попыткой выправить свастику. Так что вы смело можете играть своими жестами и позами в танцах вроде танго или тарантеллы, и никто ничего худого не подумает. Шлите нам и не стесняйтесь ваших текстов – вы истинная лира на стройной подставке.

Ваш Ю.С.

5 февраля

Милая Марина!

Не берусь судить о танго в самом широком смысле. Догадываюсь,

что это как раз танец, родственный профессиональному, даже академическому балету. Но то, как вы пишете, вызывает у меня воспоминание о девочках, во время оно танцевавших в игру, которая называлась «классами», когда можно было еще мелом расчерчивать тротуары и прыгать на одной ноге, из класса в класс проталкивая биты. Очень я любил наблюдать такие танцы, еще не приставая к этим танцовщицам. Думаю, что вы не натацевались в свое время, были заняты чем-то ответственным, и это вызывает во мне даже нежность.

7 февраля

Милая Марина!

Я привык к публичности и поэтому рад буду всякой вашей забаве. Изощряясь развеселить свою Лену, я придумал для вас обеих номинации на конкурс «Обаятельные петербурженки». Лена спросила, в чем я это вижу? В том, как тебя принимают на кафедре философии или в парикмахерской – везде ищут с тобой общения.

От вас первое впечатление – что вы только что окончили пажеский корпус, и мужчины с первого взгляда на вас испытывают растерянность, вплоть до застенчивости, – на этом вы и делаете отчасти карьеру. Лена возражает: на своем уме! Я настаиваю: кто там разберется в ее уме, она занимается чем-то узким очень, не то педологией, не то логопедией.

А вот танго вы описываете весьма замысловато. Ваш Соляной переулок напоминает мне Австралию – скопление кентавров и кенгуру. Вы не брезгуйте кентаврами, они существа, может быть, мудрые, как сфинксы, даже когда молчат. А египтяне так просто обожали сфинксов. И перед моим домом как раз на Васильевском стояли два знаменитых сфинкса. Так что: «Любите музыкантов, будем танцевать».

Я долго думал, что вы на мою манеру разговаривать будете гневаться, как Лена, но убедился, что вы способны терпеть всякую мою «оригинальность», не сводящую к галантности и любезностям

всякое общение. А что касается вашего отношения к танцам, танго и котангенсам, то я хорошо понимаю, что вы не привыкли еще к интегралам и прочей математике, и это вполне переносимо. Еще Архимед при смерти воскликнул: «Noli tangere circulos meos!» – «Не топчись на моих чертежах!» Я на ваших никогда не буду (топаться). Это все высшая математика.

Про вас я сочинил сказку о том, «как я филологине интеграл объяснил»: придете – расскажу. Так что приходите скорей!

Заранее предупреждаю, что интеграл есть нечто самое простое средство вроде любви: средство восстановления цельности саморазобщенной женской личности и т.п. явления. В русском языке яснее всего интеграл – это цельность, что-то целое, как целомудрие в прошлом русском языке.

Ваш Ю.С.

10 февраля

Милая Марина!

Послание ваше прочиталось и провоцирует меня на откровенный разговор: на новые признания. Кого вы это называете умными – я не понимаю. Я умных встречал почти только в тюрьме. Кроме того, когда умничают женщины, я – пас. Речи идут у женщин, как правило, о том, о чем и думать не стоит, разве что по поводу каких-нибудь узких лингвистических дисциплин, вроде детской лингвистики. Это вы сами придумали такой термин? Может быть, он от большого ума. Я ценю в вас ум, находя его в том, что вы на меня не раздражаетесь, когда я с вами не соглашаюсь. Вот Лена, например, пытается исправить меня на каждом слове, поэтому я нахожу удовольствие в вашей реакции и даже ее, как я сказал, провоцирую. До того я встречал ум только в женщинах, которые во мне самом ум находили. По крайней мере, с одной так случилось до самой ее смерти, остальные больше на меня обижались...

Марина!

Я никогда никого, кроме женщин, не любил, разве что котов и попугаев. Но в женщинах меня занимало только их представление

о счастье. Я все время старался провоцировать в женщинах переживание счастья, увы длящееся обычно немногими минутами. Подозреваю, что в мужчинах весь интерес к женщинам сводится именно к этому счастью, хотя нам доводится видеть иногда, как женщины тешатся игрой в куклы или в дочери-матери.

Сколько бы ни рассуждали люди об уме хотя бы в мужчинах, он, этот ум, растрачивается у нас преимущественно на алкоголь, и спьяна мы легко верим в себя как в умников. Но с тех пор, как Александр Второй освободил совершенно растерявшихся тогда мужиков, мужчины все у нас замужикались, то есть пережили рецессию к предкам, жившим 1 000 лет назад. В рассказе «Утро помещика» у Толстого ранняя идея о том, что мужика надо выманить из трущобы, называемой избой, в какое-нибудь монументальное коммунальное жилище. Но стоп! Тут мой внедорожник, кажется, сворачивает в кювет, и разговор наш рискует оказаться не по пути.

Я возвращаюсь к теме дамского счастья. Лена путает две бесформенные абстракции: счастье и судьба, и что-то еще такое же. Но судьба – это то, что мешает счастью, внешняя преграда или собственная неумелость. Легко поставить судьбу в вину мужу, ведь брак – это попусту попадание в тиски (так правильнее говорить, чем говорить «узы» брака или «путы» семейные), что же остается человеку, как не быть счастливым, ограничиваясь одной женой и тиская ее такими тисками внимания. Кстати, поэтому я смотрю критически на всякую танговую лихорадку, сомневаюсь, чтобы она могла служить здоровью. Это Tango-Fieber. Подозреваю, что Fieber, лихорадка в немецком, происходит от названия римского месяца февраль – месяца очищения и луперкалий, то есть религиозных игр, полных всяческого рода разнузданностей с обыгрыванием образа капитолийской волчицы.

Припомнил, что я начал разговор о детской лингвистике. Наверное, уместней говорить о лингвистике материнской, вряд ли дети сами изобретают язык, его ребенку подставляет мама в меру своих способностей к творчеству, а ребенок, как уж умеет, коверкает эту языковую микрокультуру. Разве не так? Приятно вам возражать! Вы

даете всякие наставления о любви, а я только удивляюсь. Это слово кем только ни применялось и к чему только ни применялось: любить можно и конфеты и жареную картошку. Апостол Павел чего только ни перечисляет, что любовь все прощает и т.п., а предшествующие ему греки характеризовали ее примерно словами «любовь зла – полюбишь и козла», и возникла у них ТРАГЕДИЯ, т.е. козлодейство и козлотворчество. Но любовнее всего о женщинах писал у греков Аристофан: «Лисистрата», «Женщины в народном собрании» и «Женщины на празднике Фесмофорий». Германоязычные народы воспевали не столько умных, сколько героичных женщин: см. все оперы Вагнера, подытожившие эту традицию, и слушайте их. Очень превратным образом к ним пристроился по-своему и Чайковский. Во французской литературе культ женщины носит совершенно иной характер – это культ галантности, культ угождения даме. Мужчине нужны были потомки, чтобы было кому передать свою бессмысленную жизнь и всякое другое наследство, и он всячески угождал даме. Приближенное к дворянской семье лакейство лучше всего переняло этот галантный стиль мышления. После революции лучше всего сохранилось это угодительное словие. Я даже Павлика Морозова на Урале воспринимал как с детства воспитанного лакея, а он и самый главный уральский герой – родного отца не пощадил ради суда.

По греческим понятиям, там, где любовь, всегда и кровь, – и по английским тоже. Лучшее прославление женщине в новейшей литературе я находил, например, у Эдгара По, даром что он американец и печатался в такой вульгарной стране и выставлял себя не каким-нибудь мачо-латинисом, не донжуаном, а вдовым мужем, который не может отделаться от любви к покойнице жене. Любить жену-посмертницу – это чего-то стоит! А любить живую и всегда готовую тебе нахамить – это тяжело, тем более, если она всегда может затеять какой-нибудь процесс по разделу имущества и т.п. Любовь мужчины – это всегда любовь к женскому счастью и его проявлениям, хотя эта любовь часто трансвестирована в масках и позах страдания, то есть с привкусом мазохизма.

Лена опять начинает мне перечить, и поэтому я прерываю письмо.

Ваш Ю.С.

4 марта

(После нашего с Лизой совместного посещения Юрия Семеновича и Лены)

Милая Марина!

Лиза действительно прелесть! Я приношу извинения за гримасы, которые Лена отмечала на моем лице, когда вы обратились к алгебре. Но это были просто слишком яркие воспоминания о моем собственном отвращении к алгебре в нашем школьном преподавании. Никакой революционер не решался еще предложить улучшение в ее методике. Эта дисциплина сравнима только с рисованием букв и просто палочек в первом классе, где занимаются, как в мое время говорилось, чистописанием в тетрадях в косую линейку. Еще раз шлю мое сочувствие Лизе в ее переживаниях роста и прочу ей прекрасное будущее.

Ваш Ю.С.

Оглавление

От составителей	4
Мемуары	
Глава I	7
Глава II	91
Глава III	118
Глава IV	152
Глава V	186
Метамемуары	220
Стихи	279
1945	280
Время	285
Гамлет, Шекспир	294
Душа-Эвридика	309
Воспоминания друзей	312
<i>Игорь Кузьмин</i> Памяти Ю.С. Динабурга	313
<i>Елена Динабург</i> . «... Покуда белое есть, и после»	342
<i>Михаил Борицевский</i> . Смотрящий внутрь	344
<i>Револют Пименов</i> . Танцующий логик России	353
<i>Никита Елисеев</i> . Последний	368
<i>Павел Елохин</i> . Трава идей	386
<i>Лев Бондаревский</i> . О наших «Разговорах»	389
<i>Григорий Каганов</i> . Экскурсовод по ландшафтам памяти ...	400
<i>Виктор Кучинский</i> . Размышление об Учителе	405
<i>Александр Раппапорт</i> . Энергия взгляда	407
<i>Ольга Старовойтова</i> . Вольтова дуга	409
<i>Александр Товбин</i> . Штрихи	415
<i>Марина Елисеева</i> . Звучит ли рог в лесу глухом?	419

Юрий Динабург. Сборник

Составители Л.В. Бондаревский,
Р.Р. Пименов, О.В. Старовойтова

Редакторы: Е.В. Динабург, М.Б. Елисеева

Корректоры: М.Б. Елисеева, В.Н. Уляшев



Подписано в печать 06.07.2012
Формат 60x90/16. Гарнитура Таймс.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,5. Тираж 300 экз.

ЗАО «Норма»
102102, Санкт-Петербург, ул. Салова, 37. Тел. (812) 712-6541
nor@peterlink.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
В ООО «Типография Феникс»
194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27.
Тел. (812) 293-4207